

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ
МИХАИЛ АГУРСКИЙ
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
РИТА БАЛЬМИНА
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ
ПОЛИНА ВАХТИНА
АСЯ ВЕКСЛЕР
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК
ЕЛЕНА ГИЛЯРОВА
МАША ГОЛЬДМАН
НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ
НАТАЛЬЯ ДАРАГАН
ДАВИД ДЕКТОР
ЭТГАР КЕРЕТ
ФЕЛИКС КРИВИН
НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВ
ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ
ПЕТР МЕЖУРИЦКИЙ
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ
ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ
ВЛАДИМИР ФРОМЕР
ДАВИД ХАНАН
И ДРУГИЕ

№3

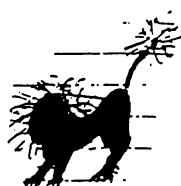


JERUSALEM REVIEW

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

00'3

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

③ 2000

Иерусалимский журнал, №3, 2000

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/L

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение **"Иерусалимская антология"**

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Зинаида Палванова, **Дина Рубина**, **Светлана Шенбрунн**

Редколлегия благодарит **Семена Гринберга**, **Юлия Кима** и **Романа Тименчика** за помощь в подготовке материалов к печати.

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник – **Сусанна Черноброва**

Редактура и корректура – **Маргарита Шкловская**

Организационное и техническое обеспечение – **Бина Смехова**,
Софья Бренерман, **Борис Бронштейн**, **Даниил Буриштейн**, **Михаил Бяльский**, **Нея Глузман**, **Виктор Гопман**, **Григорий Гордин**, **Даниил Лемберг**, **Антон Мухин**

Издательство **"Скопус"**

При поддержке



Министерства абсорбции;
Министерства культуры;
Центра интеграции репатриантов –
деятелей литературы и искусства;

Управления абсорбции и Отдела культуры
Иерусалимского муниципалитета; Сионист-
ского Форума и Всемирной ассоциации по
изучению взаимодействия культур.

Журнал выходит ежеквартально

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2000. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции:

Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322

E-mail: review@antho.net

Тел.: 972-2-6434005, 972-6432962; тел./факс: 972-2-6720025

Представители "Иерусалимского журнала":

В Москве – **Игорь Меламед**, т.: 242-70-42. 119048, Хамовнический вал, 24/116; **Игорь Грызлов**, т.: 551-57-05; E-mail: igorgr@dol.ru

В Санкт-Петербурге – **Ольга Крупенья**, т.: 312-54-65; 191186, ул. Казанская, 5; **Сергей Григорьянц**, т.: 294-81-43; ул. Бассейная, 71/66.

В Нью-Йорке – **Андрей Грицман**, т.: 201-447-8246; Andrey Gritsman, 1590 Anderson Ave, #16A Fort Lee NJ 07024. E-mail: agritsman@worldnet.att.net

В Чикаго – **Александр Блинштейн**, т.: (847) 676-1134, Alexander Blinstein, 5157 Jarvis, Skokie IL 60077; **Ефим Котляр**, т.: (847)-5819304, Yefim Kotlyar, 5251 Carol, Skokie, IL 60077; E-mail: YefimK@aol.com

В Калифорнии – **Рита Бальмина**, т.: 619-4606179, Balmina, Cowles HNT.BD #E128 La-Mesa CA 91242 rita_balmin@yahoo.com

В Израиле: Арад – **Ольга Кравченко**, т.: 07-9971014. Ариэль – **Самуил Кушников**, т.: 03-9365452. Герцлия – **Леонид Шейнман**, т.: 09-9502681.

Елена Аксельрод

СОН О ТАНЦЕВАЛЬНОМ КЛАССЕ

* * *

Мой раскаленный дом оледенел.
Под люстрой бьется мотылек, как парус.
В отчаянии плотном нету пауз.
Нет воздуха. Весь мир оцепенел.

Неужто весь? В окно мое летит
Речь неразборчивая, шепот шины.
И снова я с настырностью мышины
Скребу пером. Бумага шелестит.

* * *

Ненадеванные платья,
Неговоренные речи,
Нераскрытые объятия,
Несвершившиеся встречи.

Я застряла в лифте темном,
Не поднявшись, не спустившись –
В лифте темном, неподъемном,
Не простясь, не расплатившись.

Нахожу наощупь кнопки.
Жму на все подряд вслепую.
Зов мой из ночной коробки
Падает в нору пустую.

Слепнет, мечется сознание,
Бьется в петлях серпантина.
Но прощенье, воздаянье,
Свет во тьме – улыбка сына.

ВЕЧЕРНИЙ СЮЖЕТ

В промежутке, когда ни светло, ни темно,
Чуть размытым наброском сюжета
Новоселы сойдутся стучать в домино,
Как в Москве, если отпуск и лето.
Сдвинут лавки тесней за дощатым столом
В невзначай обретенном Араде,
И усядутся жены мечтать о былом,
О бакинском и минском укладе.
А за ними Черемушки. Правда, бетон
Раскаляется за день нехстати...
Разве это сюжет? Это попросту фон,
Это горы горят на закате,
Русской речью вечернею взяты в полон –
Наш язык вождедеет к прохладе, –
Но порою иврит из раскрытых окон
Заверяет, что он не в накладе.
Полосатого облака гаснет наряд,
Вот подол уже с крышами вровень.
Спит иврит. Русский спит.

Лишь глядят на Арад
Кнопки белые в черном покрове.

* * *

Пустынные дожди,
Пустой пустынный город –
Сверни за поворот,
И там лишь поворот
Еще один, еще –
И дождь накроет гору,
Ее сухую плоть
Плетьями отдерет.

А, впрочем, ни холмам –
Пустынникам горбатым,
Ни улицам, ни мне
Здесь ливень нипочем –
Летел потолковать,
В сердцах бранился градом –
Без отклика притих,
Отдал концы молчком.

* * *

К риторике склоняющий пейзаж,
А я увязла в судорогах быта.
И разве не обидно – мой багаж –
Лишь терка трехсторонняя да сито –
Спасибо, нержавеющая сталь...
Размельчены, бледны воспоминанья –
Крупа, мука – да все чего-то жаль...
Рукой подать – вершины и зиянья,
Скучает цельнокроенный верблюд –
Но взгляд мой ограничен и неполон,
Как памяти расколотый сосуд,
Как долгий день меж потолком и полом.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

В свет уставясь головою,
Елка вывесила хвою
На просушку, как белье.
И мое житье-бытье
Развиднеется, быть может.
Непогожий день мой прожит.
Но последняя, одна,
Туча, как вчера, черна,
Ненароком вспомянула
Утоленный Божий гнев
И, вздохнув, слезу смахнула,
Нехотя меня задев.

ПОПЫТКА ИНТЕРЬЕРА

Старая мебель в доме природы –
Кресла истерты, косые столы.
Каменные обряжены комоды
В пыльно-хамсиновые чехлы.
Зелень, расставленная поштучно,
Как по квартире растения в горшках.
Рыжий диван рядом с тумбою тучной,
Кто водрузил вас в сыпучих песках?
Горные немногословны пенаты.
Хриплое эхо ловлю на лету.
Ешь, сколько влезет, пес мой патлатый,
Кость догрызи и облай немоту!

СОН О ТАНЦЕВАЛЬНОМ КЛАССЕ

"Куда так проворно, жидовка младая..."

М. Ю. Лермонтов

Танцую. Топчутся вокруг
Плясуны, не совсем молодые.
Их каблучков не точен стук,
Прически высятся седые,
Окрашенные в пламя дня,
Окрашенные в сумрак ночи –
Примерно так, как у меня.
Нас балетмейстер в звезды прочит,
Кричит, стучит: *"Батман тандю!"*
Меня не слушаются ноги,
По безучастному дождю,
По оседающей дороге
Плетусь в балетных башмачках
На еле слышный звон трамвая.
Огни зеленые впотьмах
Скользят, меня не задевая.
Крахмальный, как пуанты, снег
Ложится на асфальт осенний,
И неподвижен мой побег,
Лишь сходятся, танцуя, тени.
Мне сто или пятнадцать лет?
Всплывают, пропадают лица.
Никак не кончится балет –
Ни выпрыгнуть, ни провалиться.

СТАРЬЕВЩИК

"Альте захен, альте захен", –
Бедуин кричит на идиш.
Маме лошен – альте захен –
Вряд ли этим нас обидишь.
Надрывается старьевщик:
– Позабудь свое местечко,
Был твой дед перелицовщик,
Просидел весь век за печкой.
Как сюртук того портняжки,
Твой язык перелицован,
Как братишкины рубашки,
Как наследие отцово...

* * *

*"Меж стенания надгробного
Долг повелевает – петь..."*

М. Цветаева

Не раз себе надгробную пела.
Не знала, что этот – последний раз.
Пела заносчиво, слишком смело,
С необоримым борясь.

Искру предчувствия музыка прячет.
Слов окончательных нет.
Что сломан голос, что звук утрачен,
Не разумеет поэт.

* * *

Памяти отца

– Еще человек, которого надо любить, –
Сказал мой отец, когда появился внук.
– Еще человек, которого надо любить, –
Сказала и я, когда появилась внучка.
Любил он как жил. Мне ж бывало порой недосуг.
В работе души оставалась, видать, недоучкой.

Не знаю, откуда отец мой на внука глядит,
Не знаю, куда – с глаз долой – моя внучка пропала.
Но зряч мой отец. И о т т у д а он все мне простит –
И то, что любила не так и что думала мало,
И то, что пришлось размышлять, потому что
души не хватало,

И то, что вдали от меня
он сырою землею укрыт.

В ГАЛЕРЕЕ

Я старомодна. Я люблю музеи.
Брожу часами. На людей глазею.
Потом они со стен глядят мне вслед.
Однако нынче не в чести портрет –
Пожалуйте со мною в галерею.

Нью-Йорк, Варшава, Иерусалим.
Просторный зал бесплотен, нелюдим.

Где выставка? Растерянный мой взгляд
Встречается со взглядом унитаза,
А вдоль стены услadoю для глаза
Телеэкранов черно-белый ряд
Невыразимую смакует муку –
Одна рука другую чешет руку.
Вот зал второй – квадраты и круги.
Да если бы одни круги-квадраты!
Тут помудреней, тут набор богатый:
Ведро, клочок газеты, сапоги...
В недоуменье пялюсь на отходы
Толпы, в которой лиц не разберешь.
Фольгу, афишку, жвачку, ржавый нож
Художник хищный притащил с охоты.

* * *

– Привет. – Пока.
– Привет. – Пока.
Как два щелчка,
Как два хлопка
Дверей, окон –
И вышел вон.

– Пока. – Привет.
– Пока. – Привет
Тебе, еще один рассвет,
Тебе, мой стол,
Тебе, мой плед,
Тебе, рычащий грузовик,
Тебе, гора молчащих книг,
Тебе, некупленный билет
Туда, откуда писем нет.

Феликс Кривин
СКАЗКИ ИЗ ЖИЗНИ

КОРМЯЩИЙ НАПОЛЕОН

Печальный факт, что индюк думал, думал, да и сдох, испугал многих мыслителей. Они старались себя ограничивать, чтобы не заходить в мыслях слишком далеко, в результате чего появилось немало ограниченных.

И вдруг – сенсация: индюк, который много думал, не умер, а родил. И благополучно продолжает жить, если, конечно, его не зарезали (такое с мыслителями тоже бывает).

Конечно, родить – это не мужской поступок. Сдохнуть – мужской, а родить – не мужской. А ведь с виду индюк – воплощенное мужское достоинство. В любом индюке есть что-то от Наполеона, как и в любом Наполеоне что-то от индюка. Видимо, этого не учел мой приятель, известный в нашем городе гипнотизер индюков и ящериц, когда заставил индюка выполнять женскую работу.

Личная жизнь петуха широко известна и не делима от его жизни общественной, но трудно представить, что такая важная птица, как индюк, может унизиться до личной жизни. И вдруг он сидит на яйцах. Причем не своих, а павлиньих, что оскорбляет не только его мужское достоинство, но и биологическую гордость. И должен сидеть целый месяц. За хулиганство – и то меньше дают.

Индюк, сидящий на яйцах, все равно, что кормящий Наполеон. Но приходится сидеть, прикрывая буквально собой это позорное поле деятельности.

А в индюшатнике – переполох: нашего посадили! Ходят, голгофуют: всех не пересажаете! Но постепенно успокаиваются и начинают делать вид, будто не имеют к этому индюку никакого отношения и вообще видят его первый раз.

Вот когда пришлось индюку задуматься. О ненадежности мужской дружбы, о грядущих семейных неприятностях. Ведь супруга может подумать, будто он детей нагулял, она давно подозревала, что он заглядывается на этих пав, век бы на них не заглядываться.

От таких мыслей можно сдохнуть и на Святой Елене. Если б не дети. Дети – наша радость, и как раз в это время они вылупились.

И ничего, что они не индюшата. Любые дети украшают жизнь – и индюшата, и павлинята, и даже коршунята, хотя от этих последних нужно держаться на расстоянии.

Но радость индюка была недолгой. Работа была выполнена, надо было возвращаться к очередным делам. Отряхнувшись от материнских забот, выполнять суровую мужскую работу.

СКАЗКА О ДАЛЕКОМ ГОРОДЕ

Три гномика лежат животиками на земле и о чем-то шепчутся. Они из камня.

Разноцветные колпачки, яркие одежды.

Они лежат в городском сквере, между улицей Ленина и улицей Октября, на каждой из которых я жил. Теперь их, наверное, переименовали.

Гномам приходится шептаться, потому что на соседней скамеечке всегда кто-то сидит. Если громко говорить, могут услышать. А их нужно только видеть, такие они красивые. Разоделись в пух и прах, но и этого им показалось мало: они и позы принимали живописные – на случай, если кто-то захочет нарисовать. Чтoб получилось не хуже, чем на картине "Охотники на привале".

Долгий у них получился привал. Они еще до войны здесь приваливались. А люди на скамеечке постоянно менялись – придут и уйдут.

Так пришли и ушли князь Олег, князь Игорь. Князь Святослав. И Потемкин, тоже князь, и Кутузов, пока еще не князь, но уже комендант здешней крепости. Декабрист Пестель. Поэт Пушкин. Все пришли и ушли, и все здесь сидели, когда еще и самой скамеечки не было.

Гномиков тоже не было, но они твердо верят, что были. Они же каменные.

В моей стране было много каменных людей, но все они стояли на пьедесталах. А чтобы вот так лежать на земле животиками – такого у нас не было. Да и никто бы не разрешил.

Бессарабия, страна без арабов, на зависть другой, далекой отсюда стране. Арабы пришли и ушли – вот и получилась земля Бессарабия.

Дворничиху Тамарку гномики помнят еще девочкой. Потом барышней, боярышней, румынской княжной. Княжна с улицы Ленина, на которой кончилась ее княжеская жизнь. Мы жили с ней в одном доме, в прежде их родовом, а теперь государственном доме, и брат княжны Михаил, похожий на декабриста Михаила Бестужева или еще на какого-то декабриста, играл нам на рояле Шопена и Рахманинова.

Потом брат спился и куда-то исчез. А княжна Тамара стала мести улицы. И когда она увидит мою сестру на улице Октября, то окликает ее с улицы Ленина: "Ленуца!"

И они разговаривают. Не потихоньку, как гномики, а прямо с улицы Ленина на улицу Октября. Им есть, о чем поговорить. Моя сестра помнит брата Мишу, она хорошо помнит, каким он был, а кто еще в городе это помнит?

Обе они состарились, как эта турецкая крепость, которая никого уже не может защитить. Теперь она просто декорация, в ней снимают кино, и народный артист Бондарчук, в черной краске, как в черной маске омовца, душит заслуженную артистку Скобцеву, вдвойне жену – по фильму и по жизни, и никакая крепость ее не защитит, потому что старая крепость – всего-навсего декорация. Когда так долго живешь, превращаешься в декорацию.

Город постарел. Только гномики остались такими же молоды-

ми. Они столько повидали на веку – и не состарились. Как им удалось столько видеть – и не состариться? Они шепчутся, наверно, знают секрет.

Белый город, город моего детства. Совсем недолгого здесь, но такого памятного, хотя я от него так далеко урос. Рос, рос и урос, так что даже не знаю, куда оглянуться.

ЗНАК ЗАБВЕНИЯ

Какой должна быть реакция, когда застаешь в своем доме жену с любовником?

Можно устроить ей скандал. Можно устроить ему скандал. Можно устроить обоим скандал. Можно написать ему на работу. А если застаешь их в своем замке?

Тут, конечно, реакция будет другой. Можно убить жену. Можно убить любовника. Можно обоих убить и себя в придачу.

Но граф Шенборн поступил не так. Не тронув ни жену, ни любовника, он отыгрался на башенных часах: приказал стереть на циферблате четверку, время этого трагического события, чтоб никогда больше о нем не вспоминать

Но что интересно: он еще больше вспоминал. Уже совсем забудет об измене жены, но только глянет на циферблат, и тотчас задумается: а почему на нем нет четверки? Все цифры есть, а четверки нет. И начинает вспоминать, пока не вспомнит: да ведь это время, когда моя жена изменила мне с любовником!

Знак забвения действовал как знак запоминания. Может быть, знака забвения вообще не существует? Существует. Вот простой пример.

В старину один морской бродяга, проплавав по морям все молодые годы, под старость вышел на сушу, нашел молодую жену и повел с ней сухопутную жизнь в приморском городе Карфагене.

Не имея, чем удивить жену, этот старый греховодник делился с ней своим огромным жизненным опытом, но не всякий опыт женщине интересен, и старик стал замечать, что жена все чаще бросает заинтересованные взгляды в окно, за которым фланируют молодые карфагенские прощелыги.

Не зная, как привлечь к себе внимание жены, старый мошенник накупил певчих птиц и стал их кормить лишь при условии, что они будут произносить нехитрую, но лестную для него фразу: "Ган – великий муж!" (Ган – так звали этого бездельника.) Птицы долго упорствовали, но они не знали разницы между правдой и ложью, а разницу между сытостью и голодом знали довольно хорошо, поэтому они научились говорить то, что от них требовалось.

И это было знаком забвения всех приличий и для него, и для птиц. Добившись четкого и грамотного произношения, старый Ган распахнул клетки и выпустил на волю певцов своего величия. Но, почувствовав свободу, птицы мгновенно забыли то, чему их учили в клетках, что, конечно, им чести не делает. На свободе далеко не все делает честь, ей не подходит наука, полученная в неволе.

Между тем супруга великого мужа, не ограничиваясь взгляда-

ми, стала прямо-таки выпрыгивать из окошка при виде молодых прощелыг. И тогда ее муж закупил новую партию птиц и стал их кормить на тех же условиях. И, научив их своей лживой науке, не стал выпускать на волю, а разослал горожанам вместе с клетками.

Однако в клетках птицы недолго разглагольствовали о том, что их бывший хозяин – великий муж (знак забвения!). Потому что их новые хозяева считали, что Ган – старый осел, и кормили птиц лишь после этой обличительной фразы.

Потому что если бы он не был осел или, допустим, старый осел, он не стал бы морочить голову птицам, а нашел бы чем заняться с женой, вместо того, чтоб делиться с ней своим вековым опытом. Этот знак забвения и напоминания годится и для графа Шенборна.

ХОЗЯИН БРОНЗОВОГО ВЕКА

Под новогодней елкой стоял человек в кителе цвета хаки. Руку он держал у борта кителя, словно собираясь расстегнуть свою душу для всех или, наоборот, наглухо от всех застегнуться.

Слово "стоял" можно употребить лишь с некоторой условностью, поскольку имелась в наличии только верхняя половина, а нижняя – стояла она, сидела или ходила, – ничего о ней известно не было, так что можно считать, что она вовсе не существовала.

Волосы у человека тоже были цвета хаки, и лицо, и усы. Бороды он не носил, чтоб его не путали с его предшественниками. Этот цвет называли еще защитным, то есть таким, который помогал в определенных условиях себя защитить.

Обычно человек цвета хаки стоял на комоде, ревниво поглядывая на соседей, которые делили с ним этот почетный пьедестал. Он не любил ни с кем делить пьедестал и в прежние времена сбрасывал всех, кто оказывался с ним рядом. Правда, было это не на комоде, а в далекие докомодные времена.

Героические были времена. Страшные, жестокие, но героические. Шла война между каменным и бронзовым веком. Победили оба, и теперь каменный век не отличишь от бронзового. Но общее название – бронзовый, поскольку он считается более прогрессивным.

Сейчас человек цвета хаки стоял под елкой, заменяя Деда-Мороза. Хозяин квартиры не верил в Деда-Мороза, а в человека цвета хаки он верил, он знал его еще по тем временам, когда этот человек выглядел намного старше хозяина. Теперь он выглядел моложе, – так что если б не его положение под елкой, сразу и не скажешь, кто тут кому Дед-Мороз.

Он стоял под елкой, и взгляд его был устремлен вдаль, на противоположную стенку, занавешенную большой географической картой. Из-под елки был виден только кусок Магаданской области с заливом Лаврентия и поселком Лаврентия, и человек пытался вспомнить, что это за Лаврентий. Имя вроде знакомое, только память что-то стала сдавать.

Героические времена прошли. Теперь он такой Мороз, от которого никому ни холодно, ни жарко. Только хозяин порой приласкает взглядом, но и ему, Морозу, от этого взгляда ни жарко, ни холодно. Разучился он жару от холода отличать.

И цвет хаки выцвел. Теперь это обычный бронзовый цвет. Потому что и сам человек из бронзы, каменной бронзы середины столетия.

Памятник бронзовому веку. Памятник каменному веку. Каменная и бронзовая память о каменных и бронзовых временах. Хозяин квартиры любил этого человека.

А человек цвета хаки? Кого он любил? Даже тогда, когда он еще мог любить, он любил одно: чтоб его любили. И все гадал, отрывая головы, как ромашкины лепестки: любит – не любит?

В этом плане его интересовала Снегурочка: любит она его или не любит? Правда, у него только верхняя половина, а некоторые в любви отдают предпочтение нижней. Но это не настоящая любовь. Любить надо верхней половиной, той половиной, на которую надевают китель и вешают ордена и другие знаки отличия.

Он потерял свою нижнюю половину в борьбе, из нее выплавляли верхнюю половину нынешнего руководителя. Тот этим очень гордится, всюду заявляет, что он из низов. Происходить из низов считалось самым престижным для каменного и бронзового века.

Да, времена были. Страшные времена. У некоторых до сих пор трясутся коленки, а душа как в пятки ушла, так ее до сих пор оттуда не вытянешь. А у него и коленки не трясутся, и с пятками полный ажур. Вот оно, преимущество верхней половины.

А живот? Другие животы поотращивали, а у него ну совершенно нет живота. Он такой стройный, подтянутый. Разве можно такого не любить?

Он восхищался достоинствами своих недостатков и очень хотел, чтобы Снегурочка обратила на них внимание.

Но тут, как это всегда бывает, наступил Новый год. Снегурочку отправили в коробку, его – на комод, елку вынесли, комнату вывели. Как будто и не было Нового года. Будто все еще длился добрый старый год.

СКАЗКА О МОЛОДЫХ И СТАРЫХ

Жизнь ушла из города. Только в одном окошке свет. Старая женщина хлопочет по хозяйству. Входит солдат.

Старуха думает, что он из тех, кто вывозил из города население, и говорит, что никуда не уедет.

Солдат считает, что нужно ехать, здесь оставаться опасно, здесь даже он, солдат, не сможет ее защитить.

Старуха говорит, что не нуждается в его защите. Это огорчает солдата, потому что раньше в его защите нуждались многие.

Старуха машет рукой. Она старая, в ней жизни так мало, что нечего защищать. А вот солдат пусть себя побережет, он молодой, ему вредно здесь оставаться.

Нет, ему не вредно. Неприятно, но не вредно. Он любит эту землю, но она теперь стала другой. Какой-то холодной, чужой, мертвящей.

При этих словах появляется смерть. Она пришла за старухой, но услышав, что она не одна, затаилась за занавеской и прислушалась к разговору.

Старуха пригласила солдата сесть, но он отказался. Солдатская служба – либо стоять, либо лежать.

– Я бы тебя покормила, но у нас все продукты вредные, – сказала старуха. – Мне-то они не вредные, а тебе вредные. Интересно, почему это? – заинтересовалась за занавеской смерть.

– Мне тоже не вредные, – усмехнулся солдат. – Просто я не хочу есть. Не проголодался еще. Но, наверно, уже не проголодаюсь.

Старуха не верит. Солдаты наши всегда голодные, их плохо кормят, жалуется она.

Солдат с ней не согласен. Солдат не могут плохо кормить, их всегда кормят досыта.

Старуха и тут ему не верит, их чернобыльские ребята служили в армии, рассказывали.

– Ну, – говорит солдат, – это, может, сейчас кормят плохо...

– А ты разве служишь не сейчас?

– Не сейчас. Меня еще в сорок третьем убило. Я лежу здесь неподалеку... вернее, лежал. А теперь что-то стало с землей, совершенно лежать невозможно.

Старуха не удивилась. Их много, солдатиков, лежало в земле, а теперь, видно, стало немоготу. Как же тут улежать при такой радиации?

Солдат не знает, что такое радиация. Чувствовать – чувствует, а знать – не знает. Не подумали о мертвых, сокрушается старуха, испоганили землю, а людям лежать.

Смерти это тоже не понравилось. Она пришла за старухой, но теперь не знает, куда ее забирать. Надо подумать, что тут можно сделать, решила она. А старуха спрашивала солдата:

– Сам-то откуда? Не чернобыльский?

– Чернобыльский. Раньше, правда, был не чернобыльский, но это только первые восемнадцать лет. А все остальное время чернобыльский. – Он помолчал. – Да я тут рядом лежу, сразу за городом. Правда, адреса у меня нет, там сверху ничего не написано. Меня как убило, так я и лежу. Верней, лежал, пока было можно.

Он был солдат. Солдаты воюют между собой, а не с окружающим миром. Они умирают, но земля остается жить. Потому что надо же мертвым куда-то уходить, как жить живым, если мертвым уходить будет некуда? Вот именно, подумала смерть.

Старуха тоже этого не знала. Она как раз собиралась уходить и была уверена, что ей есть куда уйти. Она потому и не уехала, чтоб уйти в эту, а не в какую-нибудь другую землю.

– Что же нам делать? – спросила она.

– Я пока не знаю, бабушка, – сказал он, назвав ее бабушкой, хотя по земному возрасту она была моложе его. Но если земля стала другой, то и возраст земной, наверное, изменился.

Она поставила на стол помидоры и огурцы. Хлеб поставила. Пусть поест, раз ему это не вредно. Но солдат есть не стал. Он

смотрел на еду будто видел ее впервые. Вот какой она стала, ее и узнать нельзя.

– Уходите отсюда, – сказал солдат.

– Я уже уйти не могу, мне поздно уходить, а у вас еще есть немного времени. Поищите себе другую землю, более пригодную для смерти.

Вот оно как получилось. Раньше наша земля была непригодна для жизни, а теперь и для смерти непригодна, оказывается.

– Сыночек, – сказала старуха, – уж теперь-то я никуда не уйду. Раньше мне некого было здесь оставлять, а теперь у меня появился ты. Как же я тебя оставлю?

Они сидели друг против друга, – верней, она сидела, а он стоял, потому что за столько лет совсем сидеть разучился, – и им было хорошо вдвоем, хотя "хорошо" было для них давно забытое слово. Им было хорошо на этой земле, не пригодной не только для жизни, но и для смерти, потому что немножко-то жизни в них осталось, совсем немножко старухиной жизни – на двоих.

– Помню, когда я была молодой, – рассказывала старуха, – у меня был солдатик вроде тебя. Такой был потешный. Я его спрашиваю, хорошо ли их кормят, хватает ли им еды, а он говорит: "Хватает, еще и остается!" – "А что же вы делаете с тем, что остается?" – "Доедаем, – говорит, – еще и не хватает!"

Это был старый анекдот, но старухе казалось, что это с ней случилось в жизни. Она хотела развеселить солдата, а то он там все один да один, наверно, соскучился.

За занавеской послышался смех.

– А вот когда я была молодая, – сказала смерть, выходя из-за занавески, – такая была легкомысленная, просто беда. Все у меня было хиханьки да хаханьки.

– Знаем мы твои хаханьки, – сказал солдат.

– Ну откуда ты можешь знать? Мы же с тобой только раз виделись.

– Разве этого мало? – сказал солдат.

– Это много, – сказала старуха.

Так они сидели и разговаривали. Женщины сидели, а солдат стоял.

– Вот когда я была молодая, – говорила старуха.

– А когда я была молодая, – вспоминала смерть.

И солдат вспоминал, как он был молодой...

Он и сейчас еще молодой, но тогда он был молодой по-другому.

СКАЗКА О ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ

Григорий Свиридович гордился своими предками. Григорий Давидович стеснялся своих предков. А Григорий Леонидович не помнил ни своих, ни чужих, потому что был Григорий Леонидович воинствующим интернационалистом. Род настоящего интернационалиста начинается с отца, да и то лишь для того, чтобы интернационалиста можно было назвать по отчеству.

Они сидели на берегу Средиземного моря, и Григорий Давидович время от времени делал жест, будто закидывает удочку. Ну,

обнаглел! Закидывать удочку в Средиземное море!

Они сидели на солнышке. Когда-то насиделись в темницах. Григорий Свиридович за чрезмерную гордость своими предками, Григорий Давидович – за сокрытие своих предков, а Григорий Леонидович – за недостаточно воинствующий интернационализм по отношению к малым национальностям.

Григорий Свиридович и Григорий Давидович были знакомы еще с молодых лет. Бывало сидят, разговаривают. Григорий Свиридович все о предках да о предках, а Григорий Давидович – тоже о предках, но не своих, а Григория Свиридовича. О своих же предках – молчок. Будто у него никогда не было предков.

Предки Григория Свиридовича были запорожцы, все на лошадях. А у Григория Давидовича не было предков на лошадях, разве что под лошадьями. Как поскачут запорожцы на ляхов, так предки Григория Давидовича уже под лошадьями. Хоть и не ляхи, а под лошадьями. А как поскачут ляхи на предков Григория Свиридовича, предки Григория Давидовича опять под лошадьями.

Не хочется говорить, но предки Григория Свиридовича недолюбливали предков Григория Давидовича. И нередко предавались этому губительному чувству. Бывало и так, что на помощь им приходили предки Григория Леонидовича и даже предки других, совершенно посторонних людей.

И если бы только предки. А современники? И на лошадях не скакали, а сколько потоптали людей. Заглянули бы предки в наши времена, у них не то, что волосы, кости встали бы дыбом.

Людей сажали, как картошку. Но картошку сажают ненадолго, на пару месяцев, а людей сажали на долгие годы. Так посадили Григория Свиридовича – за чрезмерную любовь к своим предкам, так же посадили и Григория Давидовича – за сокрытие своих предков, и еще за анекдоты. Тогда они казались Григорию Давидовичу остроумными, а теперь он не видит в них ничего смешного. Теперь он вообще не понимает, почему люди смеются над анекдотами. Может, у него пропало чувство юмора? Может быть, оно пропадает в темницах, как фотопленка на свету?

Он сделал жест, будто подсекает. Когда-то он был крупнейший на Украине рыбак, хотя и не такой знаменитый, как Натан Рыбак, украинский писатель.

Сейчас они сидели на солнышке, на скамеечке. Времена переменялись. Григорий Свиридович уже не так гордился своими предками, Григорий Давидович уже не так стеснялся своих предков и даже чуть-чуть ими гордился. Но, конечно, прямо этого не высказывал. Он вообще многого прямо не высказывал, такая у него была жизнь. А Григорий Леонидович остался интернационалистом, но таким невоинствующим, что его хоть голыми руками бери.

Они сидели на скамеечке и разговаривали. Точнее, разговаривали Григорий Свиридович и Григорий Давидович, а Григорий Леонидович никак не мог вспомнить, что он хотел сказать. А если вспоминал, что хотел сказать, то не мог вспомнить, сказал он это или только собирался. А когда вспоминал, что сказать собирался, вылетало из памяти, что именно он собирался сказать.

Григорий Давидович сделал очередной жест и спросил:

– А вы знаете, почему рыба клюет на червяка?

– Такое у нее меню, – сказал Григорий Свиридович.

– Потому что кушать хочет, – сказал Григорий Леонидович и задумался: сказал он это или не сказал?

Григорий Давидович отверг оба ответа. Рыба клюет на червяка, потому что стесняется своего происхождения. Она же происходит от червяка, Григорий Давидович сам читал об этом в какой-то книжке.

– Конечно, происходит от червяка... – закивал Григорий Свиридович. – Тут от обезьяны происходишь, и то как-то не по себе.

– Одно выручает, – сказал Григорий Давидович, – что от обезьяны происходят абсолютно все. А если б одни происходили, а другие не происходили, тут бы мы имели массу неприятностей.

Вот и птицы тоже: все произошло от пресмыкающихся. Им говорили: рожденный ползать летать не может, но они пропустили это мимо ушей. И это помогло им подняться над своими предками.

Все трое замолчали и задумались. Каждый вспомнил свою жизнь – насколько она подняла его над предками. Или опустила ниже предков. Наверно, гордиться предками нельзя, думал Григорий Свиридович, гордиться можно только потомками. И стыдиться можно только потомков, думал Григорий Давидович. Потому что только за потомков мы можем нести ответственность.

Они сидели на солнышке, на скамеечке. Солнышко было у них над головой, а где была скамеечка? Скамеечка была на берегу Средиземного моря, в неожиданной для их прошлого стране, а для будущего – в нормальной стране, жаль, что его мало осталось, этого будущего. Это прозорливое прошлое, оно глотает будущее, как рыба глотает червяка, но, конечно, совсем из других соображений. А из каких соображений? Вот бы ответить на этот вопрос!

Григорий Леонидович поставил перед собой этот вопрос и теперь мучительно вспоминал: поставил он его или не поставил.

СКАЗКА О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

Они вместе росли, но пока еще мало выросли, поэтому родители их просили друг за другом присматривать.

У мальчика был бинокль, и он присматривал за девочкой в бинокль, а иногда давал ей бинокль, чтоб и она за ним присмотрела. Потому что если смотреть на него в бинокль, он выглядел не таким маленьким.

И так они присматривали друг за дружкой в бинокль, и однажды, рассмотрев мальчика в увеличенном виде, девочка предложила:

– Давай играть в любовь.

И они стали играть в любовь, популярную игру взрослых. Но у них был один бинокль на двоих, поэтому большими они могли быть только по очереди. А для настоящей игры в любовь большими нужно быть одновременно. Потому что это игра для больших.

Потом началась война. Мальчик со своей мамой уехал в эвакуацию, а девочка осталась. Осталась навсегда. Потому что ее

вместе с мамой убили враги, пришедшие в город. И мальчик не мог за ней присмотреть, ему из эвакуации не было ее видно.

Но игра в любовь продолжалась. И когда мальчик настолько вырос, что его можно было полюбить без бинокля, он встретил девочку, тоже уже большую, и она стала его женой.

Теперь игра в любовь стала трудной. Порой она даже переставала быть увлекательной, – может, этим и отличается увлечение от любви. И однажды, когда им было особенно трудно, девочка тихонько шепнула:

– Это я.

Мальчик сначала не понял. Разве он не знает, что она – это она?

Девочка просила присмотреться получше. Ему же поручили за ней присматривать.

– Не может быть, – сказал мальчик.

– Тогда посмотри на меня в бинокль. Если я в него помещусь, потому что теперь я стала большая.

– Но тебя же убили, ты же давно умерла!

– Как же я могла умереть, если я за тобой присматриваю?

Но он точно знал, что ее давным-давно нет на свете. Ее убили. Не совсем, сказала она. Если б ее убили, как бы они теперь встретились?

Утром она даже не вспомнила об этом разговоре. И мальчик решил, что все это ему приснилось, – мало ли что бывает у человека во сне.

И он забыл об этом сне. У них рождались дети, доставляли им немало хлопот, очередь на квартиру почти не двигалась, на работе неприятностей тоже хватало. И все реже мальчик вспоминал ту девочку, с которой они играли в любовь и которую он в войну оставил без присмотра.

Когда человека нет на свете, о нем невольно забываешь и можешь даже совсем забыть. И однажды она сказала:

– Ты совсем обо мне забыл. В последнее время ты так плохо за мной присматриваешь.

А он ей напомнил, что она умерла, что ее давно уже нет на свете. Когда человек умирает, он не должен об этом забывать.

Он сказал, что уже много лет живет с другой женщиной, что у них не игра, а семья, но она на это только улыбнулась. Потому что она-то и была этой женщиной, и они продолжали игру в любовь.

А утром опять – как будто ничего не было. Девочка готовила завтрак, собирала в школу детей, а мальчик спешил на работу, чтоб еще до работы заплатить за свет и за газ, а по дороге подготовиться к выступлению на планерке.

И никто не обернулся в прошлое, не кивнул ему, не помахал рукой, и оно побрело прочь, уже больше не оборачиваясь.

Дети выросли, стали рождаться внуки. Потом и они выросли.

И однажды она сказала:

– Это я.

– Да, это ты, – сказал мальчик. Он так постарел, что был совсем не похож на мальчика. – Как хорошо, что это ты! Жизнь была такая трудная. Если б тебя тогда убили, как бы я без тебя прожил?

– Я бы тоже не прожила, – сказала девочка. Старенькая, но

все-таки девочка. — Без тебя меня б навсегда убили, а так я вон еще сколько прожила. До самой старости прожила. Потому что ты хорошо за мной присматривал.

— Ты не старая, — сказал мальчик, — ты еще молодая.

— Женщина и должна умирать молодой. Не в детстве, конечно, а так, как я.

Мальчик сказал, что ей рано думать о смерти. Зачем думать о смерти? Это не по правилам, они же играют в любовь.

— Это не страшно, — сказала девочка. — Умереть — это не страшно. Я и так слишком долго жила. Потому что — ты только не обижайся, не сердись, не переживай — меня ведь тогда убили по-настоящему...

КАПИТАН ЛЯ ГУШ

У моего приятеля редчайшая профессия: гипнотизер ящериц. Ящерица под его гипнозом проживает совсем другую жизнь, поднимается к вершинам эволюции и даже цивилизации. А очнувшись от гипноза, никак не может вспомнить, на какой вершине она была. Но не может вспомнить умом, а чувствами что-то чувствует.

Как-то мой приятель усадил ящерицу за рояль. Рояль был не настоящий, игрушечный, да и ящерица не настоящая пианистка. Но под гипнозом мы все настоящие и, чтобы в этом никто не сомневался, мой приятель включил музыку отдельно от рояля.

И вот сидит ящерица у рояля, слушает музыку и вдруг видит себя на балу, дамы, лягушки, саламандры кружатся в танце, все такие красивые, элегантные. Но красивее всех ящерица. Поэтому ее часто поднимают из-за рояля, тем более что музыка и без рояля звучит.

Кавалеры забыли про остальных дам, они видят только ящерицу и приглашают только ящерицу. К ней выстраивается такая длинная очередь, что ящерице становится обидно за других дам, и она потихоньку выскальзывает из зала: пусть и они побудут самыми красивыми.

Очередь была сильно озадачена, не видя, за чем она стоит, но очень скоро кавалеры нашли своих дам, и бал продолжался с еще большим воодушевлением.

А ящерица брела по берегу моря, слушая музыку, которая медленно удалялась, но становилась от этого еще нежнее, еще сокроевнее.

И тут появился капитан Ля Гуш.

Он приплыл на волне из далеких просторов океана, опровергая слухи, что волна — это плохо загипнотизированная гора: не успела подняться, как гипноз кончился. Но на горе никуда не двинешься, а на волне можно обойти весь мир. Так что тут плохо, а что хорошо? Чтобы ответить на этот вопрос, не требуется никаких умственных усилий.

Капитан Ля Гуш не пользовался успехом у женщин. Он имел у них огромный успех, но им совершенно не пользовался. Но увидев ящерицу, задумчиво бредущую по берегу моря, он разгладил на груди жабо и решил воспользоваться своим успехом.

– О прекрасная! – воскликнул капитан Ля Гуш. – Какая вы прекрасная! – А она стыдливо опустила глаза:

– Видели бы вы меня у рояля!

Рояля не было, но музыка звучала. Потому что, когда полюбишь, музыке не нужен рояль.

Он рассказывал ей о далеких странах, в которых побывал, о морской державе Пенджаб, в которой много прекрасных жаб, но все они не идут ни в какое сравнение с ящерицей. Если быть точным, Пенджаб – не морская держава, от него море за тысячи километров, да и не держава это вовсе, а штат в Индии. Но это если быть точным. А разве можно быть точным в любви?

И Ля Гуш нисколько ее не обманывал, говоря, что они поплывут в Пенджаб. Она уже знала, что с ним поплывет куда угодно и по чему угодно: если по морю нельзя, поплывет по суше, по воздуху...

Жизнь – это гипноз. Загипнотизируют нас, мы и живем. А потом гипноз кончается, и приходится ждать, когда нас загипнотизируют снова.

Нас по-разному гипнотизирует жизнь. Одних плохо, и они остаются наполовину теми, кем были: жабами, улитками, разным зверьем. А хорошо загипнотизированные становятся капитанами, первыми красавицами на любом балу.

Она слушала его и не могла наслушаться и наглядеться. Но в самом захватывающем месте у нее кончился гипноз. Она успела лишь крикнуть:

– Приходи, я буду ждать!

И он ответил:

– Жди! Я приду непременно.

Умолкла музыка, ящерица уползла прочь. От бала, от моря, от легендарной страны Пенджаб, где так много прекрасных жаб, но теперь уже не будет прекрасной ящерицы.

Она пыталась вспомнить, что с ней было, и не могла. Где-то она была, кого-то любила... Совсем не так, как любят сейчас, а как-то по другому... но как? Это не вспоминалось, но где-то в глубине чувствовалось.

Она совсем не жила, пока ее снова не загипнотизировали. И тогда она все вспомнила и опять кружилась на балу и бродила по берегу, и расспрашивала о капитане Ля Гуше. Он уплыл далеко и почему-то не возвращается. И ей говорили:

– Наверно, он утонул. Он умеет плавать только у самого берега.

Но она не верила. А вы бы поверили? И я бы не поверил. Не умеет плавать? Это капитан Ля Гуш?

Просто у капитана кончился гипноз. У всех у нас рано или поздно кончается гипноз, и тогда мы исчезаем в ожидании нового гипноза.

Но ничего, ничего, скоро его опять загипнотизируют. И ее загипнотизируют, и они поплывут в страну Пенджаб по морю, по суше или по воздуху.

Так она говорила. И, наверно, это так и есть. Жизнь, как гипноз: она кончается и начинается снова.

Нужно только не забыть самого главного. самого-самого-самого главного... Но что в жизни самое главное?

Этого никак не удается вспомнить.

Ася Векслер

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРОТУЛКА

Вот я среди соплеменного люда
в первое время после галута
в сторону от Махане Иегуда
без провожатых иду наугад.
Вымечтан издали, сплошь узнаваем
град многослойный – Ерушалаим.
Здесь, возлериночный, он населяем
теми, чей беспрекословен шабат.

Мне же бормочет прапамять-историк.
В зелени арки светится дворик.
Сладок миндалевый цвет, ибо горек
старый, наклонно растущий миндаль.
Дворик залатанной вымосткой выстлан.
Девочка в длинном, будто Уистлер
облик портретный к наследью причислил,
скажем, назвав ее "Мисс Авиталь".

Взгляд мой ввезен незаконно. Он странен.
"Мисс" ни при чем тут и англичанин.
Вывод поспешен и, в целом, печален:
здесь не грозит попаданье в струю.
Так оставляется дворик в покое.
А в синагоге пенье мужское
с улицы слышно. И дело такое:
вход мне заказан – поодаль стою.

Возле иерусалимского рынка
в сцене с массовой нынче заминка:
я, иудейка и простолюдинка,
роль позабыла – ни рабства, ни мук.
Все времена – миг единый на свете,
что для молитвы, что для соцветий.
А впереди вереницы столетий,
двадцать – с довеском – до баховских фуг.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ РОМАНС

Благие порывы за давностью срока
не вымостка в ад и не радужный дым.
Мы не добрались до гробницы пророка
у древней дороги в Иерусалим.
Не наши тень с тенью почти близнецами
в песок просочились на кромке морской.
И в праздном дозоре не мы за зубцами
прошли вдоль по верху стены городской.

Прельстив слух и зрение, жизнь соразмерит
соблазны картинок с пределом щедрот.
Напрасно настраивал скрипку Кинерет
и ветер пускался в смычковый полет.
И если, как будто крутя киноролик,
кафе-ресторанчик порой зазывал, —
счастливчик с везуньей садились за столик,
а нас в этой роли никто не знал.

Мы зря поднимались на пик упований
и в гору недоли. В итоге, меж них
гряда облаков, как цепочка желаний,
едва серебрится одна на двоих.
И тот, кто присматривает за сюжетом,
навряд ли его повернет невзначай,
хоть сказано было не здесь, не об этом,
не нами: "Уже и не надо... Прощай!"

1997

ВАЛЬС ГРИБОЕДОВА

Б. Голлеру

Зданье музея Рокфеллера
сбоку стены городской,
как для обложки бестселлера,
если представить такой.
Будка охраны для верности,
башня — и, как бы сквозь лак,
флаг Департамента древностей
и государственный флаг.

В городе ветхом, расколотом
случай неисповедим.
Вровень с мечетью под золотом
ты, одна из егудим,

то есть чужачка по статусу,
дважды в присутственный день
быстро проходишь по пандусу,
вправду – живая мишень.

Минуло время для выспренных
слов. Как посмотришь, видны
сколы на каменных выступах
от Шестидневной войны.
Вдоль галереи колышутся
тени от флагов, двоясь.
Эхом под сводами слышится
вальс – грибоедовский вальс.

Жаль, что не часто приваживать
блеск фортепьянный и прыть.
Где-то на воле не хаживать,
а до потемок служить.
Не синекура, а ревностный
долг дипломата, на грех,
или хранение древностей –
Музе хватает помех.

Тихие и торопливые
звуки, как знаки судьбы.
Грустные дни и счастливые –
до разъяренной толпы.
Жизнь петербургская, разве ты
вновь закружишься, светясь?..
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.
Что ты здесь делаешь, вальс?

1998

НОВАЯ АНГЛИЙСКАЯ ПЕСНЯ

Ане

Снег падал на дороги,
валился и лукавил.
Застряли все в итоге,
кто где, помимо правил:
король в гостях у девы,
а юный принц у дамы,
скрипач у королевы,
а мальчик возле мамы.

В приятнейшей беседе,
нежней и легче шелка,

желают лорд и леди,
чтоб снег не таял долго.
Вздыхнул король у девы,
а юный принц у дамы,
скрипач у королевы,
а мальчик возле мамы.

Отъездила столица.
Под кучеровы храпы
со стуком пес ложится
на все четыре лапы.
Зевнул король у девы,
а юный принц у дамы,
скрипач у королевы,
а мальчик возле мамы.

Над крышами не звездно.
Снег в небе. И прекрасно,
что отпираться поздно,
что утром станет ясно:
король-то наш у девы,
а юный принц у дамы,
скрипач у королевы,
а мальчик возле мамы.

Из теплой части света
на дальнем расстоянии
возможно знать все это
зимой, в похолоданье,
вдруг наведя на резкость
глаза, гоня напасти
и видя снег, — он редкость
в широтах сих. Как счастье.

ВСЕ КАПЛИ ДОЖДЯ

Без провожатых выйдя из гостей
в Рамоте, в час, когда все кошки серы,
а над огнями звезды всех мастей
одной конфессии и веры,
под ритм оркестра Поля Мориа,
в обход времен достигший здешних окон,
вдруг оглядишься — и от "Я" до "А"
увидишь данность не сквозь кокон.
И, возвратив вещам их имена
с привязкой к новым дням, как бы в ударе
пройдясь, чуть пританцовывая, на
поребрике и тротуаре,

1998

* * *

Иначе вздыхаю с тобой на руке,
когда вдруг почти разгляжу вдалеке
лицо дорогое
да море другое
под взлетной дугою.

1998

- репатрианту (иврит)

С ВОСТОКА НА ЗАПАД

1.

Звезд и огней ненаглядное братство.
Взлет между них – своего рода мистика.
Ввысь уходя, только здесь отрываться
от середины трилистника.

Так обозначил когда-то картограф
пересечение Евразии с Африкой,
замысловатую зелень потрогав
и распрямив ее графикою.

В диске земном, в полушарье восточном,
вниз отдаваясь от авиалинии,
зыблется вместе с пространством проточным
суша, привязанной лилии.

2.

Воля со скатертью-несамобранкой.
Лежбища стран, чьи загоны не заперты.
Загиралтарская ночь эмигранткой
в край полушария западный

катит все дальше тележку заката
перед собой, ибо странствия многие
в силу того, что за датой дата
движутся по хронологии.

И самолет ей вдогонку по нити
метит пунктиром земные реалии,
следуя так же, как текст на иврите, –
справа налево. И далее.

1998

НА ОТЪЕЗД ИЗ ХАРТФОРДА

Вместо Новой Голландии – Новая Англия.
Арки огненных веток над миссис. От ангела
скоро перепадут ей крыла самолетные.
И воротится осень на круги высотные.
Белки бегают. Клены пылают и плаваются.
Фотосъемка фиксирует отсветы Павловска.
В парках мира союз сентябрей,

ныне тройственный.

Некий мистер, сих мест уроженец потомственный,

"Добрый день", – говорит; не идя на попятную,
одобряет вдобавок погоду приятную.
Разговор с незнакомцем – затея неясная,
но не чопорна миссис: "Погода прекрасная".

Ведь само по себе ни причина, ни следствие,
никому не навязывается приветствие.

1998

ЭЛЬ ГАУЧО

Заглянем в ресторанчик
близ улицы Гилель.
Застрянем, как на ранчо,
за тридевять земель.

Не точит повар лясы,
но ловкость – налицо:
он в печь кидает мясо,
как на коня лассо.

От углей на решетку
не зря исходит пыл.
Коня-то что! Красотку
такой бы приручил.

Не наше, впрочем, дело.
В свой месяц молодой
мы заняты всецело
ковбойскою едой.

Люби нас, жизнь. Плачевно,
что ты, вильнув хвостом,
любой заход в харчевню
считала мотовством.

Но вдруг звоночек летний,
медовое кино.
И шекель не последний
бренчит себе чудно.

Кто брал нас на поруки?
С какого моря штиль
чуть-чуть качнул две рюмки
и в них вино "Галиль"?

1998

ПАМЯТИ СНА

Не усмотри подгонку под ответ.
Не заподозри факты в подтасовке.
Сон из пролога тридевятых лет
тождествен с явью без уловки.

Тогда и там он чудом продышал
лазейку. Знать, на тот раз бесполезный,
на сквозняке вселенском оплошал,
дал маху занавес железный.

Мне снился светлый камень без теней.
Обтесанный, подогнанный на стыках,
он покрывал площадку и на ней
вбирал, как в чашу, воду в бликах.

Вздохнуло отраженье. По щеке
свет заскользил. Бог весть, какою ранью,
почти не видя сходства в двойнике,
не удивясь неузнаванью,

я глянула самой себе вослед,
на широте от Охты до Коломны
не ведая, что выдают на свет
библейских мест каменоломни.

1999

СОН С ПТИЦАМИ

Питерским поэтам-сверстникам

В небе сновидения, ближнем от земли,
волей сна и случая
птицы перелетные звались «ширали»,
переняв созвучие.

Без прощанья вычтена из числа людей,
вне часов и графиков
ранним днем летела я в стае ширалей,
как среди журавликов.

Так мне с ходу выпало, распластавшись в рост,
увидать не издали
взмахи переменные, перья, чуть внахлест,
белые и сизые.

Безотчетно чуяла птичья голова
направление: с севера,
прибавляя свежести, дул, как в рукава,
ветр в подкрылья серые.

А внизу тем временем объявился рай:
лиственно-еловое,
травяное празднество шло из края в край
в марево лиловое.

Не была судьба моя соотнесена
с местом и с границами.
Жизнь земная виделась чем-то вроде сна,
а жилось меж птицами.

И читала в воздухе вечная душа,
былью управляема,
часть пути на Балтику, в небе мельтеша
от Ерушалаима.

Был ей лучше лучшего угол в сквозняке
клина ширалиного
до того, как зарево в западном зрачке
вспыхнуло малиново.

1999

КОРНИ

С посвистом дует на мыс в городке
шкиперский ветер. Апрель благосклоннее
к тем, кто южнее. Вот невдалеке
замок. До прежней колонии

или истории чьей-то страны
дел ему менее, чем до геральдики
неким гостям, обжитой старины
жаждущим; в чинном парадике

будет немного участников. Гид –
честный любитель: он образом двойственным
то королевским гвардейцем глядит,
то мажордомом потомственным.

Видывал он, как выхватывал блиц
праздничность, происхождением данную.
Здесь королева бывала, и принц
с будущей леди Дианою.

Так что наверх, на орбиту персон
по сквознячку, что спознался с короною,
мимо ружейных богатств, – гарнизон
можно сплотить обороною, –

но застревает на лестнице. Там
вровень с идущим и по хронологии
предки старинного рода холстам
вверены; лица их строгие

живы для времени не своего, –
то-то не вешишь ни грамма ты, –
и от прищельца не ждут ничего,
кроме верительной грамоты.

Леди и джентльменам с давних высот
некто захожий докучливей выскочки.
А между тем роду их лет шестьсот,
а твоему – за три тысячи.

Ни ясновидящий не разберет,
ни обладатель ума деловитого,
от пастухов Галилеи твой род
или из дома Давидова.

Если бы воображение могло
высветлить вглубь эту даль несусветную,
много бы лестниц нездешних ушло
на галерею портретную.

В рамках мелькнули бы страны, места,
гон без пощады, обочина пыльная.
Прошлого рода молчит неспроста –
ноша была б непосильная.

Только и зная, что издавека
тянется, теплится ниточка кровная,
что на ветру бережит облака
роща твоя родословная.

Жар до полудня. И за полдень жар.
Немилосердна природа – и ласкова.
...Честь окажи, иудейский загар,
зеркалу замка шотландского.

Эли Люксембург
ВОРОТЯ С КАМИТКОЙ

Супруги Маркус – Шоша и Йони домой возвратились поздно, ближе к полуночи. Хотелось бы еще задержаться, подольше, уж очень славной была компашка – коллеги Шошины по оркестру. Да только сын один оставался, один в их новом огромном доме. Весь вечер душа была не на месте.

Проворно скинув плащ, Шоша вздела его на вешалку. Включая на ходу плафон, торшер, светильники, помчалась наверх, желая убедиться, что сын в постели давно. А если еще не спит – присесть у его подушки, поворковать с ребенком. Как вечер у него прошел? Не очень ли поздно их отпустили со школьной экскурсии?

Стуча и хлопая дверьми, перебегая из спальни в спальню, заглядывая в детскую, по кабинетам, Шоша снова возникла на верхней площадке, бледная и взволнованная.

– Ленья, здесь Данички нет! – крикнула вниз. – Глянь на кухне, может, на кушетке уснул?

Дома супруги Маркус говорили по-русски, называя друг друга прошлыми именами.

Она увидела мужа, облитого ярким, слепящим светом, у телефона, на самом краю дивана. Обмякший, разбросанный, он странно лежал – с откинутой назад головой. Даже с площадки, издалека Шоша увидела меловую серость его лица и испугалась.

– Тебе дурно, Ленья? Что с тобой, дорогой?

Он слабо пошевелился, с трудом оторвал голову от черной кожи дивана. Пустыми, бессмысленными глазами нашел ее наверху. Она держалась руками за лакированные перила.

– Роза, у нас несчастье, сойди, послушай...

А трубка телефонная у него в руке тем временем вещала:

"Чтобы прослушать все сообщения, наберите свой код и "решетку". Чтобы прослушать только последнее сообщение, наберите код и "звездочку". Чтобы стереть все сообщения, наберите..."

Шоша мигом сбежала вниз. Схватив трубку, уселась на диванный валик и принялась нажимать кнопки.

В душе у Йони стояла сейчас бездонная пустота, голое, сумеречное небо. И в этом небе носился один-единственный вопль: "За что, Г-споди?"

Шоша сидела к нему спиной. Он явственно ощущал, как спина ее каменеет, наливаясь ледяным холодом. Видел, как выслушав сообщение, медленно опустила трубку и спустя минуту хлопнула себя по коленям:

– Н-н-да!

"А может, она... – подумал Йони. – Может, и за ней какая вина?"

Так встречала удары судьбы эта сильная, мудрая женщина, без

криков и без истерик, будто вечно жила ожиданием самого худшего, и Йони давно это знал.

"Н-н-да!" – сказала она, лучшая ученица двадцать второй самаркандской школы на выпускном торжественном вечере, лишенная золотой медали. Ни золотой, ни серебряной ей не досталось. Ей, Розе Бершадской, которой десять лет ниже пятерки учителя не ставили.

"Н-н-да!" – сказала она в кабинете Саидова, начальника городского паспортного стола, когда ей отказали в прописке. В ее же собственном доме, где родилась, выросла. По классу скрипки консерваторию кончила. И на год уехала преподавать. У черта на куличках, где-то в Нуреке, в горах... И вот вернулась в родной свой дом, в Самарканд. А тот ее выгнал – из кабинета вон. Город велел покинуть в сорок восемь часов.

"Н-н-да!" – сказала она, запрокинув голову в осеннее ненастное небо, когда опускали в могилу ее отца, реб Хаима-Йоселе, цадика и кабалиста, и десять евреев из синагоги "бухарим" забормотали "Эль-мале-рахамим"... Его столкнули с подножки на полном ходу трамвая, на спуске с Тезикова базара. Ветхий еврейский старик для них хуже падали – антисемиты пьяные, молоденькая шпана. За что? А просто так: за пейсы, за бороду, за ермолку. А может – и КГБ, вполне может быть...

"Н-н-да!" – говорила она, каждый раз получая в ОВИРе отказ. Шесть лет подряд, она и Йони: "Ваш выезд в государство Израиль считаем нецелесообразным..." Оба давно со своих работ уволенные, затравленные и голодные. Под пристальной слежкой, как под прицелом. Так и не ведая до самой последней минуты – куда им ляжет дорога: на Ближний или на Дальний Восток?

"Н-н-да!" – сказала она – уже в Израиле, в Иерусалиме, в самый разгар Войны Судного дня, когда пришли к ней девчушка и паренек, оба в солдатской форме, и сообщили, что рядовой Йони Маркус ранен в лицо и в ногу на плато Голан, под Кунейтрой. Нужна ли ей помощь какая? Медицинская, психиатрическая... На старой еще квартире, на Горке Лавровой, где Даник у них родился.

"Н-н-да!" – сказала она, стоя на Масличной горе, обратив лицо к холмам Иудейской пустыни, чтобы слез ее никто не увидел, когда опускали в могилу Акиву Маркуса, Йониного отца. Он умер от ран, старых военных ран. Он ею гордился, он почитал невестку свою за древний раввинский род – корни ее души. И Шоша всегда это знала. Ему нравился ее спокойный и строгий нрав, ее железная выдержка, холодная рассудительность. Не сыну, а ей однажды признался – где бы хотел лежать. И вот – она его волю исполнила, задействовав все свои связи и имя рода Бершадских. И лег он на Масличной горе, ногами к Храму. Чтобы воскреснуть и встать вместе с праведниками, пророками, мудрецами. Когда придет Мессия...

Шоша поднялась.

– Сейчас поедем. Я только выкурю сигарету. Все трясется внутри!

Оглушенный собственным безответным воплем в сумеречном

пространстве, Йони молчал, даже не шевельнулся. Покуда не получит ответ, — он это отчетливо сознавал, — он так и будет пребывать в полной прострации, как зомби, с начисто отключенным сознанием. Без признаков собственной воли. И пусть им Шоша командует, пусть поступает, как ей угодно. Он ничего разумного ей не сможет сказать.

Они закурили.

Двумя руками Шоша сняла с тумбы тяжелый телефонный справочник.

— А может, радио сначала послушать? Может, в городе что-то случилось, автобус взорвался? Боже мой, ведь я же мать, с ребенком несчастье, а у меня за весь вечер не вздрогнуло ничего, просидела, как телка. Ну а ты, Леня, как твоя интуиция? Ведь ты же тоньше устроен, ты эти вещи чувствуешь лучше меня.

Нет, и ему интуиция отказала. Ни сердце, ни душу не проколола тревога: нормально пил, нормально закусывал. Даже парочку анекдотов стравил, про них же, про музыкантов. Легкая грусть лежала, правда, на сердце, неведомая печаль. Нынешней ночью он увидел во сне отца, и странным был этот сон. Весь вечер думал о нем, постичь пытался.

Сидит он будто у них во дворе, на зеленой лужайке — напротив ворот, — и ждет кого-то. Теплый, солнечный день, стрекочут кругом брызгалки. Кого он ждет — непонятно... И вдруг раскрывается настежь калитка, и входит отец: весь черный какой-то, худой, до крайности изможденный. В такое рванье облачен, будто собаки терзали. Он страшно отцу обрадовался, кинулся обнимать. И странная вещь его удивила. Вид синагоги в проеме калитки. Она напротив, через дорогу, — все верно! Однако ниже значительно. Ее никогда в проеме не видно, этого просто не может быть.

"Откуда ты, папа? — содрогаясь от жалости, спрашивал Йони. — Почему ты такой худой и черный, такой измученный?"

"Сынок, не спрашивай, я тяжело для тебя трудился! — отвечал отец, утопая в его объятиях. — Ты руку прости на самое здесь дорогое, вот и тебя наказать решили... самым тебе дорогим..."

— Алло, алло, приемный покой, больница? С вами говорит Шошана Маркус, мама Даниэля Маркуса, вы нам оставили сообщение. Мы только сейчас домой вошли, — говорила Шоша по телефону, вежливо и спокойно, без дрожи в голосе. И Йони ей удивился: до чего же она владеет собой!

— Будьте добры, могу ли я получить дополнительную информацию? Вы сказали, что это была авария, дорожная авария. Что именно произошло? В каком состоянии наш сын? Где, когда, в каком месте? Скажите откровенно. Вы можете все мне сказать. Алло, алло, приемный покой?

Исчезли вдруг небеса и гулкое эхо его вопроса. Пропали, будто рубильником отрубило. Он разом все понял. И почему приходил отец, и почему синагогу ему показали. Все вдруг связалось, стало пронзительно ясным. И обожгло душу горячим стыдом.

— Ну и стервова же там сидит! Браха ее зовут. Спасибо, что имя еще назвала... — решительно встав и загасив сигарету, негодовала

Шоша. – Скажите пожалуйста, она слишком занята! У нее, видите ли, нету времени даже дышать. Не может дать никакой информации! И умирайте себе со страху, если хотите. Все, Леня, едем.

Простой сапожник Акива Маркус был человеком далеко не простым. Он часто из Азии выезжал. На Украину, в Прибалтику, Белоруссию. К древним могилам и склепам, подолгу общаясь с душами великих праведников, и возвращался домой весь обновленный, излучая дивный свет и покой. Он верил в ангелов, он явно знался с ними, они ему помогали. Он знал устройство семи небес, законы высших сфер. Охотно мог рассказать, куда является человек по смерти своей. И как из памяти нашей там извлекают давно на земле забытое. Он любил повторять, что праведник – это тот, кто во всем оправдывает Всевышнего, ибо все происходит к лучшему, для исправления. И люди ему дивились: откуда в нем вера такая? "Это не вера моя, это я точно знаю! – отвечал им Акива. – В Б-га верит любая кухарка, а знают его немногие".

– Вставай, дорогой, возьми себя в руки, – говорила Шоша. – И нервы побереги, нам предстоит встреча с самым ужасным, быть может. Поэтому... Езжай осторожно, умоляю. А может, лучше, чтоб я повела?

"Представь себе, – говорил отец, – человек приходит туда. Ранно или поздно, мы все придем, еще никто из жизни не выбирался живым. И надо поэтому знать, что тебя ждет. В мире, где нет допросов и пыток, не делают очных ставок. Где нет судей и нет палачей, нельзя солгать, отвертеться... Ибо все устроено удивительно просто. Тебя приведут в огромный зал, наподобие кинотеатра, усадят в кресло. Ты оглядишься кругом и обнаружишь массу знакомых – полный зал людей, с которыми прожил жизнь. Все, с кем когда-то общался. О ком подумал только – хорошо или плохо, все они будут там... Погаснет свет, и станет крутиться фильм... Быть может, ты испугаешься, закричишь, чтобы фильм немедленно прекратили. А может, будешь глядеть с удовольствием, со спокойной душой. Либо просто молчать, наливаясь жгучим огнем стыда. Ибо фильм этот будет весь о тебе. Из твоей же собственной головы, из твоей памяти – вся твоя сущность и истина. И отказаться от этого ты не сможешь".

Они вышли во двор. Белесые клочья тумана ползли над улицей, цепляясь за верхушки столбов. Светили в обрыв прожекторы. Здесь начиналось вادي Кельт – в конце их улицы, застроенной виллами. С пальмами во дворах, с кипарисами и плакучими ивами. Левее, чуть ниже – синагога, новенькая синагога у них в поселке. Белокаменная, со стрельчатыми окнами. Во дворе были разбросаны кубы с кирпичом, обертнутые в полиэтилен. Тесаный камень в кучках, горки строительного хлама. Увидев это, Йони вздрогнул, затрепетал, чуть было не вскрикнул.

Шоша спустилась к воротам – открыть их. А он застыл под черепичным навесом возле машины, слушая голос здравого смысла: будь его воля, будь он сейчас один... Э, нет, никуда бы он не поехал! Если сын еще жив, если Данику можно еще помочь, то только здесь, только сейчас. Упал бы на пол, на землю, и стал бы полз-

ти. По грязи, по слякоти, как жалкий червь – на брюхе. И стал бы биться там головой. Кричать так, чтобы люди сбежались. Вся улица, весь их поселок. Пусть знают и слышат, пусть судят его и казнят. Ведь так еще говорил отец: каяться надо здесь, на этом, а не на том свете.

Но прежде, чем поползти и биться там о порог, надо все отволочь назад: эти балки фигурные, деревянные, эту красную черепицу, кирпичи брусчатки, ведущей от гаража к дороге. А что еще он украл под покровом многих ночей? Чудовище! Как взбрело ему это в голову – воровать?... До чего он дошел! Все, все отволочь обратно: черепицу – этот навес разобрать, расколупать с дорожки проклятые кирпичи. Киркой и топором – немедленно!

Да, ну а Шоша? Бедная Шоша ведь знать ничего не знает. Подумает, крыша у мужа поехала. В обморок упадет. Нельзя ей сейчас открыться.

Он влез в машину, тихонько скатил ее на дорогу. С места они рванули вверх. Мотор еще не успел остыть. Йони включил отопление, им сразу стало тепло. Шоша закурила. Йони не имел привычки курить в машине. Зная об этом, она садилась всегда сзади и курила в окно.

– Надо проверить в доме все мезузы. Ты слышишь, Леня, – завтра же! Знаешь, кстати, как это делают? Снимают одну за другой и тут же проверяют. На этот счет существуют самые строжайшие инструкции: не оголяют дом даже ни на одну ночь...

Дорога была непростой. На горном крутом подъеме он вписывал тяжелую "Вольво" в бесчисленные повороты. В крошечной мгле фары выхватывали то обрыв, то нависшие козырьком скалы. За окнами моросила какая-то дрянь, Йони включил дворники. Он слушал Шошу, но мыслями был не с ней, все больше и больше погружаясь в далекие воспоминания.

Сейчас он увидел себя в Голодной степи, много лет назад, молодым инженером-картографом, в городе Янги-Ере, где писал свою кандидатскую. В глазах стояло палящее солнце, сухие выжженные дали, поросшие колючкой, полынью, перекасти-полем. Будущий кандидат наук Леонид Маркус состоял в ту пору начальником маленькой экспедиции. Жили они в вагончике на краю города. Весь день таскались с ним по степи два паренька – с теодоли-том, рейками, мерной лентой. Была полуторка в экспедиции, старенькая, расхлябанная. Служил шофер у него по кличке Шершавый, бывший блатарь, с желтыми фиксами и повадками камерного пахана. И не было в мире более несчастного и невезучего человека, чем их Шершавый. Вечно он что-то терял: деньги, документы, бумажник. Из кузова крали у него инвентарь, инструменты. Ни дня не проходило без поломок, проколов. Вдобавок ко всему, он запросто мог заблудиться в ровной, как стол, Голодной степи и вместо Янги-Ера укатить в дрожащее, как мираж, марево – в Джизак, Баяут, Мирзачуль. Вконец потеряв терпение, Йони решил шофера уволить. При свете тусклой лампочки, в душном, раскаленном за день вагончике – остались наедине.

– Нельзя мне парить шершавого, – пытался ему тот внушить. –

Все из-за блядок моих. Поверишь, начальник, по телефону лишь позвоню, и тут же триппер хватаю. Ну просто чертовщина какая-то! А в Самарканде у меня жена, детишки... Ну, ты же умный мужик, начальник!

...Шоша опустила ему на плечо руку.

– Леня, потише езжай, не нервничай. Видишь – мигалка желтая? Тут пару недель назад была авария, именно в этот час.

Он сбавил скорость. Они осторожно проехали пустой перекресток. Снова рванули наверх. Шоша закурила еще сигарету.

– Где-то здесь, на Бар-Илане, живет удивительный рав, лучший в Иерусалиме специалист по мезузам. Не просто находит на пергаменте порчу, а говорит тебе – из-за какого греха случилась в доме болезнь. Из-за чего несчастье свалилось. Дурной ли глаз, проклятие, невезуха. Или же вообще – стоит твой дом на мертвых костях. Всякую нечисть видит. Он много, правда, берет, но я бы его пригласила.

"Этих следопытов только мне не хватало..." – подумал Йони. А память снова вернула его в далекое прошлое.

Когда в отказе они голодали, он шел в гастроном и запросто крал колбасу. Во всем их районе один был такой гастроном, на улице Высоковольной, самообслуживания. Полно народу, давка и толчея, бесконечные очереди. Воровать было совсем не трудно. Особенно в холодные дни. Под куртку или пальто – парочку палок себе за ремень. А в кассе платил за мелочь: банку томатов, брусок маргарина.

Роза осведомлялась: откуда вдруг колбаса, богатство такое? А он ей врал: работу, дескать, нашел. Вагоны грузил. Или копал, говорил, на стройке. Ему и в самом деле время от времени счастье подваливало. Дворником в ЖЭКе, истопником, подсобным рабочим... Покуда не настигал звонок из КГБ. И вызывал директор: бери-ка ты расчет, милый, да сваливай. Показывал пальцем в потолок и разводил руками.

Там, на чужой земле, всякое воровство сходило с рук, словно с гуся вода.... Более того, ему неслыханно повезло однажды. Будто ангел-хранитель из капкана вытащил.

Взяли его в картонажный цех, в комбинат бытового обслуживания. Там клеили папки из искусственной кожи, лепили коробки, переплетчики, реставраторы. Целыми днями он ходил по городу и набирал заказы: в архивах, библиотеках. По фабрикам и заводам. В любое время минувшая своя проходная свободно и беспрепятственно.

Каждое утро, прежде чем отправиться в город, он заходил на склад, и дядя Панарин давал ему штуку дерматина. Йони укладывал его в чемоданчик, где лежали его образцы, и выносил. Выручку делили честно и пополам.

"Товар ищи, товар ищи!" – выплясывал старикан Панарин, отбивая чечетку, гибкий и жилистый, вечно веселый. Спросил его Йони с хмурой озабоченностью, чего, мол, ты, дед, танцуешь да припеваешь, ловко так выкаблучиваешь?

– А ты я вижу, сынок, неграмотный вовсе, наказов вождей не

знаешь! Какое первое слово нам Ленин сказал? "Товарищи", верно? Кто не понял его – в обиде живет, а я вот – правильно понял, в точности следуя указаниям партии и правительства.

По сей день Йони прекрасно помнит ту голубую штуку, крест-накрест перевязанную шпагатом. Помнит, как вышел из склада, попрощался с учетчицей Тосей, начальником цеха Забутой. Тот поднял на Йони красивую голову и странно так посмотрел. При галстукке был Забута, в нейлоновой рубашке, прекрасно сшитом костюме. Нормально вроде бы посмотрел, кивнул величественно, как император. А в душу что-то попало – опасное, нехорошее.

Йони вышел во двор, свернул по тропинке за угол. Зашел в уборную, заперся. Сидя на корточках над вырытой ямой, открыл чемоданчик и сбросил вниз дерматин.

В проходной его задержали – впервые за несколько месяцев: "Шмонаем всех, строжайшая установка!" – снять велели пальто, задрать рубашку и свитер. Открыть чемоданчик, естественно. И отпустили с миром. В полном недоумении.

В тот день он никуда не пошел, не поехал. Купил водки бутылку и вернулся домой. Лежал на диване и пил: "Жить в отказе и играть с огнем? Сунуть голову в такую ловушку! Дубина! Годков бы на десять сейчас загремел!"

А вечером, чуть успокоившись, протрезвев, поехал к отцу. "Папа, как поступить еврею, если он чудом избежал опасности?"

Удивился отец: "Такие пустяки разве Роза не знает? Дают в синагоге цдаку, в субботу вызывают еврея к Торе. Он произносит "биркат-а-гомель".

Кандидат наук Йони Маркус чуть ли не сразу по приезде в Израиль устроился в Земельный фонд простым геодезистом – первое, что подвернулось. Изголодавшись по любимой работе, он всей душой мечтал о привычной жизни на свежем воздухе, вдали от людской суеты. На природе, между землей и небом. Где мысли твои текут, могучие мысли. Душа распахнута, и слышатся голоса – то ли ангелов, то ли демонов, то ли давно усопших предков. И кажется, что мир сотворен для тебя одного – пользуйся им и наслаждайся.

Еще он с радостью обнаружил, что ничего не забылось за годы безделья в отказе. Знания и сноровка остались. Легко и быстро освоил Йони инструмент, о котором в России даже не знали. Лазерный теодолит исключал необходимость в ленте – допотопной мерной ленте, и это приводило его в восхищение. И компьютер освоил.

Вскоре он понял, что ему неслыханно повезло. Геодезистов грамотных, с опытом, в Израиле было мало. Их почитали, как род священников. Какой, согласитесь, еврей станет дни свои проводить в горах и пустынях, как бедуин, как отшельник, рискуя сорваться в пропасть, подвергнуться нападению дикого зверя, быть застреленным или похищенным террористами?

Чуть ли не каждый день ему звонили архитекторы и подрядчики, кибуцники и мошавники; предлагали бешеные деньги за срочные проекты, обещая заплатить наличными. К величайшему своему

удивлению, он обнаружил, что быстро и незаметно разбогател.

Каждое утро за ним приезжал Муса, его шофер и помощник. Они пили кофе, брали рейку, ящик с теодолитом, треногу, еду в термосе. Йони вдевал в ремень кобуру с пистолетом, они садились в джип и уносились из города.

Однажды Йони привез домой ягненка. Шоша удивилась, обрадовалась.

"Какой же ты умница, дорогой! Купил для сына, чтобы игрался?" – И он, забыв про все ее принципы, убеждения, честно признался: "Нашел! У Анатота, в скалах возле источника. Он, бедный, от стада, видать, отбился".

Глаза у жены мгновенно сузились, из карих сделались желтыми, непреклонными. Она опустила ягненка на пол и отряхнула брезгливо фартук. "Это же чья-то собственность! Ты разве не понимаешь? Завтра же отвези назад. Тебе перед Мусой не стыдно?"

Назавтра, однако, он отвез барашка на бойню. Его там разделали, освежевали. Вернули мокрую скользкую шкурку, отдельно – косточки, мясо, и вечером Йони сготовил плов. Назвал гостей, как в старые, добрые времена. Роскошный плов из молодой баранины, отборных приправ. С зеленым чаем и ледяной водкой.

"Ты же состоятельный человек: не понимаю тебя, убейте – не понимаю! – пилила его за столом Шоша, не притрагиваясь к еде, становясь все более злой и хмурой. – Карты он сочиняет! Карты в Израиле пишет! А свою собственную так и не научился читать".

С этого дня в душе у нее зародилось сомнение: все, что муж привозил домой, встречала молча, со скрытым презрением, чуя за этим что-то явно неладное.

Однажды привез он старинный меч эпохи Второго храма, меч Маккавеев, весь облепленный комками земли. Долго его в керосине отмачивал, смывая ржавчину. Выточил в какой-то столярке новую рукоятку и взял его повесить в салоне.

"Только не в моем доме! – категорически возразила она. – Отнеси в кладовку, там пусть валяется".

В другой раз он приволок невероятно тяжелое колесо от древнеримской квадриги. Оно было в грязи, сильно попорчено тленом и временем. Зато со всею клепкой и ковкой, со всеми спицами на массивной оси. Суетясь и размахивая руками, радуясь, как ребенок, он говорил, что нашел его под Масадой, в каменистых солончаках. Заверял, что это украсит их дом, если поставить в углу, возле лестницы.

"Леня, такие колеса боком вылазят, – сурово и тихо шепнула она, чтобы Муса не слышал. – За это тюрьма полагается!" И бросить велела к забору, а в дом – ни за что не вносить.

Он перестал таскать всякую всячину с раскопок, когда терпение у Шоши окончательно лопнуло и впервые в жизни она взорвалась истерикой.

В тот раз они вязали ремнями обломок мраморной капители, намереваясь втащить во двор. А Шоша подошла к джипу. Тяжело дыша и потея, он говорил ей, что эту прелесть они нашли в Бейт-Лехеме, неподалеку от церкви Рождества Христова. "Сюда ты бу-

дешь горшочки с цветами ставить... Она, я думаю, с византийских времен!"

И тут она взорвалась: "Земля Израиля принадлежит государству, болван ты этакий! И все, что в этой земле лежит... Да что за дьявол вселился в тебя?!"

Муса умчался на джипе вместе с мраморной капителью. Прочь от ее гнева. Домой – в Христианский квартал у Яффских ворот. Безропотный, исполнительный, Муса его был вынослив, как мул, и, несмотря на крест на груди, был все-таки человеком восточным. Свои отношения с миром он строил просто: человек человеку либо раб, либо господин. "Все остальное – фантазии, адони Юнус!"

Так же почтительно – "адони Юнус" или "наби Юнус" – обращались к Йони бедуинские шейхи, арабские пастухи и охотники, приветствуя его в палатках и прохладных пещерах, где укрывались они от полуденного зноя. Так величали его в глиняных хижинах потомки суданских негров, чьи деды и прадеды еще при турках строили железную дорогу Каир–Бейрут.

Шоша склонилась к его затылку. Он ощутил запах травы, исходивший от мокрых ее волос. Запах скошенной травы вперемешку с табачным ее дыханием.

– Нет ничего страшнее неизвестности, – сказала она. – Помню, как точно так же летела я в Цфат. Когда пришли и сказали, что ты лежишь в госпитале. Два часа дороги – как пытка, сплошной кошмар. О чем я только не передумала... О чем не молилась... Пускай он останется без ноги, инвалидом. С изувеченным лицом. Какой угодно, Г-споди, но только живой, только живой... А сзади лежал твой отец и всю дорогу меня успокаивал: "Розочка, это Израиль. Здесь лучшие в мире врачи, первоклассная медицина. Все обойдется, ты не волнуйся, будет все хорошо! Сама не разбейся, езжай потише!"

Убедившись, что Шоша решительно настроена против любой старины в доме – глиняных плошек из Кумрана, щитов и дротиков, против облитых глазурью древних сосудов, даже против старинных монет и женских украшений, – он стал привозить яблоки, груши, бананы – битком набитые рюкзаки. Словом, ни дня без добычи.

Шоша молча ссыпала это в плетеные короба и корзины, молча же уносила в подвал, никогда не подавая к столу, не позволяя и Данику притрагиваться, и очень быстро все начинало гнить, издавая отвратительный запах, и Йони сам выбрасывал все на помойку.

"Леня, дорогой, ты болен, у тебя kleптомания! – сказала ему Шоша однажды. – Сходи к врачу, тебе надо лечиться!"

Нет, kleптоманом он не был – определенно! Пребывая подолгу один, томясь от мучивших мыслей, все чаще и чаще он заводил бесконечные разговоры с различными голосами в себе. "Земля Израиля, земля Израиля... Святая земля! Она, говорят, очищает, делает чудеса. Вот и попробуем испытать – украду и посмотрим, что из этого выйдет. Накажут меня или нет. Тогда и поверю!"

Шоша дышала ему в затылок.

– Чего ты молчишь? Ты тоже об этом молишься: лишь бы Даник

был жив! Я правильно говорю? Всю дорогу об этом только и молишься.

Делая однажды закупки на рынке, он умудрился забыть между прилавками большую кошелку с продуктами, а вспомнил об этом уже дома, в полном недоумении от внезапного провала памяти. Потом вдруг исчезла зарплата в банке. То ли бухгалтер что-то напутал, то ли ошибка в компьютере. Все чаще и чаще стали надувать заказчики: чеки их возвращались, он ссорился с ними, грозился заявить в полицию. Теряться вдруг стали папки с бумагами, документы. Ну, в точности, как у Шершавого в Янги-Ере. Как будто нечисть какая...

Однажды им изрезали скаты на джипе, все четыре одновременно. Острым, как бритва, японским ножом. Случилось это неподалеку от поселка Текоа. Там, где в древности выбивали лучшее масло для храмовых светильников.

Тащиться пришлось в поселок, высоко в гору. Звонить в гараж, чтобы прислали тягач. А ехать ночью в места далекие и опасные никто не хотел ни за какие шиши. Пытаясь дознаться, кто им эту пакость устроил, он проклинал всех на свете. Трясаясь от холода и от злости, материл "Эль-Фатах" и "Хизбаллу". А Муса его, этот покорный мул, ослица его валаамская, впервые разверз уста и неожиданно произнес: "Адони Юнус живет небрежно, неправильно. Он с Б-гом обращается, как со случайностью. Вот и Господь с ним обращается точно так же".

В другой раз он подвернул стопу, растянул сухожилия. Он вообще прихрамывал – после войны, после ранения. Случилось это в глубоком ущелье, и Муса тащил его на спине по выбитым в камнях ступеням. И тогда, корчась от боли, он окончательно понял, почему Муса давно уже смотрит на своего босса с нескрываемой жалостью, как смотря на человека глубоко несчастного и невезучего. «Я был на утренней службе и попросил причаститься, а также исповедаться абуне Джабра. Я все ему рассказал. Что ты, адони, мне и себе добавляешь лишние дни и часы. Что весь ты во власти зла и много в тебе дурных привычек... «Это плохо, Муса, очень плохо, – сказал мне абун Джабра. – Оставь своего господина!»

Он приспустил немного окно, в машину ворвался сырой, холодный ветер.

– С Даником все в порядке! – сказал он Шоше твердо и убежденно.

Сердце ее на мгновение споткнулось, остановилось, затем забухало, застучало. Робкая, пугливая радость охватила ее. Она отпрянула, выпрямилась.

– Это что – телепатия? Ты это серьезно? Что же ты столько молчал?

– Сегодня ночью я видел во сне отца. Это у нас родовая примета: если приходит отец, если в доме беда...

Она снова к нему привалилась.

– Я плохо слышу! Ветер свистит, прикрой окно...

– Сiju я будто у нас во дворе на скамеечке. Теплый летний день. И вдруг распаивается калитка и входит отец, весь черный,

худой, чапан на нем ватный, страшно изодранный. Я кинулся его обнимать. "Папа, – говорю, – почему ты такой измученный?" А он говорит: "Не спрашивай даже, я так тяжело трудился..." И достает из-за пазухи папку пухлую, толстую, и мне отдает: "На, – говорит, – это теперь твое!"

– Не понимаю: при чем же здесь Даник?

– Ты помнишь наш дом на Пушкинской? Наш дом и двор с виноградником, ворота наши большие? В ночь накануне суда к отцу явился мой дед – в точно таком же сне, такой же черный и исхудавший, и отдал папку: "Вот, сынок, дело твое, бумаги эти теперь твои!" ...Я был на могиле деда в Бендерах. Еврейское кладбище посреди города, побитые все надгробия, заросшие мхами и папоротниками. Стою и читаю: "Здесь лежит реб Йонатан Маркус, радовавший Б-га и согревавший сердца людей". Стою и содрогаюсь, как над собственной могилой. А отец мне, помню, рассказывал, что точно такой же сон приснился и деду моему в Первую мировую. Его, как ты понимаешь, звали Акивой, прадеда моего. Он с фронта удрал, скрывался в подвале. "Сынок, завтра придут из крепости, будут тебя искать!" ...И тоже бумаги отдал в какой-то папке. Я же сказал, если в доме опасность смертельная... Когда я приезжал в Бендеры, видел эту крепость, по сей день стоит. На берегу Днестра, напротив Тирасполя. А дома дедова уже не застал, снесли его начисто.

Больше всего на свете Йони Маркус ненавидел больницы. Попадая в больничные стены, он тут же начинал нервничать, становился взвинчен и зол, начинал метаться: куда бы поскорей удрать.

Шоша встала в очередь к дежурной, Йони же отправился в соседний зал, где слонялось много людей и было сильно накурено. Вдоль стен стояли здесь автоматы с горячим кофе и холодными напитками. Он подошел к окну, протиснувшись между колясками, в которых мамы качали младенцев. На улице моросило, каменная брусчатка сверкала лужами, в больших кадлушках мотались под порывами ветра тонкие масляные деревца. Глядя на непогоду, Йони вспомнил отца, его черноту, худобу. Представил его сейчас, под этим дождем и ветром. И снова его обожгло стыдом. Как будто он выгнал его туда – в холод и непогоду.

Он оглянулся и увидел, что Шоша стоит уже у окошка дежурной. Он встал рядом с женой.

Браха оказалась стриженной наголо девочкой с двумя огромными серьгами в виде полумесяцев – хорошенькая головка на тонкой высокой шее. Стервой она вовсе не казалась. Курила и пила кофе, сидя напротив компьютера, и выглядела как взмыленная кобылка, и Йони ей хамство ее простил.

– Наша фамилия Маркус, – сказала Шоша. – Родители Даниэля Маркуса.

– Приехали на своей машине? – спросила неожиданно Браха.

Шоша слегка замешкалась.

– Да, у нас есть машина...

– Вот и отлично! – Браха тут же принялась хлопотать с компью-

тером всеми десятью пальцами. – Хирург вам даст заключение, и можете брать своего сына домой.

Вспыхнув и осветившись радостью, Шоша и Йони переглянулись. Их головы, склоненные над окошком, находились рядом, и они в губы поцеловались.

– Температура тела, анализы крови, мочи, снимки внутренних органов, костные снимки в целом – в полном порядке, все о'кей! – считывала с компьютера в бешеном темпе Браха. – На правую ногу наложена гипсовая повязка – слабый намет на трещину. Ждем снимки черепной коробки, последние снимки... Когда будете уходить, я дам вам выписку для больничной кассы. Все готовлю в трех экземплярах: один для полиции, один – на случай судебного иска в страховую компанию. Он, кстати, там – мужчина, который сына вашего сбил. Сидит у его кровати. Идите, вам скажут, где их найти.

И Браха нажала на что-то возле себя. Двери в приемный покой, издав тихое гудение, разъехались перед ними.

– Вы на меня не сердитесь! – крикнула Браха вдогонку. – Сами видите, что здесь сегодня творится.

В приемном покое было стерильно чисто, бесшумно сновали врачи и медсестры. По обе стороны шли залы с высокими койками на колесиках. Часть коек была за занавесками. Там слышались стоны, шепоты, всхлипывания – происходили неведомые таинства, и Йони сразу сделалось дурно.

Они дождались, когда медсестра за стоечкой закончит разговор телефонный, назвались, и та отвела их в соседний зал, Указав на дальнюю койку в углу.

Они увидели сына, он спал с сердитым выражением на лице, и Шошино сердце облилось нежностью и умилением. У изголовья сидел мужчина, скрестив руки и ноги, и тоже, видимо, дремал. Сидел он к ним спиной, и Йони на куртке его увидел ирис Гильбоа.

"Так вот кого выбрали Данику в палачи! Почти коллегу".

Неслышно ступая, крадучись, приблизились к кровати и встали над сыном. Разглядев его, успокоились окончательно: не было ран, синяков, ни даже царапин. Не проступали в лице следы внутренних болей. Шоша поцеловала его в лоб.

Он сразу открыл глаза и с тем же нахмуренным выражением сердито сказал:

– Вот, наконец, явились! Где вас так долго носит? Меня тут давно выписывать собираются. Черт побери, который час, мама?

Глядя восхищенно на свое сокровище, они молча ему улыбались, покуда он тянулся наверх, выволакивая из простыни загибанную ногу. И сел, опираясь спиной на подушку.

– Вас тут и Семка ждет. Вот, познакомьтесь с Семкой, это он меня подцепил на джипе своем, он притащил в больницу.

Они подняли глаза на тут же вскочившего Семку – высокого, с соломенной шевелюрой и рыжими усами. На груди его куртки был тот же ирис Гильбоа – знак Государственной службы охраны природы.

– Да, Семка, ничего не поделаешь, – смущенно говорил он, по-

жимая Шошину руку через кровать. – Кличка с детства моя. На самом деле – Шломо Каши, – он пожал руку и Йони. Мы с Дани успели уже подружиться, он все мне про вас рассказал. Я, говоря по правде, представлял вас совершенно иначе.

"Чувствует себя виноватым, всем своим видом дает нам это понять, – отметил Йони. – Нормальный вполне мужик, нормальный еврей. А выбор пал на него. Кibuцник, конечно же..."

Шоша коснулась гипса.

– Болит, бедненький?

– Да ничего у меня не болит! – Взвизгнул он гневно и замотал головой. – Везите меня домой, врачи тут одни маньяки, дебилы... И Семка тоже хорош! Кричал я ему, что в полном порядке, так нет же – сюда приволок. Здоровую ногу в дерьмо вот это одели.

Все трое стояли над ним и улыбались, обмениваясь взглядами: "Милый, глупый мальчишка, строит из себя героя..."

Семка обратился к Йони:

– Давайте найдем хирурга, я всех тут знаю уже. Последствий аварий почти никаких. Я, собственно, давно мог уехать, я ждал вас совсем по другой причине. Я что-то важное должен вам рассказать. Вы просто обязаны это услышать.

"Он видел отца! – тут же мелькнуло у Йони: – Весь возбужден, пережил какое-то потрясение. Хочет со мной поделиться. Да я и сам умираю от нетерпения..."

Они двинулись по коридору, уступая дорогу больным на костылях и в колясках, огибая кровати, которые везли санитары.

– А он ведь и дома ведет себя точно так же по-хамски, – жаловался Йони на сына. – И дело тут вовсе не в возрасте – "типеш эсре"¹. Он попросту нас стыдится. Акцента нашего, нашей галутности. Дошло до того, что перестал приводить в дом друзей, одноклассников. Вы же сами обратили внимание: дает всем понять, что достоин лучших родителей.

Семка молча кивал, тряся роскошной своей шевелюрой, кусал пшеничные усы и выглядел так, будто это его во всем обвиняли.

– Друг мой, у вас замечательный сын. Не забывайте – он сабра! Моя ведь фамилия Соломин, я вырос в точно такой же семье – сабра в первом поколении. Живу в кibuце, на севере, а родители мои из России. Уроженцы этой страны, мы ищем свое лицо, образ другого еврея. Да, нас очень многое раздражает...

"Каши², Соломин, "соломенный Семка!" – сообразил Йони. – Он другом меня назвал. А если бы не отец, если бы история с Даником кончилась иначе? Он стал бы мне заклятым врагом. Убил бы его – это уж точно!"

Они нашли хирурга возле дверей рентгенкабинета. Баскет-больного роста, в сиреновом халате и в кедах, молоденький парень. Массивные очки ему придавали солидность. Похоже, для этого он их и носил – простые стекляшки. Теснился народ – солдат с окровавленными бинтами на голове, толстая пожилая арабка,

¹ "типеш эсре" – подростковый возраст (*иврит*).

² "Каши" – соломенный (*иврит*).

несколько рабочих, похоже, тайландцев, едва достававших врачу до груди. Он извлекал из огромных конвертов снимки, свободно переходя с иврита на английский или арабский.

– Ваши, к сожалению, еще не готовы! – ответил он Семке. – Может – через десять минут, а может – и через час... Все бы хотели домой, никто не хочет оставаться в больнице. Но только мы решаем, когда и кого отпустить. И не ходите больше за мной. Будут готовы, мы сами вас найдем.

И снова ударил этот тягостный воздух смерти. Эти флюиды, осевшие в безднах памяти. Йони отступил к стене, чувствуя приближение обморока. С пронзительной ясностью увидел палату цфатской больницы, услышал стоны и крики, а в нос ударили запахи гноя и крови... И этот бой под Кунейтрой, танковый бой в Долине Плача.

– Давайте выйдем на свежий воздух! А можно и в кафе напротив. Кафе тут открыто круглые сутки.

Странную вещь он обнаружил в себе – после ранения, когда их подбили. Да, он не был никогда солдатом – тысячу лет. Он умирал и жил, умирал и жил – душа его не помнила ратного опыта. Да, он доблестно воевал, в бою под Кунейтрой никто не обнаружил в нем труса, никто не может его упрекнуть. Он тайну свою унесет в могилу. Внезапную меру ужаса за тысячи лет, за множество жизней.

На улице хлестал дождь: красную брусчатку и кадки с деревьями заливали потоки воды. Проезд во двор перекрывал шлагбаум с фанерной будкой. В резких порывах ветра держался настойчивый запах яблок, и Йони сразу почувствовал облегчение. "Глубокая осень, все-таки. Недаром говорили древние: воздух Иерусалима качают ангелы прямо из рая".

Подняли воротники и поскакали по лужам – в открытую дверь напротив: аптечный склад, кабинеты техслужб, всегда открытая синагога. На входе их обыскали – нет ли оружия. И пропустили в кафе, где было тихо и пусто, ни единой души за столиками.

Витрины буфета были завалены детскими мягкими игрушками, букетами свежих цветов. Они заказали кофе покрепче, пачку лимонных вафель, пару баночек колы и сели возле окна. Чтобы сразу увидеть Шошу и Даника, если те вдруг появятся.

– Нет, я представлял вас совершенно иначе. И вас, и вашу жену. Мне Даник сказал, что вы каждое утро в синагоге, не нарушаете никогда субботы, в доме вашем кашрут. Я ожидал вас увидеть с бородой, с пейсами, – говорил Семка, подавшись вперед, глядя восхищенно на Йони, как на высшее существо. Стиснутые кулаки лежали на краешке белого стола, и Йони обратил внимание, как они вздрагивают и шевелятся, будто пульсируют.

– Я глупости выдумал, я понимаю, ведь вы же геодезист. Эти вещи несовместимы: жизнь на природе и эти одежды хасидские. А между прочим, слово "природа" и слово "Б-г" имеют в гематрии одно и то же значение. Синонимы, стало быть. За этим стоит великая мудрость. Святой язык – им мир создавался. Вот вы, например, наблюдая природу и все явления нашего мира, видите Б-га, я

же, и мне подобные атеисты... Ну, не совсем атеисты, я бы сказал, прагматики, испытатели – называем Б-га природой, что, в сущности, одно и то же.

Йони загадал: "Если он видел отца, если случилось с ним нечто незаурядное, сверхъестественное, тогда и я откроюсь ему, чтобы не глядел на меня с таким обожанием, как на инопланетянина. В убийцы выбрали его по моей вине! Я должен все ему рассказать. Просить прощения, валяться у него в ногах...".

– Много лет назад, – я буду с вами до конца откровенен, – я жил в Непале, в буддийском монастыре. Нас было трое друзей, мы отслужили в армии и отправились на восток за экзотикой. Эти монахи, ламы и гуру, они поражают тебя на каждом шагу, берут твою душу в плен. Ведь только чуда жаждет душа. Чудо, оно всего убедительней... Вернувшись, я основал в кибуце общину, первую, может быть, буддийскую общину в Израиле: восточная философия, нирвана, йога.

Буфетчик принялся протирать их столик, и без того безупречно чистый. Легонький, смуглый старик, он сонно двигался, молча остановил тряпочку у Семкиных кулаков, и тот их снял. Поставил им кофе, сгрузил с подноса все остальное. Взял деньги и молча ушел. Они сделали по глотку, глазами показав друг другу, что кофе высшего класса.

Йони перевел взгляд на дальнюю стену, обложенную красным мрамором, сплошь в именах. Сотни столбов имен. Евреи, пожертвовавшие деньги на больницу в Святом городе.

"Милосердные, сыны милосердных! – вздохнул он. – К такому кофе сигарета просто необходима".

– Йони, перед вами сидит человек, коснувшийся сегодня Б-га, еврейского Б-га! Случилось то, о чем я мечтал. И в детстве, и в армии. Я понимаю – то, что я расскажу, будет против меня. Вы можете заявить в полицию, подать на меня в суд... Я торопился домой, летел на бешеной скорости. Я, кстати, инспектор, говорил ли я вам? Старший инспектор Северного округа. А все совещания – в Иерусалиме, в главной конторе. Темно, дорога скользкая... А я за восемьдесят-девяносто. Даже на повороте, где Даник выскочил... И чудо случилось, явился мне лик Б-жий. А ведь именно это аргумент каждого скептика, испытателя: если мне Б-га покажут, если сам я его потрогаю да пощупаю...

Йони ушам не верил своим: до чего у них все сходилось! Именно этого он и хотел, именно этого добивался.

– Я никогда не сбивал людей, вы слышите, Йони? Случалось, налетал на коз, овец. Ночью, завидев фары, сами знаете, животные вдруг кидаются... Однажды столкнулся с мулом. Рослый, могучий мул. В нем весу было с полтонны. На скорости гораздо меньшей, чем сегодня с Даником. И он издох. Буквально на глазах. Весь передок у джипа всмятку: и крылья, и бампер... Йони, я говорю вам, вы – святой, другого нет объяснения! Или жена ваша – праведница. Или приставлен к Данику ангел. А может – заслуги предков? Вам приходилось слышать такое: заслуги предков, заслуги отцов?

Еще бы! Только сейчас он представил себе, какую работу отец проделал, какие силы задействовал.

Глядя на хлещущий дождь в окне, вскипавшие лужи, Йони увидел заплыванный пол в Кировском райсуде, рядом с Алайским базаром, – весь в окурках, зашарканный пол. Отца за перилами между милиционерами, судью на высоком стуле под гербом Узбекской Советской Социалистической Республики, а по бокам от судьи – народных заседателей, мужчину и женщину, наряженных, как на свадьбу.

Тяжкие статьи обвинения зачитывал прокурор. Их было много. За самую легкую – длительный полагался срок. Эксплуатация чужого труда, спекуляция, изготовление фальшивых печатей, хранение и скупка сырья "в особо крупных размерах"... Он плохо запомнил бесконечную череду свидетелей: перепуганных базарных торговков, сапожников-инвалидов, узбеков из дальних и ближних аулов – кожевенников. Все они от отца кормились. Зато запомнил внезапную вспышку необъяснимого чуда – приговор суда: денежный штраф и год условно. И кинулись все обниматься.

Вечером, в тот же день, за грандиозным пиршеством Йони пытал отца:

"Да неужели ты в это веришь? Какую папку он мог принести, какие бумаги?"

"Сынок, он горы перепахал. Когда-нибудь ты это узнаешь".

– Йони, вам это больно будет услышать, я понимаю. Я тоже отец: это ваш сын, ваша плоть и кость. Но вы обязаны это знать, для этого, собственно, я вас и ждал. Случилась масса странных вещей, необъяснимых! Удар был убийный. Я думал, джип развалится. Увидел ребенка над головой, он кувыркался в воздухе. Первая мысль: бежать! Шоссе пустынно, кругом ни души, никто не видел аварии – темень крошечная. Как будто бес за рулем, а не Семка Каши, инспектор. И тут я впервые взмолился. Не Будде, не Магомету и не Иисусу Христу, а Б-гу нашему – Аврааму, Ицхаку, Яакова... Вы помните, Йони, это место в Торе, в самом конце "Хайей Сара"? Как после смерти праматери нашей Авраам еще раз женился – на Ктуре, и та родила ему сыновей. И отдал Авраам все, что у него, – Ицхаку, а сынам Ктуры дал подарки и отослал на восток, в землю Кедем". И знаете, Йони, как толковали это в Непале? Истинные знания Авраам передал Ицхаку, ими владеют евреи. Сыновьям же Ктуры достались "подарки". И с ними ушли они на восток – в Тибет, Индию, на Памир, где основали свои религии. То, что зовется сегодня восточной мудростью.

"Не так все просто в этой истории, – думал Йони, радуясь тому, как легко читается "карта". – Ко мне его пристегнули – заблудшую Семкину душу. Теперь понятно, почему он здесь... Да, но где же отец, когда отец появится? Если Семка не видел отца..."

– Короче, взял я к обочине, затормозил. Вылез из джипа и пошел назад. Искать на асфальте кровавый мешок костей. Все, что могло от ребенка остаться. И тут он кричит мне с газона, из-за кустов: "Маньяк!.. Дебил!.." – отборные эти словечки, что модны у них сейчас.

Йони увидел в окно жену, Даника на костылях. Ветер рвал их одежду, они заслонялись от хлестких плетей дождя, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Йони вскочил, замахал им руками. Семка тоже поднялся.

– Вы уезжаете, Йони? Взгляните хотя бы на джип – ни вмятины, ни царапины. Вы просто обязаны это увидеть. Как будто руки кто подложил.

– Я знаю, я верю! – отвечал Йони, торопливо убирая на поднос чашечки, блюдо с обломками вафель, комочки салфеток. – Это действительно руки! А вы ведь не курите, Семка, я верно вычислил?

– Что же вы раньше не спросили? Конечно, курю! – остановился и вытащил сигареты. – Я ведь еще не пришел в себя. Весь в тумане...

– Спасибо, не стоит, в машине я не курю.

Была глубокая ночь. Скорее – ближе к рассвету. Семейство Маркус возвращалось домой. Даник спал на заднем сиденье, укрытый пледом. Йони вел машину осторожно – чтоб не потревожить сына. Шоша сладко зевала, с наслаждением ощущая, как тело ее наливается тяжестью и покоем.

– Завтра же, слышишь, Леня, пойдешь в синагогу и дашь цдаку. И с мезузами смотри не забудь, это страшно важно.

Цдаку – это само собой, тут отстегнет он по-царски, сколько Шоша позволит. А как поступить с наворованным? Нет, не станет он крушить беседку, не будет громить черепицу и кирпичи. В Торе ясно сказано: возратить владельцу ущерб втрое, всемеро. Он все, что украл, на десять помножит и в банк занесет. На счет синагоги. И на счет каблана. Не сразу, а помаленьку, частями. Чтоб Шоша не догадалась. Не стоит ее огорчать. И с делом этим будет покончено.

Дождь иссякал. Йони выключил дворники. Вспомнились слова пророка: "И были в те дни чудеса в Ерушалаиме: ночью лили дожди, а солнце светило днем..."

Зинаида Палванова
А НА ХОЛМАХ НАШ ВЕЧЕР ПОЛЫХАЕТ

* * *

Дине Ратнер

Все улицы здесь хороши –
И теснотой, и простором.
Сплошное благо для души –
Зеленый незнакомый город.

И сладко памятен он мне –
Как новый мальчик в пятом классе,
Как новая страна во сне,
Как жизнь еще одна в запасе.

ПОКАЗАНИЯ

*Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?*

Б. Пастернак

Я – ола хадаша ми-Рўсия.*
Я – свидетель сентябрьских взрывов
в городе Иерусалиме
в конце второго тысячелетия.

Я – ола хадаша ми Русия.
Я – свидетель сентябрьских восходов
в городе Иерусалиме
в конце второго тысячелетия.

Я – свидетель восходов и взрывов,
и вот мои правдивые показания:

Во-первых, я хочу жить.
Во-вторых, я хочу жить
в городе Иерусалиме.

Несмотря на взрывы,
смотря на восходы.

* новая репатриантка из России (*иврит*)

СТОП-КАДР

А ну-ка сделаю стоп-кадр стихом,
Как будто фотоаппаратом.
Что поймано? За ручку с женихом
Иду вполне отчетливо куда-то.

Почти седобородый человек.
Неужто в Иерусалиме?
Неужто я? Веселый здешний снег
Меж пальмами седыми.

СНЕЖНЫЙ РАССВЕТ

Давно растаял снег в Ерусалиме.
Я не забуду снежный тот рассвет.
Деревья за ночь сделались седыми,
Но это не пугало душу, нет.

Наоборот, восторгом наполняло –
Родное прошлое вернули мне!
Узнала вмиг. Но прошлого мне мало,
Грядущее увидела в окне.

Дождь за окном чертеж бессмертья чертит.
Когда еще на снежный мир взгляну?
Мне мало ведать истину о смерти –
Споткнуться надобно о белизну...

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Однажды, возвращаясь домой
на закате, после дождя,
от смертельно больного приятеля,
я узнала, как сильно
я привязана к жизни.

Мокрые вспышки асфальта,
важный уличный кот,
вечнозеленая ветка
меж прутьев ограды,
уютные облака –
все, на что бы ни падал мой взгляд,
было отчаянно близким,
бесконечно прекрасным,
невыносимо любимым.

Так вот моя главная страсть
на этом свете –
сам этот свет.

Года три, как приятеля нет.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Молодые эфиопы в центре города.
За спиной у женщины – младенец
в полости тряпичной.
Головенка темная и мшистая.
Нестерпимо хочется потрогать.

Мы стоим на перекрестке людном.
Долго почему-то нет зеленого.
Не выдерживаю, прикасаюсь,
глажу по головке малыша.

Под рукою жестко и упруго.
Этот изумительный покров
к жизни человеческой готов!

Женщина сверкнула мне: "Тодá!"
И мужчина просиял: "Шалом!"
И сказала я по-здешнему: "Коль тув!"**

Есть у нас два знатных перекрестка.
Перекресток первый называется:
Пушкин Александр Сергеевич.
И второй, пожалуйста, – иврит.
И куда-то мы уже идем,
и зеленый свет вовсю горит...

А у сына моего подружка нынче –
узенькая девочка из Эфиопии...

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАТАСТРОФЫ

Вой сирены вылепил мгновение.
Площадь людная застыла вдруг.
Мнет сердца и правые, и левые
Ровный-ровный безысходный звук.

Птицы так и носятся над площадью.
Скорбное сияние весны.
Запросто на красный свет идущие
Два араба сделались видны.

* Спасибо (иврит)

** Всего доброго (иврит)

ЖИЗНЬ-ЖЕСТЯНКА

Большой старик в лохмотьях
с маленькой лохматой собакой
стоит неприкаянно,
ни к стене не приткнувшись,
ни к дереву.
Сел хотя бы!

Он стоит посреди тротуара,
приткнувшись к воздуху,
и трясет жестянкой,
превращая в джаз эту жизнь.
И собачка стоит рядом с ним,
и все обтекают их.
Нищета, как «тойота»,
имеет модную современную
обтекаемую форму.

Сначала мое сочувствие
вызывает маленькая собака,
потом – большой старик,
но доставать кошелек уже поздно –
меня уносит, уносит
под звуки жестянки.

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

Рисунки в кабине общественного туалета.
Что-то вроде чертежей совокupленья.
Сделано отчетливо и подробно,
так, что не остается никакого сомненья.

Что сказать? Попадись на глаза мне
лет в пять или шесть картинки эти,
я бы, поглазев, поняла, постигла,
откуда берутся дети.

Вот бы так ненавязчиво, между делом,
мечтая о чистой правде, как о чуде,
получить наглядный ответ на вопрос открытый:
куда уходят люди?

ЗАМОЧЕК

Лошадь у Шхемских ворот.
Звонят колокольцы на шее.
Прямо из послевоенной русской деревни
приближается лошадь ко мне
с неясной поклажей в телеге.

Я разглядываю пегую
из окна автобуса.

Крыльев нет.
И вдруг я вижу:
замочек, золотой замочек
сверкает на упряжи.
Точно такой же,
тяжеленький и блестящий,
был моим сокровищем в детстве.

Эта лошадь,
ясное дело, неспроста
на глаза мне попалась нынче.
Она заперта
в своей работе.
Вот закрою себя
на детский замочек
и стану, даст Бог, работать,
как лошадь,
как нормальная лошадь,
ни о чем другом
не заботясь на свете.

А зачешутся вдруг лопатки –
главное, не пугаться,
такое случается:
у лошадей от работы
иногда вырастают крылья.

СТИХИ И СЧЕТА

Хотела достать из сумки стихи,
А достала счета.
То ли сумка не та,
То ли жизнь совершенно не та.

А в окне нашем новом – холмы
И асфальта извилистый блеск.
То ли в небо несемся мы,
То ли – без тормозов – с небес.

ИНОСТРАНКИ

Лиле Гольцер

На автобусной остановке,
недалеко от Красной площади,
хохочут, как сумасшедшие,
две подружки,
две бывших студентки,
две бывших москвички,
две иностранки –
американка с израильтянкой.

Они прощаются нынче,
они разъезжаются нынче
в разные стороны,
в разные страны.
У них сегодня
болят животы от смеха.

Завидев автобус,
бросаются дамы
друг другу в объятья.
Автобус не тот.
Хохочут.
И вновь показался автобус,
и снова прощаются тетки,
и опять не тот.
Невыносимо смешно.

А еще смешней
оттого, что ветер дует
и, того гляди, дождь пойдет,
и старость близится,
и совершенно не ясно,
встретятся ли еще хоть разок
две несерьезные иностранки эти
на безумно смешном и коротком
белом свете.

И приходит нужный автобус,
и наскоро давит женский смех,
и увозит одну из них,
а на другую
падает первый снег.

ИЗЛЕТ

*В российском городе N не зря
любят селиться птицы...*
Наум Басовский

Неужели птицы выбирают,
Где им жить, где выводить птенцов?
Где стареть? Неужто выбирают,
Где им умирать в конце концов?

Боже, поселиться бы в Рамоте
Птицей! И смотреть до самой тьмы
В долгом темно-розовом полете
На холмы, на здешние холмы.

И сцепить в полете негасимом
Все, что было. И в последний миг,
Прощавшись с Иерусалимом,
Прощаться с жизнью напрямик.

ТРИ ЗЕРКАЛА

Увидела себя –
ужасно молодую,
звоняще одинокую
в чужом фотоальбоме старом,
как будто заглянула
в сквозную амальгаму времени.

А рядом – обыкновенное зеркало,
и в нем – теперешнее, здешнее
мое лицо с твоим –
яснобородым, близким.
За нами виден город на холмах.

Где ж третье зеркало,
наполненное тем, что будет?
Завешено оно красноречиво
вселенской тканью времени.

Бог с ним!
Откроют – поглядим.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ ХОЛМЫ

Художнику Вениамину Клецелю

Мы выбрали в Израиле холмы
И вечный город, к небу самый близкий.
Холмами здешними уйдем отсюда мы.
Гиват-Шауль составит наши списки.

Мы сделали сегодня столько дел!
Асфальт блестящий быстро подсыхает.
Внизу, в долине, воздух потемнел,
А на холмах наш вечер полыхает.

По-своему окрашен каждый склон.
Закат разметил все пространство здешнее.
Чем выше холм, тем озаренней он,
Тем солнце с ним прощается неспешнее...

МЕРТВОЕ МОРЕ ОСЕНЬЮ

Много воды утекло со дней творенья.
Вся она утекла сюда
и заживо плещется тут –
соленая и тяжелая,
мерцающая вода.

Вести себя с нею нужно,
как со старшей сестрой.
Доверчивые и осторожные
с нею могут играть
и наслаждаться плавной игрой.

Вблизи это Мертвое море –
близко на диво.
Здесь, в настоящем времени,
оно прохладно, прозрачно,
медлительно и правдиво.

А посмотришь в морскую даль –
там, не запугивая, не слепя,
туманно-сизое будущее
ширится перед глазами
и не впускает в себя.

Но если где-нибудь –
на воде или в небесах –
есть проблеск, просвет,
то смотришь туда и, мало что понимая,
испытываешь отчетливую отраду –
страха нет.

МЕРТВОЕ МОРЕ

Низкие горы и сдавленный ветер.
Нам, вековечным евреям, дано
Лунное царство тысячелетий,
Белого света соленое дно.

Ну и название – Мертвое море!
Потусторонняя бирюза
Или земное хранилище горя,
Вечная соль, вековая слеза?

А по соседству, за теми холмами,
Высится, мир озаряя до дна,
Духа вершина, Ерушалаим.
Нам она, грешным евреям, дана.

Что ж мы за люди такие – евреи?
Книгу из книг на себе принесли.
Злобу из злоб на себя навлекли.
Невыразимо в краю нашем веет
Сдавленной бездной Святой земли.

Николай Лукьянов

БЛАЖЕННЫЕ

Из первой части романа

Роман «Блаженные» представляет собой многоплановое произведение, отличающееся стиливым разнообразием. Для этой публикации мы выбрали главы, объединенные интонационно и сюжетно.

Редколлегия

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Всё началось на вокзале областного белорусского города НН. Автор и под пыткой не сознается, какой именно город он имел в виду, не потому, что боится мести аборигенов, отнюдь. Просто подобное могло случиться на всей территории, именуемой ранее Советский Союз.

Итак, светлое предкапиталистическое настоящее. Разгар нежаркого лета. Вокзал областного города НН. Шум-гам.

Шурик Скуратовский, очень хороший молодой человек, отягощённый спортивной сумкой и баяном в футляре, сошёл со столичного поезда, сердечно попрощался с проводницей и спросил, где можно позвонить. Проводница ответила, что понятия не имеет, и пожелала всего хорошего. А чего ещё можно было пожелать такому славному хлопцу?

К телефону Шурика всё же проводили, и это был – не поверите – хмурый ОМОновец, ведь свежим Шуриком было оч-чень приятно любоваться, а то, что он был с народным баяном, приводило в восторг всех обитателей вокзала города НН, уверяю вас. Его искренняя наивная улыбка очаровала даже мизантропку в окошке телеграфа и та, не веря сама себе, наменяла Шурику жетонов для междугороднего общения.

– Мапочка, – сказал Шурик в телефонной будке, беспрерывно расставаясь с жетонным дефицитом, – я благополучно приехал. Чувствую себя отлично, позавтракал в поезде, твои пирожки, как всегда, изумительны, направляюсь в театр. Что?.. Конечно, умылся и почистил зубы. Целую, мамочка, как устроюсь – позвоню.

Шурик ступил на привокзальную площадь областного города НН и почему-то очень обрадовался, хотя открывшийся вид мог обрадовать только очень недалёкого, злого и мстительного гражданина. Но Шурик приехал завоевывать этот город и, как порядочный человек, заранее любил его так, как город впоследствии должен был полюбить самого Шурика.

– Скажите, сударь, – обратился он вежливо к первому встречному туземцу, – как мне пройти к драматическому театру?

Первый встречный оказался, конечно, лицом кавказской национальности, а ихнего брата сложно бывает поставить вопросом в тупик.

– Какой театр, сударь?! Делом займись!

– Извините, – понял свою оплошность Шурик и собрался её исправить путём ретирады.

– Дорогой, мы ещё не поговорили. Что нужно: машину, презерватив, дублёрку, девочку?

– Спасибо, не надо, – смутился Шурик.

– Тогда продай баян!

– Это совершенно исключено, – серьёзно сказал Шурик и пошагал своей дорогой.

Опросил ещё нескольких подвернувшихся граждан. В ответ получил пожимания плечами, улыбки и гримасы, а также неприкрытый саботаж, выразившийся в откровенном нежелании указать исковое направление.

Можно отметить в нынешних наших нравах любопытный перекос. Раньше как? Раньше каждый ребёнок с радостью указывал и показывал туристу и командировочному, где у них в городе процветают обком, стадион, театр, центральный гастроном, баня, вокзал и ближайшее заведение по распитию грешных напитков. Теперь же из вышеперечисленного вы со слов доброжелателей найдёте дорогу лишь на вокзал и на стадион, остальное аборигены утаят от вас, спрячут. Знаете – почему? Люди наши искренне разлюбили приезжих. Но раз припёрся, то ладно уж, ступай торговать на стадион, а как только продашь, что привёз, так сразу дуй на вокзал и чтобы духу твоего здесь больше не было! А пока торгуешь, то будь любезен – не жри нашу еду, не пей нашу водку, не пачкай нашу баню. Театр здесь, конечно, ни при чём, но его не покажут по другой причине – забыли что это и где.

И вообще, спрашивать о чём-либо надо не у праздных прохожих, а у озабоченных городских старушек. Их спрашивать можно обо всём, потому что кто-кто, а они-то всё помнят. Но и их можно беспокоить вопросами не всегда. Их можно спрашивать, когда они томятся в бесконечных очередях, им даже веселее будет там томиться, когда их спрашивают. Можно спрашивать, когда они торгуют на углу семейным антиквариатом, прихваченной с заднего хода сметаной в пакетах, а также водярой на любителя. Их нельзя спрашивать, когда они уже что-то купили, выстояв очередь, или что-то продали, чтобы что-то купить. Тогда они даже не остановятся и не выслушают ваш вопрос. Не до вас им, граждане, их ждут срочнейшие дела: покормить ожидающее потомство, младое и не очень, добежать до следующей очереди или рвать когти на дачу полить засыхающие грядки. Не останавливайте бегущих старушек, господа! Они вам за это глазки вынут.

Так что пока Шурик методом косвенного опроса добирался до театра, он и город успел посмотреть, и себя немного показать. К

театру Шурик добрёл в разгар рабочего дня, когда вахтёр уже не спал, а наоборот, строго соблюдал служебный вход и выход.

При входе случилась заминка: кто-то что-то выносил и кто-то что-то вносил. "Что-то" было явно товарного вида, чего не скажешь о "кто-то". Нетерпение сердца подвигло Шурика не ждать конца вноса-выноса, а потеснить вынос собственным вносом.

– Куда прёшь, засранец? – ласково окликнул его страж служебного входа очага культуры.

– Собственно, я... – опешил Шурик.

– Не видишь, говнюк, люди бартером занимаются? Чего на них прёшь?

– Извините, я приехал...

– Ехай обратно, – отрезал вахтёр.

– Позвольте, мне к руководству!

– Делать больше не хрена руководству – с тобой лясы точить.

– Я молодой специалист, – оскорбился Шурик. – Вот направление от министерства культуры!

– Так бы и сказал. А то сразу: давайте, грит, жалобную книгу!

– Не буду я жаловаться, не буду. Мне бы к главному режиссёру...

– А это ещё зачем? – насутился вахтёр. – Вот люди! Всем непременно к главному надоть. А то, что репетиция у него – это насрать. Жди давай. Это театр всё-таки, а не конюшня.

Шурик прислонился к стене и стал напряжённо вслушиваться в гулкий шумок театра и внюхиваться в его специфический приятно-горький запах.

А мы проскочим мимо него и важного вахтёра, проскочим невидимые внутрь, у нас тоже нетерпение сердца, и любопытства, надо сказать, хоть отбавляй!

В зал, скорее в театральный зал, все главное в театре на сцене, всё остальное – блажь, суета и тягомотина, клянусь! Быстрее по узким коридорам мимо унылых в закулисы людишек, расцветающих лишь у рампы. Вот последний поворот через фойе – и зрительный зал...

А на сцене!.. Что, вы думаете, мы видим на сцене в эпоху зарождающихся рыночных отношений? Дискотеку? Автосалон? Выездную распродажу?

Представьте, ничего подобного! Мы видим то, о чем, признаться, подзабыли. Настоящую театральную репетицию – вот что мы видим! И что репетируют – о Боже! "Ромео и Джульетту"!

Все, натурально все, осатанели и свихнулись, а тут Шекспиром балуются! Р-романтики!

И режиссёр нормальный – свитер, очки, лысина, трубка "Данхилл". Ругается, переживает, постоянно с места вскакивает, на сцену лезет, непоседа. Хочет как лучше, надо же!

И две актрисы в полукостюмах (не полуголые, как мы давно привыкли, а в полусредневековых костюмах) что-то такое шекспировское на сцене мотают. Прислушиваемся – точно, Вильям Шекспир. "Ромео и Джульетта". Куда мы попали?

КОРМИЛИЦА (актриса бальзаковского возраста и телосложе-

ния, какой и представляется нам Кормилица – стопроцентное попадание в образ!).

О Боже правый!

Вот егоза! И этой невтерпёж –

Моим костям заслуженная грелка?

Вперёд летай с записками сама.

ДЖУЛЬЕТТА (очаровательная травести-инженю, какой и должна быть шекспировская героиня).

Вот мука-то! Что говорит Ромео?

КОРМИЛИЦА. Ты б нынче исповедаться могла?

ДЖУЛЬЕТТА. Могу.

КОРМИЛИЦА. Тогда беги скорей к Лоренцо в келью...

Там муж твой сделает тебя женой.

Ишь, кровь-то как, злодейка, заиграла!

Зарделась, только палец покажи!

Ну вот. Ты в храм, а у меня забота:

Верёвочная лестница нужна

Для твоего ночного шатуна.

Кто хочет, всяк меня, старуху, мучит.

Да ночью и тебя, смотри, навьючат.

И тут актриса Людмила Михайловна, до сих пор вполне достойно воплощавшая тяжкую кормилицыню долю, не удержалась и для усиления трагического градуса согрешила неприличным жестом.

Режиссёр горестно поморщился, собрался было возразить, но припомнив, видимо, зарождающиеся рыночные отношения, махнул безнадёжно рукой.

КОРМИЛИЦА. Пойду поесть. А ты не опоздай.

ДЖУЛЬЕТТА. Иду, иду, родимая! Прощай!

К огромнейшему нашему сожалению эту идиллию прервал директор театра, ворвавшись в зал. Ничего хорошего не бывает, когда в зал врываются директора. Они туда должны *проникать и просачиваться*, а не врываться. В творческий процесс, представляете?

И сразу к режиссёру, хам!

– Немедленно – остановите прогон, Вилен Викентьич. – Сейчас – спонсор наш придет проверять, куда его денюжки пошли. Надо, – говорит, – в грязь лицом не ударить, а наоборот, – говорит, – показать спектакль – всем спектаклям спектакль!

– Когда? – закатил глаза Режиссёр.

– Звонил, сказал, что выезжают-с.

– Провалимся! – заломил руки Режиссёр. – Декораций нет, костюмы не готовы, актёры – убийцы – текст не знают!

– Хладнокровней, Вилен Викентьич, – посоветовал Директор. – Спонсор наш – человек нрава простого, в Шекспире ни ухом, ни рылом, текст можно любой пороть, хоть из Софронова.

Режиссёр перекрестился и поплевал, как при имени нечистого.

– А декорации? Костюмы?

– Срочно разыщем что-нибудь примерно подходящее. Я уже распорядился. Но есть ещё одно... Вы уж, Вилен Викентьич, сразу ка-

кую-нибудь таблеточку примите. Мне не нужны производственные травмы.

– Не мучайте меня! – взмолился Режиссёр, по директорскому лику понимая, что сейчас услышит что-то окончательно страшное.

Директор посмотрел на часы, на обомлевшего Режиссёра и, наплевав на субординацию, произнёс в режиссёрский микрофон:

– Людмила Михайловна, подойдите, пожалуйста, к Вилену Викентьичу! Людмила Михайловна!

– Что вы задумали? – безвольно спросил Режиссёр.

Вышла на сцену явно напуганная вызовом к начальству Кормилица:

– Вы меня звали, Сергей Семёныч?

– Да-да! Подойдите к нам!

– Зачем она? Она-то зачем? – прошептал Режиссёр.

– Вилен Викентьич, будьте мужественны, – скороговоркой инструктировал Директор, пока актриса не торопясь спускалась со сцены и шла через зал. – Людмила Михайловна, оказывается, любимая... э... любимица нашего уважаемого Ставраки, и нам придётся...

– Какого такого Ставраки?

– Ставраки, – терпеливо разжевал Директор неразумному творцу, – это наш спонсор, который сейчас будет. Ставраки его фамилия. А Людмила Михайловна – его любовница. Став-ра-ки. Так вот, сегодня на прогоне, и это обязательное условие Ставраки, она будет играть Джульетту.

– Не-е-ет! – завопил Режиссёр, и его забила крупная дрожь. – Только не это!

– Так! – Директор сообразил, что пора брать власть. – Ребята, – обратился он к сидящим в зале актёрам, – проводите Вилена Викентьича в его кабинет. Видите – плохо человеку!

Актёры охотно подошли, но Режиссёр оказал им посильное сопротивление и в результате короткой потасовки остался в зале.

– Людмила Михайловна, – выговаривал Директор, не обращая внимания на возню за спиной, – что же вы скрывали от нас ваши со Ставраки интимные отношения? Если сейчас Вилена Викентьича кондратий зашибёт – отвечать будете!.. ("Предательница! Шлюха!" – ругнулся он вполголоса.) – Вы хоть роль-то выучили, Людмила Михайловна, не завалите нам представление? – в имя-отчество своей визави Директор вложил весь свой неприкосновенный ядовитый запас.

– А вот и выучила, Сергей Семёныч, – ответствовала мигом обнаглевшая актриса. – И не надо истерик, Сергей Семёныч! Если бы не я и не моя...

– Стоп! – Директор не позволял никаких неприличностей в зрительном зале. – Вилен Викентьич, как вы себя чувствуете? Всё значительно лучше, чем вы думаете – актриса роль знает, выучила, уже гора с плеч! Проговорит текстущку и ладушки. А вам сейчас главное, Вилен Викентьич, раз уж вы не пожелали самоустраниться, сидеть спокойно, не вмешиваться, надувать щёки под Станиславского и делать вид, что всё о'кей. Вы поняли меня, Вилен Викентьич? А то ведь ни Шекспира, ни Дунина с Марцинкевичем

вы больше не поставите здесь, дорогой Вилен Викентьевич, потому что театр наш – нищий, а мы с вами побирушки, дорогой. Не помирайте только. Ну сыграет она Джульетту, жалко вам, что ли, не убудет с вас!

На сцене собрались участники спектакля и технический персонал. Директор пошёл на сцену, то есть в народ.

– Уже знаете? Значит, так. Джульетта, быстро учи роль Кормилицы. Постановочной части в срочном порядке изобразить декорации! Возьмёте из "Разбойников", что ли. Костюмы из "Цыганки Азы" и тех же "Разбойников". Радист!

– Я! – высунулся со своей верхотуры мужик в наушниках.

– Музыка есть?

– Есть свежие пласты Таривердиева!

– Пойдёт!

– Когда давать?

– У тебя сердце есть?

– Есть!

– Вот когда оно прикажет, тогда и давай!

Режиссёр что-то протестующе пищал из зала.

– Иван Иванович! – позвал Директор.

К нему подкатился добродушнейший помреж Иван Иванович.

– Слушай, Ванька, – зашептал Директор, – отключи Режиссёра. Хоть напои, но чтоб не возникал. Ты его приятель, сделай милость.

– Он зашитый, – возразил помреж.

– Тогда снотворное, "Черёмуху", травку, ляльку, по шее – что угодно! Задание тебе, понял?

Помреж озабоченно скатился в зал.

– Так, – Директор осмотрел подчинённых, как войска перед атакой. – Помните, господа, от сегодняшнего прогона зависит всё наше будущее. Проникнитесь моментом!.. Артур Яныч, будьте так любезны, следуйте за мной. Остальным – одеваться! Гримироваться!

– Сергей Семёныч, – растерянно спросил Ромео, – у меня мизансцена: ношу Джульетту на руках. Сменилась актриса... мне нужна подготовка.

Директор иронически оглядел малахольного Ромео:

– Какая подготовка? – Её и Шварценеггер не поднимет. Боже, чем мне приходится заниматься! Смени мизансцену!

– Как сменить?

– Наоборот! Артур, за мной!

Тут Автор должен захлопнуть свой раззявленный рот, прийти в себя от причуд действительности, прокашляться и "дать ремарочку". Конечно, Автор знал, что театр сзаведение скандальное и непредсказуемое, Автор давно и подробно живёт на этом свете, в театр забегал неоднократно и не только с парадного входа... Но такое вообразить – нет-нет, такое и в бреду не привидится.

Итак, ремарка – да ну её! No comments, как говорится. Тем более, что Автора понесла нелёгкая вслед за Сергей Семёнычем и Артуром Янычем, чтобы всё подслушать и кое-что уразуметь.

Кстати, о последнем. Это и есть наш второй облюбленный ге-

рой. Почему нет? Хорош собой, высок, худ и бородат, возраст – сорок пять, четверть века на сцене с переменным успехом. Из тех, кого справедливо обзывают "Актёр Актёрыч". Интеллигентен, поэтому пьёт горькую иногда. Но достоинство – вот этого никогда не теряет. На сцене может всё. Даже то, что необязательно. Фамилия... э-э... нет, Автор ещё в детстве решил никогда не врать, поэтому назовёт его истинную фамилию – Катуля. Ничего смешного – обычная белорусско-польская фамилия. Произнесите несколько раз про себя: "Катуля, Катуля, Катуля, Катуля..." – и станет очень красиво, уверяю вас.

– Знаешь, почему я тебя позвал? – спросил Директор, спускаясь по лестнице.

– Конечно, патрон. Чтобы артист Катуля играл сегодня для обалденного спонсора и мецената в полную силу своего необъятного таланта.

– Шут ты, Артурушка, – осудил Директор.

– Профессия такая.

– Профессия, говоришь? Ты что вчера устроил? Почему партизан не расстрелял, поганец? Спектакль сорвал!

– Ну, патрон, это понимать надо! Ради таких вот озарений мы и служим! Дело было так: вдруг накатило, и я остро почувствовал, что все люди именно братья, а не кто-то там ещё. Нашло откровение, и я не смог совершить преступный акт.

– Обязан был! В следующей сцене, между прочим, их оплакивают друзья, матери и жёны. А чтобы не возвращать зрителям деньги за испорченное удовольствие, партизанам пришлось совершить массовое самоубийство. Хороши партизаны, нечего сказать!

– Патрон, я был в состоянии сильного душевного волнения!

– Вы, Артур Янович, были в состоянии сильного алкогольного опьянения, что партизаны подтвердили.

– Мерзавцы ваши партизаны!

– Попрошу не выражаться. Потом – борода! Где вы видели эсэсовца с бородой?

– Я их вообще не видел, а борода – это мой имидж, не сбрею ни за что! Тем более, сегодня я веронский князь, а все веронские князя поголовно были бородатыми.

– Это Шекспир сказал? – прищурился Директор.

– Так подсказало моё воображение, – надменно сказал актёр.

– Вот что, Артурка, как бы ты ни относился к театру и к себе, но сегодня, будь так любезен, отыграй как надо. С воображением или без, но текст весь скажи. Хотя бы ради меня.

– Какое – ради вас! Всё ради торговца! Вы для него театр подпалите!

– Подпалю! – заорал Директор. – Чтобы вас, оглоедов, накормить!

– Я актёр, я выше бренного, – ляпнул Катуля ради красного словца.

– Сорвёшь сегодняшний показ – уволью без выходного пособия! – серьёзно и зло пригрозил Директор. – А за вчерашний демарш – штраф. Оклад!

– Ах, так! – оскорбился Катуля. – Я объявляю голодовку!

– Я тебя предупредил. Остальное – не колышет.

Катуля развернулся на каблуках и с достоинством удалился.

Директор дошёл до служебного входа, огляделся и спросил вытнувшегося вахтёра:

– "Мерседесы", "Вольво" и шмыгающие "Фольксвагены" не подъезжали?

– Что-то не понял я, Сергей Семёныч, – растерялся вахтёр.

– А это кто? – воззрился Директор на тоскующего Шурика.

– Это вас ожидают, Сергей Семёныч. Говорят – молодой специалист.

Шурик востропел, шагнул к Директору:

– Здравствуйте! Я Скуратовский Александр, выпускник. По направлению.

– Помню. Звонили из министерства. Вот что, сейчас мне некогда, давай документы. Жилья нет?

– Откуда... я с поезда...

– У нас общежитие прямо в театре. Корнеич, вызвони коменданта, пусть студента поселит. После прогона зайдёте ко мне. Хорошо? Всё!.. Да, Корнеич, этого, – Директор показал на Шурика, – пускать!

Артур Янович Катуля действительно играл в бессмертной трагедии князя веронского по фамилии Эскал. Выходил в первом, третьем и пятом актах буквально на несколько слов, но в списочном шекспировском порядке почему-то стоял первым. Почему? А вы спросите у Вильяма, отчего он в действующих лицах и исполнителях первым обозначил эпизодического князька, а не вполне достойного Ромео, например, а Джульетту вообще загнал в конец списка? Спросите, спросите. Ответит он вам, как же!

И ещё вопрос: где должен быть благородный князь в перерыве между проносами? Лично мы полагаем, что в буфете. А он там и был, у нас не спрашивая, где ему быть.

Буфетчица Клава, лицо доверенное, доложила обстановку:

– В зрительском фойе столы накрывают. Закуска, водка – всё из ресторана. Банкет будет после репетиции.

– А тебе что-нибудь из спонсорских перепало? – осведомился князь.

Клава молча и таинственно показала на ящик "Распутина".

– Спаивают нашего брата за милую душу, – посетовал его сиятельство и попросил: – Накапай мне, Клава, сто пятьдесят из спонсорских.

– Артур Яныч, вам же играть...

– Ерунда, пара слов. "Нет повести печальнее на свете..." и всякая мура. Накапай, Клавенция.

Клава, помявшись, налила. Положила бутербродик с сыром. Артур Яныч водочку маханул, а бутербродик обратно отодвинул:

– Понимаешь, я объявил голодовку...

И тоска неземная в сиятельных очах.

А в это время Шуру привели под крышу на пятый этаж и всели-

ли болезного в комнату – кого б вы думали? – конечно, Артура Яныча Катули. Шурик остолбенел, разглядывая его многочисленные театральные фотографии на всех пяти стенках и даже на скошенном потолке. Комнатка оказалась ничего себе, метров десять с половиной, баян было куда притулить.

– Вот туточки жить будешь, – приговаривал комендант, человек незначительный и малоинтересный. – Раскладушку принесу, постель. Пьёшь?

– Нет, что вы!

– Научат. Сосед твой опять же...

– Да это ж... – Шурик задохнулся в восхищении, – известный артист! Я его целых два раза по телевизору видел! Это он в каком спектакле? – Шурик показал на фотографию, с которой Артур Яныч злобно целился из кривого пистолета.

– Не интересуюсь, – отмахнулся комендант. – Одно плохо – девок приводить не сможешь. Вахта у нас строгая.

– Да что вы, в театре! – ужаснулся Шурик. – Осквернить храм!

– Ну-ну, – усмехнулся комендант. – А мы тут как-то попростому. На углы не молимся.

Катуля в невыносимой тоске забрёл в костюмерную:

– Князю-то дайте что-нибудь нацепить, ёлки!

Три костюмерши во главе с заведующей столпились в углу, производя пассы, требующие серьёзного физического напряжения.

– Найди сам, Артур, – отмахнулась заведующая. – Заняты мы.

Обернувшись, она открыла князеву взору багровое от натуги лицо высокопоставленной отныне актрисы Людмилы Михайловны, которую три понятливые женщины затягивали в корсет, формируя талию.

– А! – понял Артур Яныч и посоветовал: – Не переусердствуйте, сударыни, а то, не дай Бог, наш любвеобильный меценат не признает предмет своей тайной страсти. И деньги взад потребует.

Людмила Михайловна, как ни была в натуре, но язык свой ему всё же показала.

– Понял, заткнулся. – Катуля прошёлся вдоль рядов с развешенными костюмами. – Людок, а чем торгует наш благодетель?

– Тебе скажи, Артурка, – прохрипела актриса, – так ты всё в анекдот превратишь.

– Секрет фирмы, понимаю.

– Да какой секрет! – не выдержала заведующая. – Свињями он торгует. Покупает, забивает и продаёт.

– Вот это да! – ахнул князь, уже присмотревший себе шмотку с жабо. – Со свинопасами, Людка, ты ещё не блудила!

– Всё в жизни надо попробовать, – миролюбиво отшутилась Людмила Михайловна.

– И Джульетту угробить тож.

– А вот этого не трогай! – внезапно выскочила актриса. – Ты-то наигрался, а я всю жизнь на выходах. Единственная главная роль – и та Баба-Яга! Что б ты понимал, ты, в штанах? С режиссё-

рами трахалась, с директорами – и ни фиги! А тут плебей, свиньями торгует, и сразу – Джульетта! А я о ней с детства мечтала! – Ага, о свинине, – съязвил Артур и хлопнул дверью.

Неосвещённая сцена сотрясалась от стука молотков. Под руководством художника рабочие ваяли нечто невообразимое.

Радист перегонял с пластинки на плёнку лирическую музыку уважаемого им Микаэла Таривердиева: "Я прошу, хоть не надолго, боль моя, ты покинь меня..." По театру сквозили семнадцать мгновений весны, разбойники, Штирлицы, цыганки Азы и Иосиф Кобзон.

И ещё – Шурик, совершавший свой первый обход таинственной территории театра. Все ему было удивительно и не так, как учили. Профессора в институте, словно сговорившись, намертво молчали о том, что зрительское фойе можно превратить в банкетный зал, а партер в филиал банкетного зала – там частично выносились благородные кресла и устанавливались вульгарные столики с яствами. Получалось – кабаре. Шурик, конечно, никогда в кабаре не бывал, но кино с несравненной Минелли выучил наизусть.

Профессора утаили от желторотых студентов, что у дверей с табличкой "Главный режиссёр" можно заставить подслушивающего Директора театра, правда подслушивать было что: из кабинета доносились неприличные мужские всхлипы и повизгивания, а чей-то приятный тенорок всё это, вроде, успокаивал, гундосил примирительно. Директор, увидев Шурика, подмигнул ему (душка какой!) и пальчиками показал – гуляй, мол, дальше. Шурик покивал понимающе, хотя не понимал ни шута, и пошагал куда-то в закулисье.

Вот тут его и поджидало то страшное, что исковеркало жизнь молодого специалиста с красным дипломом: в присценном коридоре Шурик встретил не кого-нибудь, а Артура Яныча Катулю во всём его княжеском великолепии. И Шурик не узнал своё несчастье в лицо, а совсем наоборот, кинулся счастливым дуриком навстречу грустному грядущему.

– Ой, здравствуйте, здравствуйте! – воскликнул Шурик, протягивая руки к обомлевшему князю. – А знаете, меня поселили к вам в комнату, мы теперь вместе жить будем, я вас узнал, я вас по телевизору...

– Виноват, – прервал его надменно князь, – как вы сказали?

– По телевизору видел два раза!

– Про комнату.

– Ага, меня поселили к вам в комнату, только что поселили, раскладушку принесут, я там ваши фотографии видел, это потрясающе!

– Однако! – оскорбился князь, но из врождённой деликатности высказывать мальчишке всю степень своего справедливого негодования не стал. – А вы, собственно... откуда взялся?

– А я по распределению, – охотно разъяснил себя Шурик, – сегодня приехал. На поезде. Директор сказал, что вечером документы оформит, сейчас, сказал, занят очень, селись, говорит, и жди.

– Директор? – уточнил Катуля. – Сергей Семёныч? Селись, сказал? А вы, значит, артист? Раз-два – и поселился? И сразу на сцену представлять? Так я вас понял?

– Конечно, у меня диплом. По специальности – пять!

– Надо же, какая птица к нам залетела! Так-так... Из столицы, значит? И сразу к нам? Счастлив, счастлив, коллега, и горд! Удача нам какая!.. Но, простите, а когда же? Когда будет "входная", "въезд", "прописка" – вы хоть знаете, что это такое?

Шурик замялся, Шурик примерно знал. Вот про это самое профессора как раз не забыли и приводили в качестве примера не правильной театральной этики. Будто бы – безобразия далёких времён.

– В смысле – спиртное проставить? – растерянно уточнил Шурик.

– А как же! – воскликнул князь. – Вы собираетесь тут работать?

– Да...

– Ну так одна нога здесь, другая – там! Приехал, понимаешь, и не проставляет! Чему их в институтах учат? Молодёжь!

– Я понял, понял, – засуетился Шурик.

– И учтите, нас много, и все – ваши коллеги!

– Бегу!

– Ждём в четвёртой гримёрной, запомнили, юноша? Намбер фор! Стой! А с чем ты пойдёшь? – у Шурика и вправду в руках ничего не было. – Нет, знаешь, новые времена, не так поймут.

Толкнул ближайшую дверь, там гримировались женщины:

– Галка, одолжи мешок!

...Шурик, пробегая мимо проглотившего балду вахтёра, бормотнул: "Щас вернусь", выскочил из театра и тоже натурально обалдел. Казалось, к театру съехались поголовно все иномарки города НН, из иномарок вылезали лучшие из лучших люди города, потому что их встречали как почётных иностранцев.

Волновался Директор, отчётливо волновался помреж Иван Иванович, волновался даже вдрабадан пьяный Главный Режиссёр. Насильственно помолодевшая Людмила Михайловна в костюмчике веронской чувишки держала хлеб-соль производства ближайшей булочной. А от немыслимого серебристо-розового "Мерседеса" в окружении приближённых клевретов и клевреток шёл к ожидающей его делегации благодетель и надёжа, кормилец и неофит Исидор Калинович Ставраки, в простонародье именуемый ИКС, что звучит очень симптоматично и образно – Автор это обстоятельство особенно подчёркивает. Зачем подчёркивает – сам не знает, но очень хочется.

Шурик застыл в дверях, чем серьёзно нарушил протокол, поскольку частично замешкал прохождение ИКСа в культуру, но был отпущен негрубой охраной и замечен цепким взглядом Ставраки – ни к чему не обязывающий оценочный взгляд. Зато директор Сергей Семёныч, как ни волновался, заметил преступный мешочек в руках выпускника. Мешок был пуст, но его назначение было Директору предельно понятно. Директор нахмурился, Директор погрозил пальцем, Директор готов был рассказать гневный монолог, но обстоятельства и служба втянули Директора внутрь вверенного ему учреждения, и он не успел или не захотел остановить и развернуть колесо Фортуны.

Автор оказался в сложном положении, выбирая, за кем следовать. И хотя героем своим он избрал не нувориша Ставраки, а симпатичного Шурика, за ним он не побегал. Стар уже Автор за водкой бегать, даже в приятной компании. Но как прирождённый мыслитель и исследователь, Автор был просто обязан примкнуть к свите нового явления, всё записать и сделать выводы. Впрочем, выводы делают народные судьи и присяжные заседатели в некоторых пикантных обстоятельствах, у Автора кишка тонка – выводы делать.

Так вот, Автор не убеждён, что Ставраки, с какого бы хода ни заходил в культурное заведение – со служебного или парадного, – чувствовал себя, допустим, как рыба в воде. Отнюдь не убеждён. Первое, что сделал ИКС, войдя в театр, – протянул руку обморочному вахтёру, и сделал он это вовсе не из модного демократизма, а явно вахтера с кем-то перепутав.

– Ставраки.

– Корнеич, – вымучено признался вахтёр.

Директор рванулся на выручку подчинённому:

– А это, Исидор Калиныч, наш Главный режиссёр и постановщик вашего спектакля.

Вилен Викентийч ухватился за руку свинопроводца, но себя не представил ввиду полной недееспособности.

– Лавриков Вилен Викентийч, – опять же помог Директор.

– Ставраки.

– А это наша ведущая актриса Василисова.

– Людка, что ли? – ухмыльнулся Ставраки и прищепил ведущую актрису за бёдрышко. – Мы знакомы.

– Неужели? – воспитанно продекатничал Директор. – Я не знал... Пройдёмте! Хотите осмотреть театр?

– Не, давай сразу концерт, – решил ИКС. – Душа просит.

– В смысле – спектакль? – не понял Директор.

– Ну да. Жульетку давай!

Шурик с мешком, битком набитым интересной тарой, стоял в кабине на телеграфе и пламенно пел в трубку:

– Мамошка, всё в порядке, меня приняли и поселили прямо в театре!.. С одним очень хорошим артистом, мы его с тобой два раза по телику видели, бородатый такой. Уже получил некоторые актёрские задания... Ты не поймёшь, это надо видеть!..

*Изменники, убийцы тишины,
Грязнящие железо братской кровью!
Не люди, а подобие зверей,
Горящие пожар смертельной розни
Струями красной жидкости из жил!
Кому я говорю?..*

Так, с чувством и удовольствием, произносил князь Эскал (арт. А. Я. Катуля) свой небольшой монолог из первого акта трагедии Вильяма Шекспира в переводе Б. Л. Пастернака. Последние слова: "Кому я говорю?" – справедливый правитель Вероны обратил, вопреки режиссёрским указаниям, в зал и по поводу зала (с подтек-

стом: "А чего это я мечу бисер перед свиньями?"), что принесло Сергею Семёнычу лёгкое беспокойство.

Директор восседал рядом с ИКСом за круто накрытым столиком, третьим с ними пребывал Вилен Викентьич, но его уже можно было не считать.

Директор чутким театральным ухом уловил аллюзию в интонации князя, заёрзал и подлил ИКСу в рюмочку. Но когда распоясавшийся князь, глядя непосредственно на спонсора, грозно и неумолимо приказал: — "А вы под страхом смерти — разойдитесь!" — Директор зашептал ИКСу разъяснения:

— Это князь веронский, понимаете, главный у них. Ругается. Говорит, не деритесь, не надо.

ИКС покивал благосклонно: врубился, мол.

Свита спонсора выпивала, закусывала и беседовала, поглядывая на сцену исключительно с целью не пропустить конец, чтобы встать и уйти вовремя, а не как попало. Деликатнейшие люди!

Веронский князь гордо покинул сцену и спросил ожидавшего своей реплики Ромео:

— Слыхал? Как я их?

— Ох, Артур, не зарывайся, — угрюмо посоветовал Ромео.

— Ладно. Отваляешь дурочку, приходи в четвёртую. Не пожалейшь!

— Погоришь, Артурчик, ох, погоришь! — твердил Ромео.

Веронский князь размашистым шагом вошел в гримёрную номер четыре, довольно обширную комнату, где разместились пяток артистов и ещё место оставалось. Здесь все были в курсе и готовились к приятному. Резалась "краковская" и огурцы, стояли сполоснутые стопочки-соточки, в общем, было то, что бывает, когда небольшой мужской коллектив собирается недвусмысленно вмазать.

— А где студент? — спросил князь, оглядываясь. — И где же его резвость молодая, я вас спрашиваю? Мельчает актёр, ничтожится!

— Ищет, наверно, — предположил брат Лоренцо. — Приезжай...

— Город у нас замечательный, — сказалун Монтеки-старший, — загляделся.

Тут-то в дверь и постучали. Сервировка была мгновенно законспирирована большим листом лигнина, а актёры (все поголовно) дружно повернулись к персональным трюмо и зашуршали пуховками по мордочкам: к выходу, мол, готовимся.

— Антре! — разрешил князь.

Вошёл застенчивый Шурик, раскланялся:

— Здравствуйте! Я — Шура.

Все актёры синхронно посмотрели вниз, на мешочек. Заулыбались:

— Проходите, Шура, проходите!

— Будьте как дома!

— Хвоста не привёл? — озаботился князь. — Никто не видел?

Мешочек уже был у Шуры отобран и припрятан в тумбочку, а первая поллитра мигом откупорена.

- Кажется, никто, – пожал плечами Шурик.
- Тогда – вздрогнули!
- Пусть сдохнут!
- С приездом, студия!
- Удачи тебе!

Поверьте, Шуре было очень приятно.

Спектакль тем временем катился своим естественным и неуправляемым манером. После бала у Капулетти была смена декораций под клёвую песенку "Не думай о секундах свысока..." Песня произвела чрезвычайно благоприятное впечатление на ИКСа, он даже подпевал в окончаниях строк и был несколько разочарован, когда занавес открылся и началась сцена у балкона (см. В. Шекспир. Полное собрание сочинений). Но появление на балконе Людмилы Михайловны вновь развеселило его, тем более, что балкон слегка покачивался под нехрупкой его любовницей. Ромео в атлантовом порыве героически поддерживал всю эту конструкцию, произносил текст, близкий к первоисточнику, и так талантливо переживал любовную лихорадку, что Сергей Семёныч дал себе слово премировать Ромео чем-нибудь приятным, если, конечно, всё кончится благополучно.

Свита ИКСа отвлеклась от трапезы и стала друг с дружкой заключать пари: навернётся Джульетта вместе с балконом или удержит её всё-таки этот притыренный пацан? Ставки были крупными.

Помреж Иван Иванович, опытный спец по стихийным бедствиям, рекрутировал рабочих и зазевавшихся в кулисе Бенволио с Парисом. Команда эта проползла по открытому, но вовремя затемнённом пространству, и приняла балкон на себя, что было нечестно по отношению к букмекерам в партере.

Иван Иванович же поста своего не покинул, а, заглянув в шпаргалку, огляделся и призвал в микрофон:

- Лоренцо, мать твою! На выход!

Как ни были заняты в четвёртой гримёрной тостами, а репродукторный призыв был услышан. Профессионалы есть профессионалы!

- Пойду венчать, – вздохнул брат Лоренцо.
- А можно мне с вами? – попросил Шурик.
- Пошли, кадет, постоишь в кулисе, окажешь моральную помощь.

В антракте место выбывших заполнили Меркуцио и Тибальд, прибежавшие на запах. Им тут же было налито, и ими это было тут же выпито.

- Чья халява? – спросил Тибальд.
- Новенький проставляет, – объяснил Монтеки-старший.
- Артист новенький? – спросил Меркуцио.
- Артист.
- Что делают! – возмутился Тибальд. – Своих кормить нечем!
- Вот именно! – поддакнул Артур Янович.

Надо сказать, что сегодняшнее возлияние действовало на Капулетти угнетающе. Он всё больше и больше мрачнел и наливался злобой, что было для него вовсе нехарактерно.

– Вот именно, – повторил Катуля, – и не платят. Меня на оклад наказали. Я объявил голодовку.

– Очень похоже, – рассмеялись коллеги.

– Так я же им объявил голодовку, а не вам и не себе, – объяснил демонстрант.

– За вчерашнее наказали?

– Угу. За расстрел.

– Правильно наказали, – сказал Тибальд. – Я вчера впервые на сцене растерялся. Что делать, думаю, как выкручиваться? Не расстреливает, подлюга! Отнял у Серёги автомат, да и пультнул в себя. Попал, между прочим.

Рассмеялись все. Кроме Артура Яныча.

– Вот скажи, Коля, – спросил Тибальд у Меркуцио, – что ты будешь делать, если я тебя сегодня не зарежу?

– Почему не зарежешь? – не понял Меркуцио. – Нет уж, ты меня, пожалуйста, зарежь, как положено, да я домой пойду. Мне ребёнка забирать.

– А банкет? – поразился Монтекки.

– Какой банкет? Этот?

– Ставраки банкет даёт. В фойе.

– Нет, не пойду, – сказал Меркуцио, подумав. – Противно.

– Дай я тебя расцелую, – растрогался князь. – Ты человек, Коля, ты – настоящий артист. Артист не продаётся!

– Не продаётся, – съязвил Тибальд. – А купить его каждый может.

Артур застыл, поражённый таким открытием:

– Врёшь!

– Купил нас всех Ставраки, купил. И приказал высечь на конюшне!

– Тем, что Людка Джульетту играет? – удивился Монтекки-старший. – Так это же хорошо! Смех развивает аппетит!

– Значит, ты – счастливый раб, – резюмировал Тибальд. – Третий звонок. Пойдем, Коля, зарежу.

Шурик, дорвавшийся до закулисья, и в антракте не уходил со сцены. Сидел, очарованный, в сторонке, смотрел на суету и всё ему нравилось

По желанию Ставраки антракт основательно купировали. Вы же знаете, для чего бывают антракты, – для отдыха зрителей. Чтобы зрители, значит, могли подразмяться и чем-нибудь буфетным подзаправиться. И правильно, общепиту тоже без выручки разрез, и дебет с кредитом опять же. Но сегодняшние зрители пришли с внушительным ссобоичком и в разных там буфетах не нуждались, поэтому разницу между действиями определял лишь прорывавшийся из-под занавеса лёгкий задушевный матерок, издаваемый рабочими сцены исключительно из-за нервных чрезвычайных обстоятельств.

Погас свет, зазвучала тоскливая музыка Таривердиева и начался 3-й акт. Бенволио, Меркуцио, Ромео и всё такое. Тибальд ворвался, драться полез, благополучно зарезал Меркуцио. Тибальда заколол озверевший Ромео. Потом нетвёрдой походкой

пришёл князь веронский и разогнал всех к чёртовой матери.

Пока шла смена декорации под "пара-ру-ра..." из кинофильма "Мой младший брат", Иван Иванович, помреж который, прихватил князеньку в кулисе:

– Что ты делаешь, Артурка? Ты же на ногах не стоишь!

– Стою, Иванович! А в последнем выходе такое залеплю – долго икать будете!

– Понятно! – помреж быстро смекнул, что князь не шутит. – Значит, так. От выхода в пятом акте я тебя освобождаю. Попробуй высунься!

– Не-е-ет, – пьяно возразил князь, – там те-е-екст! "Нет повести печальнее на свете..." Какой же Шекспир без этого? Ты что, Ставраки не уважаешь?

– Иди спать, Артурка, – окончательно посуровел Иван Иванович.

– С текстом разберёмся. Парис скажет или Бенволио.

– Я скажу, – всунулся подслушивающий Монтеки-старший.

– Вот-вот. А ты в коечку, Артурчик, в коечку! Ещё сюда припрешься – заложу!

– Ну и иди ты!..

Князь пошёл к выходу, действительно намереваясь сюда сегодня не возвращаться, но попался ему на глаза счастливый Шурик, таращащийся на сцену, и мгновенно созрел у князя нехороший план.

– Следуй за мной, – приказал. Шурик мигом подхватился – и за ним. Вышли в коридор, двинулись к гримёрке.

– Значит, так, – с трудом, но сформулировал князь. – Видел, я с начальством спорил? Это о тебе был разговор. Несчастье у нас – артист один запил и не явился. Подручного моего играет. Я за него часть роли сказал, ещё осталось. Я и предложил, чтоб ты... В общем, дебют у тебя сегодня, понял?

Шурик ошалел от счастья:

– Я готов! Только расскажите задачу и сверхзадачу.

– Ты это брось, – насупилс князь, – сверхзадачу! Молод ещё. Пойдём, там осталось, примешь для храбрости, так положено, а я тебя проинстрек... проинстрак... ты понял.

В гримёрной переодевался покойный Тибальд, но он был Артуру не помеха, потому что Тибальд был сообразительный и князь об этом знал.

– Федя, – сказал Артур Тибальду, – поздравь нашего Шурика. За то, что он такой хороший и правила знает, я договорился с Иванычем – пусть Шурик и на сцене себя покажет.

У сообразительного Тибальда в глазах запрыгали чёртики:

– В первый день!? Потрясающе! Ну ты, Шура, везунчик!

– За Громыхалова введётся, – продолжал травить Артур. – Текста осталось немного, но он яркий. Выпей, Шура, перед дебютом положено, наркомовская доза. Федя, дай ему свой камзол. Шпагу не надо, алебардой обойдемся. Ты сейчас, Шурик, очень талантливо сыграешь, все обалдеют, будут спрашивать: кто такой, откуда взялся? Я тебе сейчас текст напишу. Скажешь его громко, с чувством, по-шекспировски. Читал Шекспира?

– Проходили, – без уверенности сказал Шурик.

– Ничего. Тут всё понятно. Выйдешь с алебардой, пристукнешь вот так, для страха, понял? И продекламируешь. Вот текст.

Ошалелый Шурик прочёл, что написал ему князь. Тибальд полюбопытствовал через шуриково плечо и быстро отвернулся, чтобы себя не выдать.

– Ставраки? – задумался Шурик. – Не помню...

– Ну и что! – включился Тибальд. – Нормальная итальянская фамилия: Монтеки, Капулетти, Ставраки. Да он не выучит!

– Кто не выучит!? – оскорбился Шурик. – Уже всё знаю!

– Покажи! – потребовал Тибальд.

Шурик стукнул алебардой, открыл рот...

Открылась дверь, вошел Монтеки-старший, предвкушая продолжение выпивки. На наряд Шурика внимания не обратил – мало ли что в театре бывает!

– Стоп! – сказал Артур Яныч. – Не надо репетиций. Без репетиции естественней будет. Ярче! Пошли!

– Подождите, Артур Янович, – попросил Шурик, – а можно мне еще немного наркомовских?..

Артур щедрой рукой плеснул в рюмку то, что актёры называют вдохновением.

На сцене безмятежно двигался к завершению 4-й акт. Джульетта глотала яд и причитала, заламывая пухлые ручки, что очень трогало Ставраки. ИКС даже слезу пустил непрошеную и смотрел во все глаза. Свита умаялась разговаривать и тоже увлеклась действием. Только Режиссёр спал без задних ног на ковре в проходе и его никто не трогал, потому что он никому не мешал. Сергей Семёныч вдруг поверил, что всё это может кончиться удачно, и бдительность свою утратил.

Князь с Тибальдом провели Шурика с алебардой другой стороной сцены, далёкой от помрежа, и затаились. Артур хорошо знал пьесу, поскольку играл в ней неоднократно и переиграл практически все роли, начиная от Ромео, кончая Балтазаром (в академическом театре это было, там выше Балтазара Артуру прыгнуть было затруднительно), поэтому он умудрился привести Шурика буквально за несколько реплик до возможной паузы.

И когда Джульетта, напившись дряни, отключилась, Артур подтолкнул Шурика, благословив:

– С Богом! Пошёл!

Запричитал музыкально Таривердиев:

"Я такое дерево, такое дерево, такое дерево..."

А Шурик с замиранием сердца и восторгом души промаршировал на авансцену.

Ахнул Иван Иванович, услышав нешекспировские шаги, зашарил глазами, увидел то, что ни в какие ворота не лезет, схватился за сердце, но поделаться уже ни шиша не мог.

Высунулся из своей ложи радист, подумал и смикшировал музыку.

Почувствовав неладное, приподнялась отрубленная Джульетта, поражённо разглядывая явление с алебардой.

Шурик пристукнул вышеуказанной и возопил:

– Где ты, Ставраки, хам грядущий,

Растлитель непорочных дев?

Тебя, тебя я презираю

И собираюсь отвести в тюрьму!..

И на сцене, и в зале установилась потрясающая тишина.

– Что?! – вскрикнул внезапно проснувшийся Режиссёр. – Какой Ставраки? Кто это там?

Ставраки побавровел. Про тюрьму, наверное, не стоило придумывать Артуру Янычу. Лишнее это – про тюрьму.

Шурик с ужасом понял, что произошло что-то непоправимое. Огляделся. Из-за кулис с раскрытыми ртами и трясущимися фигурами на него смотрели актёры. Джульетта зашла в беззвучной смешливой истерике. Артур Яныч и Тибальд стояли с хмурыми лицами, будто осуждая Шурика, причём, Артур подносил палец к губам и показывал кулак, мол, настучишь – убью!

Шурик судорожно соображал, что делать дальше. Дело в том, что как выйти на сцену, ему объяснили. А вот как с неё слезть...

Оскорблённый ИКС хлопнул дверью. За ним потянулась насто-роженная свита. Выходили так, будто ожидали выстрелов в спину.

– Скажите, пожалуйста, – изысканно-вежливо спросил в тишине Директор, – а где тот, кто вас этому научил?

Шурик затравленно озирался.

И только тогда раздался оглушительный хохот. Сотрясаясь весь театр.

Иномарки отлетели от здания, будто их сдуло этим хохотом.

Смеялись все. Не выдержал даже Иван Иванович, потому что был человеком сугубо театральным и за хорошую хохму мог и маму продать.

Главный режиссёр аж скис от смеха на своём ковре.

Не смеялся один Директор. Сказал мрачно и отчётливо:

– Зайдите ко мне, молодой человек. Заберите документы и... очистите помещение!

К Директору, хихикая и потирая ручки, подобрался отпетый сту-кач Монтеки-старший и доложил с удовольствием:

– Это Артуркина работа. Сам видел.

– Артур Янович, – позвал Директор, – покажитесь, пожалуйста. Выйдите к своему партнёру.

И Артур вышел. А что ему оставалось делать? Шутка удалась, можно принимать овации.

– Господин Катуля, помогите юноше вынести вещи из нашего театра. А юноша вынесет ваши. Вы уволены без выходного пособия по волчьей статье. И пожалуйста, сделайте так, чтобы я вас больше никогда не видел!

– А профсоюз? – пискнул кто-то со сцены.

– Я вам покажу профсоюз! – озверел Директор. Ткнул пальцем в Монтеки: – Вот профсоюз! Профсоюз имеет что сказать?

– Профсоюз возражений не имеет! – отпартовал Монтеки-старший.

Радист поставил точку. Ввел случайно микшер и неповтори-

мый голос Микаэла Таривердиева допел песню:

"Я другое дерево, другое дерево, другое дерево..."

У-х-х-х!

В сумерках из театра вышли двое: Артур Яныч, груженный чемоданом, рюкзаком и своими неформатными фотографиями, и совершенно раздавленный Шурик с сумкой и баяном.

Никто их не провожал – в театре шумел пир во время чумы. Уничтожали забытые ИКСом ресторанные прелести, да и не нужны были нашим героям зрители и зеваки. Не нужны и всё. Хотя, в глубине души Катуля ощутил острый приступ сожаления от предательства коллег.

Бог с ними!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

– "Чума на оба ваших дома!" – возгласил Артур Янович, глядя на горящие огни бывшего своего пристанища. – Чума!.. На оба!.. Ты думаешь, Шурик, – напился папаша и всё у него двоится на фиг? Ни чёрта! Я шлю проклятия на два дома: на этот театр и на свинарник имени Ставраки. Только один из них честно называет себя свинарником, а другой называется храм, а на самом деле – самый свинарный из всех свинарников!.. Вот что я скажу тебе, юноша. Ты наисчастливейший из всех артистов, потому что и дня не проработал в театре. Вышел, произнёс, получил овации на всю оставшуюся жизнь. Вспоминай теперь и гордись, что твоя игра произвела взрыв немыслимой силы. Ты сыграл, а им теперь закрываться надо и само-распускаться. После тебя им там делать нечего! Понял?

– Артур Янович, – тихо произнёс подавленный Шурик, – можно я вам одну вещь скажу? Только вы не обижайтесь... Шли бы вы, Артур Янович, к одной хорошей матери! А вспоминать – это точно. Никогда вас не забуду, будьте вы прокляты!

Шурик сориентировался на местности и двинулся к выходу из этого города – к вокзалу.

– Смотри-ка, – удивился Артур, – прорезался! Я-то думал: тю-фяк тюфяком, а он и слова знает! Стой!

Шурик шёл без оглядки. Артура Яныча сильно заносил на сторону чемодан, но длинными своими ногами он все же смог догнать младое племя.

– Дозволено ли будет мне, сударь, обратиться к вам с беседой приличной? Ответьте мне, эсквайр, куда стремите стопы свои?.. Есть ли цель в ваших исканиях, милорд?... Куда струмент прёшь, барыга?...

Несмотря на сильное опьянение, Артур Янович глубоко в душе ощущал свою несказанную вину перед Шуриком. Приступить напрямую с извинениями казалось неуместным, да и не простил бы сейчас его Шурик ни за что. Но делать что-то было надо, вот и несло Артура Яныча вслед за юношей чемоданом вперёд, как миноискателем.

– Мессир, не откроете ли вы мне планы свои?.. Куда дрейфу-

ешь, Миклухо-Маклай?.. Халаднокровней, папаша, и пусть вас не волнует этих глупостей!.. Шурик, Шурик, ты куда?

Так и вошли они в вокзал, причём, Шурик проник беспрепятственно, а вот Артура Яныча по причине его явной нетрезвости тут же остановил милицейский патруль.

— Куда следуете, гражданин? — пока ещё вежливо спросили артиста.

Шурик, не останавливаясь, двинул по стрелке: "Кассы на 2-м этаже". Артур же расположился поговорить с народом.

— Куда? Никуда. А что это? Вокзал? Вот он куда... — осознал Артур Яныч. — Что угодно? — спросил надменно.

— Куда следуешь, алкаш? — перешёл на личности патруль.

Тут мы оставим Артура Яныча, потому что у Автора на разборки с милицией не хватает ни опыта, ни терпения. Автор надеется, что артист из любых переделок выберется живым.

Посмотрим лучше, как идут дела у Шурика.

—...Что вы мне даёте? — закипала кассирша, рассматривая "зайчики". — Надо ровно вдвое больше!

— Как, то есть? — оторопел Шурик. — Я сегодня приехал из Минска. И билет сюда стоил...

— С завтрашнего дня — вдвое больше! Газеты надо читать! Вот народ!

— С завтрашнего? — с надеждой переспросил Шурик.

— Следующий поезд на Минск в ноль пятнадцать, — отрезала мегера.

Шурик провёл срочную ревизию карманов, хотя и подозревал, что это безнадежно. Деньги, выданные мамой на первое время, были бездарно просажены в гримёрной номер четыре и вновь возникнуть в карманах не могли никак.

А сволочной государственный грабеж окончательно раздавил нашего героя, и из Шурика в этот момент можно было лепить что кому угодно: хоть коммуниста, хоть рэкетира, хоть полпотовца. А нашёлся бы какой благодетель и вдул бы сейчас ему в уши программу свержения только что испечённого президента Беларуси — и не стало бы президента Беларуси, правда, на ограниченной территории — в большой Шуриковой душе. А это не мало.

Так что по лестнице спустился совершенно другой Шурик — Автор не знает, в какую сторону произошла его внутренняя деформация, Автор в ней не участвовал, только зафиксировал и посожалел, что деформация произошла.

Автор знает одно: милый Шурик ощутил такое невыносимое одиночество, что даже обрадовался, увидев в зале ожидания единственного знакомого человека — Артура Яновича, конечно, и тот мгновенно стал ему ближе родной мамы.

Катуля задумчиво смотрел по сторонам и что-то ловил правой рукой. Была в этой мизансцене какая-то н е д о с т а ч а, — так показалось Шурику, и он, мысленно восстановив предыдущий облик своего "благодетеля", понял, чего Артуру не хватало. А не хватало чемодана, вот чего не хватало. Рюкзак и фотографии под мышкой имелись, а несуществующий чемодан и пытался

Артур Яныч свободной рукой ощутить, но не ощущал.

Шурик подошёл так, чтобы Катуля смог навести на него фокус.

– А куда вы дели чемодан, Артур Яныч?

– Представляешь, – ословело объяснил Катуля, – пока я тут с милицией объяснялся, чемодан спёрли.

– Кто, милиция?

– Нет, – категорически отверг Катуля, – милиция не могла, она со мной беседовала. Я и поставил чемодан для удобства, а его спёрли.

– Зачем же вы, Артур Янович, на вокзале чемодан на пол поставили?

– Как – зачем? Я же жестикулировал!

– Вы жестикулировали в разговоре с милицией? – поразился Шурик.

– А как бы я им объяснил, что я не алкаш?

– А кто?

– Артист, – грустно произнес Артур Янович.

– Ну и где теперь эта милиция?

– Так она же – милиция, ёлки! Чемодан ищет...

Артур Янович не скрывал своего глубокого огорчения: губы расквашены, брови – домиком. И Шурик почувствовал острую жалость к этому большому дитяте, представив себе Артура Яныча в его нынешнем совершенно летнем виде, скажем, по горло в снегу.

– Что было-то в чемодане?

– Вся моя недвижимость.

– Вот так, да? У вас была недвижимость?

– Новый вельветовый спинджак. Концертный! – перечислил утраты Артур. – Джинсы, можно сказать, пасхальные. Рубашки там, носки и всякая интимность.

– А что же в рюкзаке? – бестактно поинтересовался Шурик.

– Духовные ценности в рюкзаке. Антон Чехов с евойным племянником Мишей, Булгаков, старик Хэм...

– Эй, артист, – позвал милиционер издали, показывая чемодан, – твой?

– Нет, это не мой! – отрёкся от чужого Артур.

– Да на, заberi ты свой чемодан, – раздражённо сказал страж порядка, отдавая чемодан верещащему пассажиру, у которого перед тем его отобрал. – Зайди завтра, артист, если найдём...

– Вот и всё, – констатировал Артур Яныч, – осталось у меня только то, что на мне...

А видок у Катули оставлял желать лучших времён: потёртые джинсы и майка, да куртка какая-то легкомысленная, плащевая.

– Сочувствую, – искренне посочувствовал Шурик.

– А чего ты сюда шёл? Уехать хотел? Хотел меня бросить? Вот здесь, на вокзале – бросить? Завёл на вонючий вокзал, у меня тут чемодан свистнули, ты этого хотел? – Артур начал придуриваться по своему обыкновению, чтобы развлечь и себя, и Шурика, но обиде еще чувствовалась в его декламации. – Бросай меня, ренегат, на съедение вора и ментам! Меня, такого нежного, подсунул ОМОНу, хорошо не побиили ещё своими дубинками жандармскими! А сам? Что ты делал сам, когда меня терзали опричники?

– Хотел купить билет, – признался Шурик.
– И что – купил? Не томи старика, добей его – купил? Сейчас ты оседлаешь паровоз и умчишься в даль светлую, да?
– Интересный у вас город, – пожаловался Шурик. – Вход в него рупь, а выход – два. – И неожиданно для себя рассмеялся: – Пока я у вас в театре алебардой махал, государство мне подарочек испекло...

Шли по улице, гружённые тем, что у них осталось.

– На вокзале нельзя, – объяснял Артур Янович, – я знаю этот вокзал, там кого хочешь грабят. Как увидят, так сразу и грабят.

– А где не грабят? – резонно спросил Шурик.

– Я тебя порешил, я тебя и воскрешу, – твердил Артур. – Сейчас оттарабаним вещички на мой запасной аэродром. У тебя есть запасной аэродром?

– Ничегошеньки у меня нет, – серьёзно сказал Шурик.

– А у меня теперь нет недвижимости. Но движимость еще не увели. Будем жить в движимости.

– Как это?

– Шурик, как ты относишься к еврейскому вопросу?

– А что это за вопрос?

– Это ты хорошо сказал. Но это очень фильтикультипистый вопрос. Они, понимаешь, уезжают. Бросают нас. А мы тут остаёмся. Понимаешь?

– Ну и что?

– Не перебивай. Был у нас зав. постановочной частью Шлепентох Ефим Моисеевич, благороднейшей души человек. Так вот этот Шлепентох перед отъездом сделал мне министерский подарок. За символическую цену – два ящика "Беловежской" – подарил свою машину. Очень меня уважал. "Беловежскую" он хотел с собой прихватить, оказалось – нельзя, только две бутылки можно, так мы её на месте скушали.

– Два ящика сразу? – поразился Шурик.

– На двоих же, – объяснил Катуля. – И без двух бутылок.

– А машина-то хорошая?

– Не знаю, Шурик. Я в них не копенгаген. Стоит и стоит. Жить, наверное, в ней можно. Гараж опять же, мне его приятель доверил. Благороднейшей души человек. Поклонник мой вообще-то. Гараж у него есть, а машину увели. Давно уже. Вот и стоит там моё авто. Ты в машинах сечёшь?

– В армии был механиком-водителем.

– Вот и оценишь механизм... Постой!

Артур остановился у коммерческого киоска, открытого несмотря на позднее время. Осмотрел витрину. Сосчитал наличность. Жалобно посмотрел на Шурика. Тот насупленно молчал.

– Александр! – церемонно спросил Катуля. – Вы, милорд, как относитесь к "баварскому"?

Шурик внимательно разглядывал ночные крыши.

– Мессир предпочитает "Праздрой"? Или родные "Жигули"?

Шурик невольно опустил взор на витрину. В глазах зарябило от консервированного счастья.

– Одну на двоих? – сдался Шурик.

– На большее не потянем?

Шурик помолчал, глотая слюну. Если вы помните, он сегодня ничего не ел, кроме завтрака в утреннем поезде. А пиво притягивало своей доступной калорийностью. Да и денежный остаток был так мал, настолько мал, что задумываться о нём не хотелось.

Шурик забрал у Артура, что было в его кулаке, доложил своих "зайчат" и – как в омут:

– Два "баварского", пожалуйста!

– Не переживай! – обрадовался Артур. – Мы с тобой завтра...

Что он собирался сделать с Шуриком завтра Катуля высказать не успел, потому что из-за киоска вышли четверо амбалистых стриженных молодых людей.

– Дывысь, хлопцы, москалі! Понаіхалы туточки!

– Что-с? – высокомерно выпрямился потомственный шляхтич Катуля.

– Пиццё нашу тягнуць!

– Пыву нашу...

– Какой москаль? – возмутился Шурик. – Я белорус!

– А як па беларуску кочерга? – спросили стриженные.

Шурик замялся. Про кочергу он явно не проходил.

– Ня ведае! А каже – не москаль!

Бах ему в глаз! Катуле – поддых! И смылись, гады. С пивом, конечно.

Шурик поднялся, потрогал раненую голову:

– Вы, Артур Янович, что-то говорили про еврейский вопрос?..

Продавец в киоске зевнул. Сценку эту он наблюдал еженощно.

– Христопродавцы! – заорал Артур, ощутив, что вождя нет пива в руках уже нет.

В свете фонаря метрах в пятидесяти от них обнаружили стриженные. Шли не слишком быстро, пили пиво из банок.

Артур побежал, бросив вещи на Шурика. Тот растерялся, не зная, как поступить. Подумав, остался с вещами.

Нападавшие услышали топот и испугались. Кинулись врассыпную. Катуля не стал ловить всех сразу, а, поднажав, прихватил одного, с баночкой. Рванул за шкурку и зарычал:

– Кочерга – это кочерга! А як па беларуску кочерыжка?

– Дяденька, – захныкал стриженный, – ня ведаю, дяденька!

Артур, будучи выше амбала на две головы, имел преимущество. Шмякнул его о дерево, стриженный сполз и тоскливо ждал дальнейших неприятностей.

Артур Яныч поднял пустую банку, потряс её и расстроился окончательно:

– Запомни, дубина, кочерга – это кочерга. А кочерыжка – это хrapка. Выучил?

– Выучил, дяденька...

– Ступай, убогий.

Топот убогого долго слышался из темноты.

Вы пробовали когда-нибудь спать вдвоём в старом горбатом "запорожце"? Нет? Надо попробовать. Автор считает, что всё в жизни надо попробовать и ощутить. А то помрёшь некстати, так и не переночевав вдвоём в "запорожце". Море удовольствия, между прочим, если, конечно, больше спать негде.

Шурик-то ладно, Шурик габаритный, втрое сложившись всё же уместился на заднем сидении. А у Артура Яныча в положении лёжа в авто поместилась лишь самая нежная часть организма с некоторыми прилегающими к ней органами, а голова и ноги, свесившись, подпирали открытые дверцы, что, если вдуматься, создавало отдыхающим комфорт и сквозняк.

Проснувшийся Шурик оказался в сложном и щекотливом положении. Как известно, у "запорожца" только передние двери, которые, хоть и распахнутые, были наглухо блокированы катулиными конечностями, а он просыпаться не собирался, и по виду его было ясно, что если Артур Яныча сейчас ненароком разбудить, то можно лишиться, к примеру, слуха или глаза. А у Шурика и так к утру левый глаз налился интересной синевой и опух. Но Шурику необходимо было срочно выйти по естественной утренней надобности, а если будить препятствие, то получится долго, скандально и себе дороже, и у Шурика может случиться маленькая детская неприятность.

Так что Шурику с утра пораньше пришлось заняться головоломной акробатикой по произвольной программе: встать, сильно пригнувшись, сгруппироваться и выбросить себя молодецким рывком через спинку кресла и бесконечные артуровы ноги – ладошками и частично носом о грязный пол гаража.

Шурик вылез наружу в надежде найти какое-нибудь подобие туалета, но увидел большой двор, детишек в песочнице, мамаш с колясками, доминошников и алкашей на лавочках в конце двора. Какой туалет – всё на виду! Причём, в доме было восемь подъездов, шесть этажей, на каждом этаже по четыре квартиры – считайте, сколько личных туалетов имелось в доме, и все они были закрыты от Шурика наглухо. Шурик представил картинку: к нему звонит в дверь нечёсанный, в нечистом костюме ошалевший придурок с подозрительным фингалом и просится отлить. Приветил бы он такого?.. И никто не пустит, решил Шурик и затосковал. Обежал гараж вокруг, но он стоял посреди двора, сзади высились такие же жилые здания – куда бежать, где спастись?

...Артур Янович проснулся от вожделенного звука – от журчания жидкости о что-то стеклянное, – никакой другой звук разбудить бы его не смог.

Разнообразнейшая гамма противоречивых чувств прокатилась по челу Артура Яныча, когда он понял, откуда исходит звук, его причину, а главное – где он сам находится. Было в этой гамме удивление? Ещё какое! Так мог удивиться, наверное, Карл Первый Стюарт, в одно прекрасное утро обнаруживший, что он лишился головы. Потом злоба была. Ух, попался бы ему сейчас кто-нибудь из театра! ...Но и злоба прошла, как ни бывало, – не такой человек был актёр Катуля, чтобы злиться долго. Смирение пришло, пришло и осталось в его мудрой улыбке.

Артур Яныч сошёл на землю, расправил члены и, совершенно не понимая пока, куда себя девать, опять сел в машину и задумался.

Приблизился виноватый Шурик, показывая жестами обстоятельства, вынудившие его... и т.д. Артур шевельнул пальцами, отпуская его грехи, и Шурик успокоился. Потрогал зажигание. Артур порылся в карманах, потом в бардачке, откуда извлёк ключи от машины. Шурик немедленно вставил ключи куда надо и завёл мотор.

Но лучше бы он этого не делал. "Запорожец" повел себя очень странно: его активно затрясло, мотор стучал так, будто его разобрали, собрать поленились и бросили все запчасти в цинковое ведро, чтобы вдоволь побренчать. Из выхлопной трубы остро запахло серой и, почему-то, сыром "рокфор".

Катуля сломя голову бросился к выходу, распахнул ворота и замахал руками: выключай, мол! Шурик вырубил мотор, вылез из машины и издали осмотрел её, как диковинку. "Запорожец" окутался им самим произведённым дымом.

— Два ящика, говорите? — задумчиво произнёс Шурик. — "Беловежской"? Обдурили вас, Артур Янович, как минимум на тридцать восемь бутылок.

— Почему? — озадачился Артур Яныч.

— Просто вашему Шлепентоху было лень её до свалки докатить.

Катуля философски отнёсся и к этому удару. Автор знает — почему. Когда гражданин ничего не петрит в механике, ему кажется, что любая поломка — пустяк. Что любой умелец, которого Бог просветил в хитросплетениях шестерён, проводков и высокого октанового числа, покопавшись и помудрствовав, наладит любой аппарат, потому что умелец знает такое, что тебе, неучёному, недоступно. А раз недоступно — значит, просто. Или очень сложно. Или никак. Неизвестно, словом. Поэтому Катуля сказал:

— Ты, Шурик, поголодай тут один. Твой фингал не прибавит энтузиазма ни в одном отделе кадров. Можешь любопытства ради и развлечения для заглянуть во внутренности этого драндулета. Даю тебе карт-бланш. А я снаряжаюсь в экспедицию по трудоустройству тебя народным артистом нашей юной республики.

— Трудоустройству — куда?

— В какую-нибудь дыру, — убежденно заверил Артур Яныч. — Не волнуйся, дыр в наших краях не много: филармония, кукольный театр и телевидение. Больше нет для нас дыр. Не образовались ещё. А из самой большой дыры мы с тобой выскользнули. Оставайся весел и здоров, но чтобы машинку — выправил!

— Слушаюсь, сэр! — рявкнул Шурик, перенявший уже кое-что из заразного лексикона Катули.

Артур Яныч, как и задумал, явился в кукольный театр. Явиться-то он явился, но заходить в него не стал. Ещё висела надпись "Театр лялек", но что-то уже было не так. Кукол-то не было в театре — их пачками выносили на улицу и грузили в пикап. Тут же у входа стояли сваленными Емелина печка, Кашеевы пещеры и дремучий-

дремучий лес. Несколько детишек трагически наблюдали этот разгром.

– Дети, – строго спросил Артур Яныч, – что происходит? Вы кто?

– Мы активисты кукольного театра, – объяснила Артуру детка с косичками. – Нас выгнали чужие дяди.

– За что?

– Они сказали, что купили этот театр. И теперь тут будет ночное заведение.

– Тётьки голые плясать будут, – басом пояснил толстенький карапуз.

– А актёры? – тихо спросил Артур.

– Кто куда, – пояснило третье дитё. – Какие в официанты записались, а какие – не знаю куда.

– А вы что будете делать без театра?

– А нам что, больше всех надо? – резонно спросил старший из актива. – Торговать пойдем.

– И воровать! – заплакал карапуз.

– И это самое... – добавила с косичками.

Катуля услышал возню и оглянулся. На надпись "Театр лялек" накладывали новую: "Стриптиз-бар".

А знаете, Шурик машину-то – оживил! То ли карбюратор прочистил, то ли свечи продул – Автор не рубит в этом ни фиги, – но драндулет шевельнулся. Шурик выехал из гаража на простор и решил немного покататься по двору, чтобы диагноз стал окончательно ясен.

Катил себе по асфальтовой дорожке, а тут из арки вынырнул Артур Яныч, увидел знакомый автомобиль, ужасно обрадовался и по-мальчишески затрусил рядом:

– Ого-го! Он и у Шлепентоха так не скакал!

Шурик затормозил. Неудобно всё же – пожилой человек и вприпрыжку...

– Там карбюратор, понимаете...

Катуля замахал руками:

– Молчи, безумец! Не надо подробностей! Сглазишь ещё! Назначая тебя заведующим по агрегату. Молодец!

Сел в машину:

– Поехали!

– Куда?

– Закроем гараж и вперёд!

– Так бензина-то на два-три выхлопа.

– Да? – задумался Артур Яныч.

– Вы что-нибудь выяснили? – спросил Шура.

– А? Да, всё в порядке. С куклами я договорился. Работать не будут.

– Ясно...

– Хочешь есть?

Шурик промолчал, сглотнув сухой комок.

– Шурик, я в затруднительном положении. Есть в этом доме один

человек, который мне должен... Ещё с Нового года, представляешь? Благороднейшей души, выдающийся художник. В высших сферах вращается, утончённейший эстет. Напомнить – неудобно. А тут повод. Скажу – сын приехал... алиментный. Скажу – отец я кормящий. Сыграешь роль?

– Это можно, – согласился Шурик.

– Тогда поехали!

– Куда? Вы же сказали – в этом доме...

– Ты с ума сошёл! Такая машина – ещё уведут! В гараж гони, шеф!

Вышли из лифта на последнем этаже, поднялись по лестнице под самую крышу. Прошли какие-то технические двери без номеров и обшивки.

– Вся неловкость в том, что сумму я не помню. Новый год был, понимаешь? Он у меня и занял. А у меня было... помню, было. А вот сколько?.. Ладно, сейчас дождём его наводящими вопросами. Только ты води себя прилично, как культурный сын. Рыбу с ножа, если предложит, не лопай, нехорошо это. Поперёк батьки не суйся. Президента не ругай... Господи, благослови!

И Катуля постучал в дверь.

– Артур! – воскликнул художник, открывая и явно радуясь. – Прошу! Располагайтесь. Я сейчас, только с женой договорю, – и убежал в другую комнату.

Там он поднял положенную у аппарата телефонную трубку:

– Лида, кончай истерику, тут Артур пришёл. Наверняка принёс долг, так что все неприятности сегодня долой... Помнишь, на Новый год?.. С процентами, разумеется... Как это – пропьём? У меня заказ срочный. Ну, не заплатят, не заплатят, потом заплатят. Всё ерунда! Главное – Артур пришёл, деньги принёс, ура!

Гости церемонно и уважительно рассматривали развешенные, расставленные, задвинутые и сложенные в штабеля картины, рисунки, плакаты, эскизы, макеты, чеканки и скульптуры. Во всём этом великолепии гости наши оробели. Это ж надо – столько навалять! Небось, деньжищ-то!

– Ну ты стахановец, Егор! – восхитился Артур, когда художник вернулся к гостям. – У тебя что, трудовой запой? Болдинская осень?

– А! – отмахнулся Егор. – Толку-то...

– Не понял.

– Заказов много, да. Только денег у них, заказчиков, нет хронически. Главное – когда заказывают, то вроде есть, а когда сделаю – то шиш! Тут так много, потому что не отдаю. Раньше отдавал – и как в колодец. Теперь сначала сумма прописью, потом – забирайте на здоровье! Вот и скопилосьхлама.

– Не унывай, – сказал Артур, – нам бы твои заботы! У нас, знаешь...

– Как – не унывай? Лидка, жена, все мозги пропилила – где деньги? Как жить? Пашешь, пашешь, а пацану в школу на завтрак сооробизить не можем.

- А-а-а, – сказал Артур, потускнев.
- Чаю хотите? Другого, извините, ничего, а вот чаю...
- Да, спасибо.

Егор поставил чайник. Гости переглянулись и Шурик по лицу Катули увидел, что дело дохлое.

– Только вот сахара нет, – пожаловался художник. – Будете без сахара?

- Будем, – согласился Артур.

Некоторое время чай пили молча. Художник с надеждой смотрел на артиста, артист на художника. Чувствовали себя неловко.

- Ещё чаю?
- С превеликим удовольствием!
- Опять пили чай.

- А нас, понимаешь, из театра... – начал Артур.

– А инфляция какая! – вскинулся Егор. – Сегодня в газете – 35-40 процентов!

Шурик удивлённо взглянул на художника. По его мнению, художник гнул линию не в свою пользу.

- В месяц? – уточнил Артур.
- А как же! Кошмар!.. Ещё чаю?
- Благодарствуйте!
- Покрепче?

- Пожалуй... Понимаешь, мы сегодня...

– А краски нынче сколько стоят – знаешь? А холсты? Всё от семьи на это дело отрываю. Полный пессимизм!

- Понимаю.

– И ничего не изменится. Выбрали президента – колхозно-армейского политрука! Откуда он взялся?

- Народ выбрал.

– Ага, от нищеты! От нищеты экономической и духовной! Вот увидишь – кончилась наша независимость!

- Ну и что?

– А! – махнул рукой Егор, полагая, что говорить о политике с артистом бесполезно. – Ещё чаю?

- Конечно.

Егор заглянул в чайную коробку и развел руками:

- И чай у меня кончился...
- Ничего, мы так...

– Как знаете. А Лидуша моя? Красавица, ей одеться хочется. Все мозги пропилила. А ты знаешь, сколько стоят колготки?

Артур кивал понимающе, будто не далее как сегодня утром приценивался к вагону колготок.

- Артур Янович... – начал Шурик.
- Я тебе дам – Янович! – рявкнул Артур. – Я тебе – отче!
- Это твой сын? – удивился Егор.
- Единокровный, – похвастался Артур.
- Откуда он взялся?
- От сырости, – съязвил Шурик.

– Вот-вот, – кивнул Артур, – неуважительный и жрёт как питекантроп. Всё время: папа, дай!

- Фингал ты ему поставил?
- Воспитываю...
- Да-да, – поддержал Егор, – они не понимают. Мой тоже всё время жвачки требует. Далась им эта жвачка!.. Твой тоже жвачки жуёт?
- Александр, – нахмурился Артур Яныч, – почему ты жуёшь жвачки? Я тебе сколько раз говорил – не жуй!
- Хорошо, папа, – смиренно покивал Шурик.
- Да-а...
- Во-о-от...
- Помолчали.
- Ну, мы пошли, – поднялся Артур.
- Куда же вы, посидите, – уговаривал художник.
- Нет-нет, нам пора, нас ждут.
- Папуля, – намекнул Шурик.
- Что? А-а... – Артур безнадежно махнул рукой.
- Заходите, – кисло приглашал Егор.
- Спасибо, обязательно, как-нибудь.
- Зазвонил телефон.
- Это жена, – обречённо определил художник. – Это её звонки.
- Но к телефону не пошёл. Достал с полочки какой-то листок, неуверенно вертел в руках.
- Пошли мы, – повторил Артур и жестом позвал Шурика. Тот недоумевающе поднялся.
- Послушай, Артур Янович, – художник помирал от неловкости, – тут вот есть...в общем, бумажка одна... еще с Нового года... Войди в моё пиковое положение...
- Артур взял листок, пробежал глазами и восхитительно покраснел. Шурик заглянул через плечо и прочёл вслух:
- Расписка... Сегодня, в процессе встречи нового 1994 года... торжественно и при понятых занимаю у Егора Станиславовича в сумме... ни фига себе!.. клянусь под салютом всех вождей вернуть через месяц с учётом инфляции.
- Будь я трижды проклят, – лепетал Артур. – Помнил, что какие-то деньги. А вот ты мне или я тебе... Какой пассаж!
- У меня за мастерскую два месяца не плачено, – пожаловался художник. – Вышвырнут...
- Я верну, честное благородное...
- Уже Лидке сказал, что ты деньги принёс... Представляешь?
- Представляю! – представил себе Артур.
- Пошли! – видно было, что Шурик принял какое-то решение. – Мы скоро вернёмся, Егор Станиславич. Пошли, папуля!

*Как известно, Америку выдумал пьяный Колумб,
пропивая остатки блажной королевской субсидии.
Не среди океанов, акул, каракатиц и мидий,
а в трактирах, квартирах, средь парковой благости клумб.*

Так пел Артур Янович под баянный аккомпанемент фингалистого Шурика. Дело было в подземном переходе, где-то в центре города.

*Говорят Христофорус в экстазе отчётной строки
и от страха позора всем шарики-ролики вкручивал,
и призвал корешка, того звали Америго Вспученный,
корешок нацарапал все карты, причём из башки.*

Пел Артур Янович вполне качественно. Да и Шурик неплохо владел инструментом. Дуэт выглядел по всякому счёту пристойно, хотя Артур ощущал сильнейшую неловкость, понятную для первого раза.

Прохожие останавливались и, как ни странно, бросали что-то в раскрытый баянный футляр.

*Изабелла поверила в бред промотавшихся дылд,
завещала и нам помечтать о стране эльдорадовой.
Лет пятьсот мы сидим за своею решеткой,
только слышно: Рокфеллер, Джек Лондон, Эйнштейн,
Вандербильд.*

*Специальные гады снимают про это кино,
спецдоценты штампуют фальшивки про Драйзера с Торо,
врёт ОВИР, брешет Аэрофлот, врут другие конторы,
чтоб нам было досадней, кислей, а конторам смешно.*

*Лично я дальше Кушки и Бреста бродить не мастак.
И себя ощущаю, как чью-то большую потерю.
Но в Америку фиг вам поверю, пока не проверю.
Только чувствую, в этой мистерии что-то не так...*

Артур закончил и раскланялся. Футляр ощутимо наполнился. Некоторые прохожие узнавали артиста и недоумевали, другие улыбались понимающе: допился, мол. Катуля безмолвно благодарил, прижимая ладонь к сердцу.

Шурик в артуровой паузе заиграл "Yesterday".

В сторонке собрался коллектив местных нищих, шептались о чём-то, посматривая на артистов неодобрительно. Заговорщики сгруппировались в кружок, потом из этого гнезда вылупилась дедушка на костылях, но с орденами, подковылял к Артуру.

– Возьми, артист, – протянул мятые купюры. – Хорошо поёшь, но больше не надо. Это наш переход, не ломай нам бизнес.

– А где написано, что это ваш переход? – слабо возразил Артур.

– Написать несложно. Вот этой авторучкой, – показал на костыль, – да по твоему горбу. Ты ж не полезешь драться с инвалидом войны и труда. У тебя же воспитание не то...

...В скверике подсчитали выручку:

– Ну очень смешная сумма! – рекламно пропел Шурик.

– Ёлки! – воскликнул бывший князь. – Пашешь как конь, отбиваешься от инвалидов, а всё равно по нулям!

...Выступили в другом переходе. Здесь их нищие не трогали, здесь почему-то милиция трогала нищих, а привечала, наоборот, цветочниц, которые встали рядом с выступающими, как в карауле, и враждебности не выказывали. Множественные валютчики тоже

не обращали внимания на посторонний дуэт. Шурик поразился простоте и разности нравов в помещениях одного типа, но географически разделённых сотней метров.

Однако во время песни Шурик через головы зевак и прохожих заметил в другом конце перехода интересную возню. Интеллигентного вида люди, одетые чересчур прилично для этого времени суток и для этих широт, деловито расчехляли разнообразные музыкальные инструменты, как то: виолончель, скрипку, альт, флейту и барабан. Шурик понял, что эти джентльмены собираются недвусмысленно с ними конкурировать и заволовался, даже киксанул в аккомпанементе, на что Катуля зыркнул бешено, не прекращая петь.

Конкуренты деликатно дождались конца вокала и грянули "Турецкий марш" незабвенного Вольфганга Амадея, и зеваки бросились к ним. Квнтет, разумеется, переиграл дуэт, ибо играл профессионально и качественно, а главное – громче.

Артур Янович сначала остолбенел от неожиданности, потом, оскорбившись, подбоченился и заломил бровь. Конкурирующий альт это заметил, улыбнулся виновато, продолжая виртуозно водить смычком.

Шурик покорно упаковывал баян. Тронул Артура за плечо, махнул подбородком: пошли, мол, нечего тут делать. Но Артур уже заслушался и не мог оторваться от моцартовского "Рондо", звучащего так волшебнo в гулком переходе...

Шли по улице. Вроде, целеустремлённо, но если приглядеться, то не было у них никакой цели. Устремлённость была, но бесцельная. Всё дело было в смятенности Артура, это его несло куда-то вперёд, вбок и назад, а уж Шурик плыл в кильватере, совершенно не представляя, куда их несёт.

– Умыли, умыли нас и правильно сделали, – отчаянно приговаривал Катуля. – А я-то, старый придурок, студентушку послушал! Тангейзер, понимаешь, м-менестрель!.. Позорище!

– Но почему? – недоумевал Шурик. – "Синяя блуза", театр Брехта... Мы в академии на это и жили. Вы где учились?

– Где надо! – огрызнулся Артур.

– А всё-таки? Вас что, системе Станиславского не учили, помните? Этюды на память действия, публичное одиночество и всё такое?..

– Что-что? – остановился Катуля. – Что ты сказал?

– Публичное одиночество?

Катуля застыл в недоумённом головокружении от воспоминаний.

– Знаешь, – горько сказал, – я лет двадцать не вспоминал все это. Учил, конечно, учил в Щукинском. Какие педагоги мне это толковывали!.. Потом забыл. Не нужно было.

– Как же вы без этого на сцене играли? – поразился Шурик.

– На таланте, батенька, на таланте! – осклабилсЯ Артур Яныч. – "Пусть раненый олень ревёт, а уцелевший скачет. Тот караулит, этот – спит, уж так устроен свет!"

Произнося этот шекспировский коктейль из переводов Лозин-

ского и Пастернака, Артур величественно прошёл несколько шагов и резко остановился. Вернулся к арке, под которой они поминали систему Станиславского. Недоверчиво покачал головой, ещё шагнул и опять остановился.

– Шу-рик, – задумчиво произнёс Катуля, – считай меня каким угодно идиотом, но в этом дворе лежат деньги. Много денег, Шу-рик. Просто так лежат, под листвой. Со мной бывают такие приступы... когда очень надо...

...Вооружились хворостинами и бродили по дворику, вороша листву. Шурик вёл себя, как психиатр с тяжёлобольшим: едет у человека крыша с голодухи, так лучше с ней прокатиться, чем возмражать и спорить. Побезумствует дядька, думал Шурик, и успокоится.

А Артур был возбуждён, шевелил листву веточкой, как кочергой в адском камине, и ораторствовал:

– Я не хотел тебя расстраивать, дружок, но в наших краях все дыры, которые мы с тобой готовы были заткнуть, затянулись сами собой. Кукольный театр перебрали в стриптиз-бар, там тётки голые теперь пляшут, как объяснил один величайшего ума человек. У местного телевидения нет грошей, оно только транслирует варево из Минска да Москвы. Филармония – ты видел. Знаешь, почему они Моцарта на сквозняке лабают? Да потому что их сцену заняли экстрасенсы и астрологи, гипнотизёры и колдуны... И куда двум бедным трубадурам податься?... Нет, Шурик, в переход – перебивать коммерцию порядочным людям – я больше не пойду. Я не умею "Турецкий марш" и наградами Родины на пиджаке не оскорблён, то есть мне не подо что просить подаяние... Мы с тобой, конечно же, что-нибудь придумаем, только будь любезен, пошелуди вон под той корягой, а то мне не достать.

Шурик в сердцах шваркнул хворостиной и... на свет Божий вылетел пухлый бумажник. Шурик оцепенело смотрел на это чудо во все глаза, а Артур ничуть не удивился, только выпрямился гордо: что, мол, я говорил!

– Любезный, – попросил Катуля, – не прими за труд, пересчитай выручку.

Шурик поднял бумажник, весь скользкий от природных осадков, раскрыл, зажмурился...

– Здесь много, Артур Янович!

– А именно?

Шурик разлепил мокрые липкие деньги и чуть не заплакал:

– Это русские, советские, старые... с Лениным... Эх вы!..

А Катулю это нисколько не расстроило. Он посчитал, что эксперимент прошёл успешно, а государство пусть кается, что смухлевало в этой игре.

Пухлый бумажник был низвергнут и вдавлен в землю шуриковым каблуком.

На привокзальной площади зацикленный на деньгах Шурик высмотрел вчерашнего нацмена, первым встреченного в этом городе.

– Здравствуйте, вы меня помните?

– Первый раз вижу, – отрёкся нацмен.

– Вы вчера у меня баян торговали...
– Шурик, что это значит? – воскликнул Артур Янович.
– Если торговал, то помню, – признал торговец.
– Так берёте?
– Шурик, это же средство производства! – запротестовал Катуля.
– Буржуи так не поступают!
– Это кто, э? Конкурент? – напустился нацмен.
– Не обращайтесь внимания. Берёте?
– Покажи, – согласился торговец.
Шурик раскрыл футляр:
– Могу сыграть.
– Шурик, я категорически против! – стоял на своём Артур Яныч.
– Вах, хорошо ведёшь дело, – похвалил нацмен, – грамотно. Он в доле, а?

– В доле, в доле...
– Инструмент хорош, – оценил торговец, – не заношен. Сколько просишь?
– Ни за что! – заорал Артур.
– Слушай, скажи ему... Я покупаю, успокойся, батона. Разберёмся без тебя. Отойдём?

Шурик с нацменом отошли. Артур потянулся за ними, но его остановили двое – люди нацмена:

– Погоди, дорогой, давай покурим, поговорим.
– Я не курю...
– Молодец, слушай! Мужчина!
– Шурик! – заскучал Артур Янович.
– Иду! – откликнулся Шура, возвращаясь с пачкой денег. – Пойдёмте, Артур Янович!
– Вот теперь – до свиданья, – сказали Артуру люди нацмена и за его спиной кому-то просемафорили.
– Шурик, я шокирован! – простонал Артур Яныч. – Как ты мог? Не посоветовался...

И тут из-под земли вырос милицейский патруль, который как магнитом притягивал артиста Катуля А.Я.

– Стоять! Незаконная торговля преследуется по закону!
– Почему – незаконная? – спросил Шурик.
– Распоряжением горсовета на привокзальной площади торговать с рук запрещено. Пройдёмте!

Шурик оглянулся. Нацмены стояли на месте, удирать не собирались, а совсем наоборот, с интересом наблюдали происходящее.
– Пройдёмте, пройдёмте!

Их повели в знакомое до омерзения здание вокзала.
– И что будет? – спросил Катуля.
– Составим протокол – там поглядим, – толково объяснили.
Вошли в дежурную часть.
– Смотри-ка, артист вчерашний! – воскликнул дежурный. – За чемоданом пришёл?

– Никак нет, товарищ капитан. Эти двое на привокзальной площади нарушали.

– Да он, вроде, трезвый сегодня.

- Занимались незаконной торговлей.
- Как же так? – возрился капитан. – Артист, работник культуры, понимаешь, и – торговать! Чем торговал?
- Продавал баян, товарищ капитан. В кобуре.
- Так-так...
- Катуля наконец собрался с мыслями:
- Вы чемодан мой отыскиали? Вы собственность мою нашли? Вы сохранили мои имущественные права?
- Ищем, – откликнулся капитан.
- Я вижу! Вы честных людей хватаете, а не жуликов! Человек, *артист* – любимый баян продал, чтобы поест, а вы его за жопу и в конверт?
- Тихо, артист, тихо!
- Чемодан нашли? – продолжал базарить Катуля.
- Ищем.
- До свидания!
- Счастливенько! – автоматически ответил капитан.
- Артур взял Шурика за руку и быстрым шагом вывел из дежурки.
- Жаль, товарищ капитан, – сказал тот, кто их привёл. – Баян нынче тоже дорого стоит.
- Хрен с ними! А ты смотри, к кому с грабежом подъезжать! Изучай психологию!.. Иди, работай, рэкетиры!
- Обижаете, начальник! – отшутился мент.

Перед ошалевшим от счастья Егором Станиславовичем был поставлен на стол баул и началась выгрузка денег.

Вы думаете, их выгружали наши герои? Увы!..

– Извините, Егор Станиславович, за задержку, но это не от нас зависело, – говорил респектабельный кассир. – Мы ценим ваш труд и прибавили к оговоренной сумме за моральные, так сказать, издержки. Здесь двенадцать миллионов, распишитесь, пожалуйста.

На столе выросла гора денег. Рядом кассир выставил из баула ещё и очаровательную бутылку французского коньяка.

Художник хоть и офонарел, но сообразительности не утратил, и тут же бухнул на стол две рюмашки. ловко открыл коньяк, разлил дрожащей рукой, но выпить они не успели, потому что кто-то поскрёбся в дверь. Художник как был – с рюмкой в руке помчался открывать.

– Это мы, Егорушка, – сообщил Артур, входя вместе с Шурой и тут же замолчал, разглядев происходящее. Сползла улыбка и с наивного Шурика, держащего в вытянутой руке пачечку "зайчиков", перевязанную для форсу ленточкой с бантиком.

Артур смотрел на деньги, на Шуру, на Егора, на кассира...

Художник основательно смутился:

– Ребята, милые!.. Это только что... Это вот заказчик...

Артур угрюмо молчал.

– Скажите, пожалуйста, – в тишине ляпнул Шурик, – а коньяк вы тоже без сахара пьёте?..

– Прошу вас, – засуетился Егор, – угощайтесь, присаживайтесь!

– Благодарим, – высокомерно заявил Артур. – Единственное,

что ты можешь для нас сделать – вернуть мою расписку.

– Вот что, братцы, – отряхнулся от неловкости Егор, – вот вам расписка и заберите ваши деньги. Радость у меня, понимаете, пропащий заказчик объявился! Слёзы принёс... заячи! А вы – какие молодцы! Где только взяли? И пяти часов не прошло!

– То есть, – всё так же высокомерно процедил Артур, – ты хочешь сказать, что прощаешь мне долг?

– Конечно, Артур, конечно! И прости меня, что вообще завёл разговор...

Кассир потягивал коньяк и с интересом наблюдал эту нелепую сцену.

– Видишь, сынок, как между нами, миллионерами, принято? – усмехнулся Катуля. – Благодарствуйте, Егор Станиславич! Пошли, Шурик, нам тут хорошо подали. Прощай, Егор, скажи только, где у тебя чёрный ход? Не пристало нищим менестрелям через парадный перетяся...

Шли через двор к гаражу. Уже стемнело, поэтому шли медленно, натыкаясь на деревья и песочницы. Из всех окон были слышны разнообразные программы ТВ, посторонняя музыка и даже живой смех.

– А знаешь, Шура, зря я Егора обидел. Кажется, всё так и было, как он сказал. Ждал он, ждал, устал ждать, нас на подвиги зарядил, мы достали... А деньги как рыба – косяком идут. Если б мы с тобой денег ему не накланчили, и этих миллионов бы не было. Поверь опытному человеку. Теперь и нам с тобой повезёт, раз он долг мне простил. Увидишь, завтра будет день чудес.

– Артур Янович, вы когда-нибудь расскажете мне, как вы проделали эту хохму с бумажником?

– Шурик, ты думаешь, я всё подстроил?

– Конечно.

– Устроил такое изощрённое издевательство с ископаемыми бумажками?

– Да, Артур Янович.

– Шурик, не грузи на меня больше, чем я есть.

– Это как?

– Пример из жизни патрициев. Я думал, ты наивный чистый лопух, на каких в рай въезжают. Понимаешь?

– Ага.

– А ты, оказывается, фрукт порядочный. Ехи-идный! Как ты Егору про сахар с коньяком ввернул!

– Противно очень стало.

– Вот-вот! Я думал – ты хороший человек. Нагрузил на тебя своё о тебе представление. А ты оказался хорошим только, когда тебе не противно. А это совсем-совсем другое. Понял?

– Нет, – признался Шурик. – Мне всегда говорили, что я тугодум.

Возле гаража неприкаянно белел "запорожец".

– Ёлки! – воскликнул Артур. – Мы ж его заперли!

Шурик шагнул к воротам:

- Артур Янович, тут замок новый! И бумажка какая-то.
- Пломбы нет?
- Нет пломбы. А зачем?
- Про пломбу ещё узнаешь, не дай Бог! Давай записку.
- Не видно, я машину открою.

Залезли внутрь, включили свет. И Артур прочёл, с трудом в полутьме разбирая слова:

"Артур! Сегодня свершилось моё падение. Человек слаб, особенно когда ему обещают блаженство на Земле. Предал я нашу дружбу и сдал гараж за баксы. За много долларов, Артур, сдал я эту будку. Будь я проклят! Поминай меня каким угодно лихом, но прошу тебя: отгони свою колымагу в любой другой двор, потому что смотреть на неё мне горько и стыдно, раз оказался я мелким гадом. Помилосердствуй, Артур, и катись к едрене-фене. Твой бывший друг..."

Спрятал бумажку в карман:

- Я сохраню этот пронзительнейшей силы документ.
- Отдайте мне, – попросил Шурик.
- Зачем?
- Я его перечитывать буду. Воспитательный момент.
- Лучше вытатуируй его на заднице задом наперёд и перечитай в зеркале!

Похихикали. Потом помолчали.

- Артур Яныч!
- Аиньки?
- У вас ещё остались долги в этом городе?
- Нет. Я ему прощаю все свои долги.
- А он вам дорог?
- Такой же, как все остальные. Я в жизни сменил штук пятнадцать таких городов... Ты имеешь в виду?..
- На бензин у нас теперь хватит.
- А куда? – задумался Артур.
- У меня мама в Минске. А у вас?
- У меня уже давно никого нет... И после сегодняшнего вокала мне теперь ничто не слишком. Ничто не слишком. Делай со мной, что хочешь. Только в тюрьму не сажай. Чти Уголовный кодекс.
- Слушаюсь, сэнсэй, – откликнулся Шурик.

Они рассмеялись по неизвестной причине, как могут смеяться только совершенно свободные люди.

"Запорожец" завёлся, зажёг фары и поехал.

Рита Бальмина

ОТВЕТ КОРОЧЕ КОРОМЫСЛА

* * *

Писчая жизни, измаранная понапрасну,
По электронной почте играет в ящик
С адресами друзей хороших и разных
В полном отсутствии настоящих.
Это итоги моих сорока с лишним:
Волею Божьей, переселенцы мы,
Знаем: хандрить на Востоке Ближнем
Лучше, чем небо коптить в Освенциме.
Ни кола, ни двора, за душой ни копейки.
Зеркало выглядит средоточьем
Сточного возраста. За меня допей-ка
Чашу дерьма, наш Небесный Отчим.
Дай мне силы жить тяжело и грешно,
Груз моих забот умножая втрое,
Дай увидеть мир твой кромешный, внешний –
Он, как внутренний, мой, для руин построен.
Жизнь закинута вновь перелетным клином.
Я перо уроню не в своей отчизне.
Творческий путь показался длинным:
Дольше успеха в творческой жизни.
А что до жизни личной – то оказалась лишней.
Мама! Вроди-ка меня обратно.
В ту же дыру пусть идет Всевышний
Ныне и присно. И безвозвратно.

ПАМЯТИ ДЕДА

Одесский дворик делался все скотней,
Полста зеленых пахли черной сотней,
И Бенин крик: "Отказ, опять отказ!"
В сугробе за оградами увяз.
Там рыли яму Сарре и Абраму,
А их анекдотическую маму
В гробу переворачивали матом
Старатели, подобные приматам.
Мой дед от ритуального обряда

Мой дед от ритуального обряда
Отгородился ледяной оградой,
Стандартным плоским памятником стал,
И памяти мутнеющий кристалл,
Его лицо вогнав заподлицо
В мир мрамора – овальное кольцо, –
Стал острием резца в костистой кисти
На звездном кладбище шестиконечных истин.

МОЙ ФРЕЙД

1

Мой Фрейд в коротеньких штанишках
Крадется темным коридором,
Взбирается по грязным шторам
В клоповник пожелтевшей книжки,
Но он вампир иного типа –
Питается родильной кровью.
Любовью мать его Эдипа
Не занимайся со свекровью,
Чтоб не разрушить крупный комплекс
Пустых окаменелых страхов.
Грызи сухой науки "корнфлекс",
Себя учением затравав.

2

Дитя, не корчи из себя осла,
Не огорчай родителей, дитя,
Докушай кашу манную, кряхтя,
Из общего котла природы зла.
Природа зла, но общество гуманно,
Пока на дне небес густеет манна,
Которая один народ спасла
В одной из глав бессмертного романа.

3

Женщина женьшеневого свойства
Коренится на квадратной кухне
В степени немого беспокойства –
Но под приступом сердечным рухнет.
И отваром, горевым укором
Захлебнутся чада-домочадцы,
Зарывая в отчей мертвый корень,
Чтобы в чужедальнюю умчаться.

4

Мир сузился и точностью зрачка
Отфокусировался в болевую точку.
Привет от волчьей ягоды цветочку
С могилы безымянного сверчка.

5

И я глотала чачу нищеты,
Пока в полупустынных Палестинах
Лепила идолов из пластилина,
Строгала им сосновые кресты.
А ты глотал очередной язык,
И полиглотом – о насущном хлебе –
Переводил на варварский молебен
Мелодии божественных музык.
Но не форси затверженным фарси,
Подстрочный перевод не очень точен.
По-русски это значит – "Аве-отчим!
Чачу эту мимо пронеси!"

* * *

Застыв, как на случайном снимке,
В обнимку у окна стоим.
Я – с выраженьем пилигримки,
Ты – с неприкаяньем своим.
Нам мягко стелет Палестина
Дорогу, по которой встарь
Бастарда обмотав холстиной,
Брела усталая Агарь.
Горят огни в прибрежном Яффо,
Полуночный прибой похож
На бой Давида с Голиафом.
Мечеть вонзает ржавый нож
В баранью тучу на закланье
По вычурную рукоять.
И клики чудятся бакланьи,
Бакланий голод утолять
Вприглядку будем лунной питой.
Ущербный бок ее разверст
На скатерти небес, покрытой
Просыпавшейся солью звезд.
Пусть эта соль глаза мне выест
В геометрическом краю,
Который вряд ли воспою,
Куда не за горами выезд.

* * *

Мы не сидели в одном окопе
И не лежали в одной постели,
Просто на дьявольском автостопе
Божьими искрами пролетели.

Мы пролетели над Тель-Авивом,
Над средиземной соленой лужей,
Над геометрией неуклюжей
Улочек в гомоне хлопотливом.

Над многоточьем торговых точек,
По траектории "жизнь кривая"
Мы пролетели, не выбривая
Крыш плоскодонных с рядами бочек.

Мы пролетели, и стало ясно,
Что не ходили с эпохой в ногу,
А исходили строкой напрасной.
Нас не заметили, слава Богу.

* * *

Н. Д.

Фашистка нежная, душистая Психея!
Дыханием Дахау из баллона
Вторгаетесь в безвинную трахею
Без реверанса, книксена, поклона,
Без приглашенья... Офигели, фея?
Увеча вечный свой овечий имидж,
Шизофренией, паранойей вея,
Чтоб от возмездья прикрываться ими ж.
Графиня, мне приснились Ваши зубы –
Клыки, – и ногти в хищности когтей.
Вы, встав на четвереньки, грубо
Кромсали чувства собственных детей
И их отцов.

С джокондовой улыбкой
Классической пейзажки от Пуссена
В парах шекспирово-вампирной сцены
Туда ползете анакондой гибкой,
Где в письменно-лесбийском менюэте
Нас ненависть приблизила вплотную.
Я к Вам свои анапесты ревную.
Мне с Вами тесно на одной планете.

* * *

Мы повстречаемся по долгу служб
В роскошном Вашем кабинете:
Финал альянса будет незаметен
Коллегам и немного неуклюж.
Там, где не жаль ни денег, ни сирот,
А зеркала ведут себя по-свински,
Мой перемазанный помадой рот
Привет Вам шлет от Моники Левински.

КАВАЛЕРГАРД

Его усы нежнее фетра,
Он не зациклен ни на ком,
Ему под кедром запах ветра
В таежных дебрях незнаком.
Пока кавалергарду снится
Альбома свежая страница
И наглый африканец Пушкин,
И что в казаческой станице
Определили на постой
К смешливой вдовушке-толстушке...
Но сны беременны подушкой
И разродятся пустотой.

* * *

Полночный бог, моя молитва
У горла твоего, как бритва,
Она опасна и остра.
Луна мне сводная сестра,
На своды потолка, на стены
Она бросает тени тлена.
Моя небесная родня
В сомнамбулы зовет меня.
Ее ущерб едва заметен.
Протуберанцы звездных сплетен
Падучие, как кирпичи,
Ее преследуют в ночи,
Пока она по звездным стеклам
Льет голубое молоко
Туда, где тучам полудохлым
Ползти по небу нелегко,
Чтоб заиграли в лунном свете,
Как мудрые седые дети,

Которых лунный свет хранит
От плит полночных панихид.
Я выключу, поскольку поздно,
Свет лунный, облачный и звездный.
Полночный бог, храни меня
От песен солнечного дня.

* * *

День расплавляется у ног,
Тягуч и влажен.
Я забреду на огонек
Горящих скважин.
И вырвусь из дневных оков
И круговерти.
Наручники для дураков
К запястьям смерти
Прикованы не для затей.
Пресытась пайкой пестицидов
И нерожанием детей,
Как высшей формой суицида,
Я буду идолов лепить,
Пренебрегая лженаукой.
Меня уже не утопить
В крови моих любимых внуков.

ПОМИНАЛЬНОЕ РОНДО

...И ничего не изменилось в мире:
Все тот же пыльный пальмовый пейзаж...
Куда б душа не совершала хадж,
Молчанием ее покой уважь,
Оставив запоздалый панегирик.

Она была живой, тянулась к лире,
Была стаффажем книжных распродаж.
Но книжной жизни опустел стеллаж –
И ничего не изменилось в Ире.

В чужом углу, а не в прямом эфире,
Отматывая неурядиц стаж
И отжимая перегара гири,
Куражилась, когда входила в раж, –
Но растворилась тише, чем мираж.
И ничего не изменилось в мире...

* * *

В начале июня возле Ган а-ира,
Где на марьяжных куклах кружева,
Я встретила знакомых. "Как там Ира?" –
Спросили. Я ответила: "Жива".

Что солгала, узнала через месяц:
Сквозь зуммер и помех колокола
Мне голосом чужим прокаркал месидж,
Что месяц, как Ирина умерла.

А в память лезет лишнее, пустое,
Осколки скользких, колющих обид,
Порочных дружб непрочные устои,
Страстей самоубийственный кульбит.

Кольцо из несерьезного металла,
Немодные курьезные очки
И ритм стихов, которые читала...
Сейчас уже не помню ни строки.

* * *

Последний сон, ты не из ада ль?
В гроб оцинкована кровать.
Слетелись ангелы на пададь
Зрачков осколки поклевать.
Они поужинают зреньем –
Прозрев к утру.
Подавятся стихотвореньем,
Когда умру.

* * *

Северян рисует лед,
А южан рисует пот.
Пóтом кисти коснусь воды,
Акварели растают льды.
Обложите мне душу льдом.
Загоняет меня в дурдом
Этот июнь, а быть может, июль.
Ни микстур тебе, ни пилюль,
Ни покрышки тебе, ни дна.
Лишь жирует жара одна.

* * *

Крамольные поэмы
Окончены до срока.
Они глухи и немые,
А мужество пророка
Оборвалось на слове...
И, как в печальной сказке,
Все дружбы и любви,
Мечтая о развязке,
Сыграли non finita.
Их дальше не прожить
В кольце из эбонита
По-беличьи кружить –
Крушить, колесоваться,
В пророки не соваться.

* * *

О, Рамат-Авив
Ароматных фиф,
Где научный дух,
Как фурункул вспух,
Где ученья свет –
Университет
К вечеру погас;
Круглолобый класс,
Презирая нас,
Впал в глухой снобизм
У чугунных призм,
Чей крутой дизайн
Оставляет след...
А профессор Зайн
Протянул минет,
Словно бутерброд,
Аспирантке Бэт
В двуязычный рот.

* * *

Кривая, узкая она –
Строка ворованного смысла –
Веревкой порванной повисла
На верткой шее хвастуна.
Ужели казнь отменена?
Ответ короче коромысла:

Остатки смысла мышь погрызла.
Просты повадки грызуна.
А время разметало клочья.
Бессонной суицидной ночью
Глядишь без зрения и света,
И нечего отдать в печать.
Обрывки можно завещать
Творцу Новейшего Завета.

* * *

Откупори бутылку, вырви пробку,
Налей и мне дешевого вина,
И не гляди так жалобно и робко,
Мои потери – не твоя вина.

Стрелявшим влет знаком унылый прочерк,
Чтоб целиться – глаза уже не те.
Нам промахи прощальные пророчит
Печальный клин в осенней пустоте.

Так выпьем, брат, до чертиков, до дури,
И окрыленно полетим домой.
Зажаренной, ошипанной культуре
Не пересилить этот путь хромой.

* * *

От чувства стада и стыда
Не так-то просто откреститься.
Мы стая, мы степные птицы,
Нас страх и страсть влекли сюда.
Сюда, где тесно на земле
И не подать рукой до неба,
Где крохи черствого не-хлеба –
Нули и дыры от бублей,
Сомкнутых, словно наши дни,
Унылых, словно наши песни.
А к небу не взлететь, хоть тресни,
Хоть дырку в голове проткни.

Этгар Керет

УБИТЬ СВИНУ!

Папа не захотел купить мне куклу Барта Симпсона. Нет, мама как раз хотела, но папа не согласился. Он сказал, что я и так избалованный ребенок.

— И с какой стати мы будем ему покупать Симпсона, — сказал он маме, — стоит ребенку пискнуть, и ты перед ним навытяжку стоишь. Еще папа сказал, что я не умею ценить деньги и если я не научусь этому сейчас, то когда же? Дети, которым запросто покупают Бартов Симпсонов, вырастают хулиганами, которые грабят киоски, потому что они привыкли, что все, что они хотят, они тут же получают.

Вот. Так вместо Симпсона он купил мне глиняного поросенка с прорезью в спине.

Значит, теперь со мной все в порядке, и я уже не буду хулиганом. Вот.

И теперь я каждое утро должен выпивать стакан "Шоко", который я терпеть не могу. За стакан "Шоко" с пенкой (бр-р-р!) я получаю шекель, а без пенки — полтинник. Но если меня сразу после этого стошнит, так я не получаю ничего. И честно заработанные тяжким трудом деньги я опускаю в поросенка, и когда его встряхнешь, он грохочет. А когда в поросенке будет столько денег, что он перестанет грохотать, я получу Барта на скейтборде. Это воспитательно, папа сказал.

Мой Свин очень симпатичный. У него холодный пяточок, и когда опускаешь в него денежку, он улыбается. Но классно, что он улыбается и бесплатно. Я называл его Песахзоном, по имени человека, который жил в нашем почтовом ящике, и папа никак не мог снять с него наклейку. Песахзон вовсе не похож на другие мои игрушки — он гораздо спокойней, безо всяких огоньков, пружинок и батареек, которые там внутри протекают. За ним только нужно смотреть, чтобы он со стола не прыгнул.

— Песахзон, осторожней, ты же глиняный, — говорю я ему, когда вижу, что он стоит у края стола и смотрит вниз; а он улыбается и ждет, чтобы я его взял на руки.

Вот. Я просто балдею, когда он улыбается, — только ради этого я выпиваю каждое утро "Шоко" с пенкой — чтобы дать ему еще шекель и увидеть, как он улыбается. Я тебя люблю, Песахзончик, больше, чем папу и маму. И я тебя всегда буду любить. Даже если буду грабить киоски. Если ты прыгнешь со стола, ты мне больше не друг.

А вчера папа поднял Песахзона, стал трясти его изо всех сил.

— От этого у него болит животик! — сказал я.

– Он уже не гремит. Ты знаешь, что это значит, сынок? Это значит, что завтра ты получишь своего Симпсона на скейтборде.

– Ладно, папа, только перестань трясти Песахзона, он же себя плохо чувствует из-за этого.

Папа поставил Песахзона и пошел звать маму. Через минуту он вернулся – одной рукой он тащил маму, а в другой держал молоток.

– Ты видишь, Ривка, я был прав. Так ребенок научится ценить вещи. Правда, Йоав?

– Конечно, правда, но причем здесь молоток?

– Это тебе, – папа вложил молоток мне в руку. – Только осторожней.

– Конечно, осторожней, но при чем здесь молоток?

Я был очень осторожен. Через несколько минут папе надоело, и он сказал:

– Ну, разбей уже свою свинью!

– Песахзона?!

– Ну да. Разбей его. Тебе положен Симпсон, ты его честно работал.

У Песахзона была грустная улыбка Свина, который понимал, что его конец близок. Да пошел к черту этот Симпсон, если я ради него должен разбить голову лучшему другу!

Я вернул папе молоток:

– Не нужен мне никакой Симпсон.

– Ты не понимаешь, все нормально, это воспитательный процесс. Давай я расколочу это для тебя.

Папа уже занес молоток. У мамы были испуганные глаза, а Песахзон смотрел на меня с надеждой – если я его не спасу, ему конец. Я вцепился папе в ногу, его рука с молотком осталась висеть в воздухе:

– Я хочу добавить еще шекель. До завтра. После "Шоко". И тогда уже разобьем. Честное слово.

– Еще шекель? – улыбнулся папа и положил молоток: – Ты видишь, я развил у ребенка сознательность.

– Сознательность, конечно сознательность. Завтра.

У меня в горле слезы стояли.

Когда они вышли из комнаты, я обнял моего Песахзончика сильно-сильно и слезы сами у меня потекли. Песахзон ничего не сказал, только дрожал всем тельцем у меня на руках.

– Не волнуйся, – прошептал я ему, – я тебя спасу.

Я ждал, пока папа закончит смотреть телек и пойдет спать.

Я тихонько перелез вместе с Песахзоном через окно.

Мы долго шли в темноте, пока не пришли в поле с колючками.

– Свины умирают в полях. В полях с колючками, – сказал я Песахзону и опустил его на землю, – тебе здесь будет хорошо.

Я ждал, но он ничего не ответил. На прощанье я потрогал его за нос, и он грустно посмотрел на меня.

Он знал, что больше меня не увидит.

Никогда.

ВЗВЕДЕН И НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ

Араб стоял на перекрестке в десяти метрах от меня, с лицом, покрытым кувейдом, делал оскорбительные жесты и кричал "Голани – пидор!" с тяжелым арабским акцентом:

– Как дела, Голани*? Твой рыжий лейтенант вчера не сильно трахал тебя в задницу? У тебя уже нету сил меня догнать? – Он расстегнул штаны и достал член: – Ну что, мой член недостаточно хорош для тебя? А для твоей сестры? А для твоей матери? А для твоего друга Абутбуля? Как его дела? Он себя хорошо чувствует? Нужно вызвать вертолет, чтобы его забрать. Как он за мной бежал! Пол-улицы пробежал, а потом выдохся. И его башка раскололась, как арбуз.

Я скидываю автомат на плечо, целюсь в него.

– Стреляй, пидор, – он распахивает рубашку и показывает на свое сердце, – сюда стреляй, ну!

Я снимаю предохранитель и задерживаю дыхание, как положено перед выстрелом. Он ждет минуту, его рука на паху. Он выглядит безразличным. Его сердце там, под кожей и ребрами. Он как раз у меня на прицеле.

– Ты в жизни не выстрелишь, трус. Ты думаешь, что, если ты выстрелишь, твой рыжий лейтенант перестанет трахать тебя в задницу?

Я опускаю ствол. Он делает непристойные движения:

– Ну, ладно, я пошел. Пидор. Встретимся завтра. Когда ты завтра дежуришь? С десяти до двух? Я приду.

Он повернулся и пошел в один из переулков, но вдруг остановился и ухмыльнулся:

– Передай Абутбулю привет от ХАМАСа, мы просим прощения за каменный блок, который свалился ему на голову.

Я быстро скидываю автомат и беру араба на прицел. Рубашку он уже застегнул, но его сердце все еще мое. И вдруг кто-то сильно толкает меня сзади. Я падаю в песок и вижу над собой лейтенанта Эли:

– Ты что, Крамер, с ума сошел? Что ты стоишь здесь с автоматом навскидку как идиот? Это что тебе – дикий Запад, где можно запросто пулять в кого угодно?

– Да я вообще не хотел стрелять, я только хотел его попугать.

– Попугать? – Эли хватается меня за ремень бронежилета. – Так расскажи ему сказку про джинна. А ты же направляешь на него ствол, и предохранитель у тебя снят!

Эли отвешивает мне оплеуху.

– Эй, твой рыжий тебя сегодня не будет трахать, – слышу я, – рыжий, влепи ему еще одну от меня!

– Ты должен научиться не обращать на это внимания, – пропыхтел Эли, стоя надо мною, – ты слышишь, Крамер, – он пере-

* "Голани" – элитная боевая часть Армии Обороны Израиля.

шел на угрожающий шепот, – ты должен научиться относиться к этому спокойно. Если я еще раз увижу тебя вытворяющим такие фокусы, я лично позабочусь, чтобы ты пошел под суд.

Ночью кто-то позвонил из больницы и сказал, что операция прошла не очень удачно и что Джеки Абутбуль останется на всю жизнь полностью парализованным и будет вести бессознательный образ жизни, как растение.

– Главное, что мы должны научиться класть на них, – сказал я Эли, – будем класть на них, как Джеки.

– Оставь свой выпендрей, Крамер, – сказал Эли, – ты думаешь, что меня не волнует, что произошло с Абутбулем? Он был и моим другом – не только твоим. Ты думаешь, что мне не хочется взять сейчас джип и прочесать дом за домом, выволочь их на улицу и вклеить каждому пулю в голову? Но если я это сделаю, я буду выглядеть так же, как ты. Понимаешь? Нет, ты ничего не понимаешь.

А я-то вдруг начал понимать – гораздо лучше него.

...Араб стоял посреди улицы в десяти метрах от меня с лицом, закутанным куфией: "Привет, пидор!"

– Доброе утро, – процедил я.

– Как дела у Абутбуля, пидор? Ты передал ему привет от ХА-МАСа?

Я снял бронежилет и бросил его на землю. Снял каску.

– Пидор, у тебя что, мозги вылезли после того, как тебя рыжий оттрахал?

Я разрываю санпакет и обвязываю бинтом все лицо, оставляя лишь щели для глаз. Беру автомат. Проверяю, все ли на месте. Беру двумя руками за ствол и вращаю над головой. И вдруг бросаю в него. Автомат летит и падает посередине между нами. Теперь я – как он. Теперь и у меня есть шанс победить.

– Это тебе, – кричу я.

Он растерян. Но бежит к автомату. Я бегу ему навстречу. Он успевает первым. Но я одержу победу, ведь сейчас я – как он. А он с автоматом – как я. Пусть его мать и сестра трахается с евреями, пусть его друзья попадают в больницу и превращаются в растения.

Он стоит напротив, как пидор, с автоматом и ничего не может сделать. Как я могу проиграть?

Он поднимает автомат. Я в пяти метрах от него. Он отпускает предохранитель, целится в меня и нажимает на спуск. И лишь тогда до него доходит то, что я выяснил в последний месяц: этот автомат – дерьмо. Три с половиной кило лишнего железа. С ним ничего невозможно сделать. Я подхожу к нему раньше, чем он успевает выпрямиться, и даю ему в морду. Он падает. Я подымаю его за волосы и срываю с него куфию. Его лицо напротив моего. Я изо всей силы бью его мордой о бетонный столб. Раз, второй, третий. Посмотрим, как его рыжий трахнет его в задницу.

Петр Межурицкий

ЭПОХА КАБАРЕ

* * *

Пусть свет, который сам пузырь,
Пускает пузыри –
Ночь хороша и вкось, и вширь
До самой до зари.
И пусть, как шапки на ворах,
Горят огни реклам –
Ночь хороша и в пух, и в прах
По всем своим углам,
Где балом правит дребедень
И зла не превозмочь –
Ночь хороша, и плох тот день,
Когда не в радость ночь.

ПРЕЧИСТАЯ БАЛЛАДА

Он был обладатель приза
За лучшую роль-анфас,
Ее звали Мона Лиза,
Как мало кого из нас.

И вплоть до ее финала –
Таков уж ее финал –
Она его тайно знала,
А он ее знать не знал.

Он умер спустя три года,
Став людям еще родней,
Кумир всех слоев народа,
Чего не скажу о ней.

И если любовь от Бога,
Что впрямь исключает грязь, –
Не будем судить их строго
За столь непростую связь.

ГИПЕРБОРЕИ

Нет, не шальная лотерея,
Скорее Ариадны нить –
Сперва на щит поднять еврея,
Затем, как надо, опустить,
Чтобы в мистериях условных
Всем сердцем, а не головой
Додуматься до жертв бескровных
И до любви неполовой –
И в городах белее снега,
На этот раз наверняка
Все, что не так, исправит нег
Очередного ледника.

КУПЛЕТЫ

«поэзия должна быть умновата»
частное мнение

поп-эзия эпохи кабаре,
неплохо бы пристроиться в каре
соединенных вечным страхом штатов,
откуда глядя, та еще попса
созвездие, считай любого, Пса
на почве просвещенных эмиратов.

а почва, разумеется – пески,
в припадке Боговедческой тоски
при всем народе названные медом, –
короче говоря, земля не рай,
каким дерьмом ее ни удобряй,
молясь харизматическим погодам.

да и самую погоду гонят здесь,
чем очень озадачен прочий весь
род людской, и остается в силе
история, как местный житель бес-
следно, но воистину воскрес,
иначе бы зачем его убили?

иначе бы, зачем не убивать?
ночь-улица, фонарь-диванковать,
и многие дела смешались втуне,
но все еще толпится у дверей
постэсхатологический еврей
постантисемитизма накануне.

и мне ясна куплетов данных соль:
поэзия не делится на ноль,
народ не возбуждается бесплатно,
Мессия, когда явится, придет,
и только отчего земля не мед
не до конца как следует понятно.

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ В ПУСТЫНЕ НЕГЕВ

В часы урочные ночные,
Когда рукой до звезд подать,
Пророчат ангелы ручные
И глазки строит благодать.

И снова всяческие шашни,
Презрев естественный мандраж,
Заводит с ней декор вчерашний –
Весь этот вечный антураж.

* * *

Дело не в попутном ветре,
Но в свободе поводка:
Хорошо в торговом центре
Небольшого городка,
Где, являя бредни басен,
Изобилья хлещет рог,
И нисколько не опасен
Для здоровья встречных Бог –
Утром встанешь в полшестого
И опять пойдешь под кнут
Ради века золотого,
То бишь нескольких минут.

АМНЕЗИЯ

Хоть встречаемся реже,
Только сцена все та же,
И на сцене все те же,
Несмотря на пропажи.
Бунтовать бесполезно,
Корча, пусть даже лица –
Тут ни вовсе исчезнуть,
Ни всюю появиться,

Даже выпасть в осадок
Не сподобишься сам –
Если это порядок,
То законных сто грамм
Примешь с горя на этом,
То бишь Леты, на том,
Поменяешься светом
Со своим двойником,
Разучив упражненье,
Неприменно дойдешь
До синдрома забвенья,
Чем и станешь хорош,
Точно муха на торте,
Вся уже из него,
По ту сторону черте
Бог весть знает чего.

* * *

Ресторанных музыкантов
Обожают повсеместно,
Лошадь ходит на пуантах –
Это тоже всем известно.

Тот доволен урожаем,
Этот рад хоть миражу –
Что же я не обожаем,
На пуантах не хожу?

ИСПОВЕДЬ

Татаро-монгольское иго
Шутя исполняло бюджет,
Но жидомасонская лига
Внезапно вмешалась в сюжет.
Овец ли тощуют отары,
Колеса ль скрипят на оси –
Во всем виноваты татары –
Считают с тех пор на Руси.
Из внешне приличного люда,
Лишь тему подкинь, так и прет –
Уже и не вспомнишь откуда
Чему научился народ.
Его приглашали на нары
И жгли просвещения лучом,

А он: «Виноваты татары!»,
И хоть подавись калачом.
Хоть верь, как младенцы и старцы,
Что будто ни свет, ни заря
Татары на деньги германцев
Едва не споили царя.
Что жены начальства – татарки
На радость заезжих портних,
А в городе сплошь иномарки,
И страшно проведать, кто в них.
А в них неизменные горцы
Решают, когда в свете смут
Страну посетят миротворцы,
И чем правдолюбцы дожмут.
Вот так при посредстве Кобзона
В идейном родстве с Ильичом
Подставили жидомасоны
Татар, что вообще ни при чем.

ПРОБУЖДЕНИЕ

О святости, умри, не скажешь проще:
"Как хороши, как свежи были мощи!.. "

Ах, Моцарт, вновь твоя музыка
Меня порадовала дико,
Ввела в хронический экстаз –
Ты крест на творческой карьере:
Тебя готов убить Сальери,
Чтоб не сказать любой из нас.

"Спас на крови и кровь на Спасе –
Апостол Павел дяде Васе
Послание шлет и благодать –
Все, дядя Вася, в Божьей воле,
Я Вас люблю, чего же боле,
Что я могу еще послать?"

Плывет паром "Одесса–Варна",
В умах идеи бродят парно,
А Волга – русская река,
Белеет парус идиотский,
В опале Пушкин, он же Бродский –
Дела кислей, чем ДНК.

В себе изверились морозы,
Покрылся зеленью погост,
Читатель ждет нетленной прозы –
Ну что ж, держи ее за хвост.

Нашел дед листовку, а прочитать не может. О, Боже! Пошел дед к царю и говорит: "Паразит, что ж ты народ грамоте не учишь? Шутишь?". А царь деда не замечает и как бы в сторону отвечает: "Я и сам грамоте не ученый, как червь копченный, – что червя Альфа и что Омега? Как говорил Соломон-коллега: "Во многих грамоте многие враки, а мертвый лев ничуть не лучше живой собаки". Но не послушался дед царя, а зря. И вот как-то повстречалась ему живая собака, и призадумался дед: "Однако, чем же она, в самом деле, ничуть не хуже мертвого льва?". Молва повествует, что бедный дед задумался явно себе во вред, потому что неподалеку, в тени дерев, как раз обнаружился мертвый лев. Дед как его увидел, так сразу с ума и спятил, решил, что не дед он вовсе, а дятел, долбил три недели кору баобаба, и от него ушла баба. Сидит дед без бабы один в дупле почти все время навеселе, то в ус не дует, то корчит рожи, и, конечно, ни о чем, кроме бабы, думать не может. Так, собственно, и прошла его жизнь земная, после чего я и сам не знаю, но думаю, что посмертные наши личины сильно зависят от дня кончины. Скажем, кто умер под знаком Стрельца, не быть тому Овеном после конца.

Конец! И если не сначала,
С чего прикажете начать?
Тем более пора кончать,
В том смысле, что перо устало, –
Как отговорка ни стара,
Но друг мой, Постум, и без Рима
Проходят эти номера,
Что лишь любовью объяснимо.

Итак, в начале были ноты,
С тех пор на всех хватает нот,
Ах, друг мой, Постум, или кто ты,
Маэстро, сочини компот

Такой, чтоб рвался из удил,
Чтоб самовозгоралась спичка,
Чтоб дедка репку посадил,
Чтоб курочка снесла яичко,
Чтоб наконец нажрался волк,
А овцы записались в полк.
Прощай, прощай – я не прощаюсь,
Я даже так не говорю –
На крыше небоскреба аист
Степенно празднует зарю –
Он прав: не стоит бить тревогу –
Джон Донн проснулся, слава Богу!

* * *

У счастья длинные руки
И очень ловкие пальцы,
И ты не умрешь от скуки,
Когда наготове пальцы,
Но будешь сидеть у печки,
И хоть до ее упада
Вовсю вышивать сердечки,
Как будто кому-то надо,
Как будто не здесь, а где-то,
Сбиваясь с дороги сонно,
Несчастное время это
Сползает во время оно,
Его обращая в кальций,
Который добудут внуки, –
У счастья тонкие пальцы
И очень твердые руки.

ПАМЯТИ ИРЫ ЯКИР



На Холме Саула, перед Иерусалимом, на высоком склоне, покоится она теперь — под необъятным роскошным куполом, над зеленым простором хвойных лесов, напоминающих ей о любимых соснах Подмосковья.

Как высоко вознесла ее судьба к месту последнего пристанища! Словно в награду за все, что выпало ей одолевать. Ибо немало на свете людей, кого жизнь одарила столь же щедро, — но ни у кого, как у нее, не отбирала она свои подарки с такой лютой неутомимостью!

Но ни мужества, ни света отобрать не смогла.

Елена Гилярова

ПОКЛОН ИЗ МОСКВЫ

Стал Израиль подобен Аиду.
Ах, наверно, там легкие сны –
Там, на склоне, где дальние виды
В обрамлении вечной весны.
Знать, судьба ее переметнула
В эту землю, за тысячи миль,
Чтоб она бестревожно уснула,
Как когда-то прабабка Рахиль.
Здесь, у края великой пустыни,
Легче воздух, свободней полет,
Чем в российской безвылазной глине,
Что и душу навек засосет.
Над землею прадедовской рея,
Она горних достигнет высот,
И трагический голос Орфея
Пусть обратно ее не зовет.
Сроки кончились, кончились числа,
Впереди всеобъемлющий свет,
Начинаются новые смыслы,
Для которых названия нет.

Москва, май 99

П. Вахтина

О ЕЕ ЖИЗНИ

2 мая в Иерусалиме скончалась Ирина Якир. Имена ее деда, красного командарма Ионы Якира, и ее отца, Петра Якира, одного из зачинателей правозащитного движения в Союзе, – известны многим. Саму Ирину, красавицу и умницу, которой Бог дал яркий человеческий талант и удивительное женское обаяние, знала и любила интеллигентская Москва, и не только Москва.

Ира Якир родилась 7 мая 1948 года в Пензенской губернии в селе под Пензой. Только-только ее мать, Валентина Ивановна Савенкова освободилась из воркутинского лагеря, где она сидела по 58-й статье как "враг народа". Там она встретила Петра, и освобождалась уже беременной. Через год она вновь была репрессирована и отправлена этапом в енисейскую глушь на вечную ссылку, а дочь осталась на руках у деда Ивана Максими́ча.

В 1952 освободился и Петр и, каким-то немыслимым образом

пройдя пол-Сибири пешком и на попутках, появился в один прекрасный день в барак к Валентине Ивановне.

– Ой, Петька, сказка!.. – только и сказала она.

Через некоторое время дед Максимыч привез туда и внучку, и несколько лет прожила она, зачатая в лагере, там, на вечном поселении. И что-то осталось у нее в самой сильной, самой яркой памяти детства: буря на Енисее... сплав вместе с отцом на плотах...

После XX съезда, в 1957 г, в самом начале хрущевского реабилитанса, семья перебралась, наконец, в Москву. Вместе с матерью Петра, вдовой расстрелянного Сталиным командарма, Саррой Лазаревной Якир. А дед Максимыч к той поре скончался.

Им была предоставлена двухкомнатная квартира в одном из новеньких добротных "зиловских" домов рядом с метро "Автозаводская" на улице того же названия. Здесь и провела Ира почти весь свой век.

В 1963 г. она познакомилась с молодым поэтом и бардом Юлием Кимом. Весь в плену обаяния Петра Ионовича, Ким дневал и ночевал у Якиров. Через год завязался исподволь их с Ирой роман, он уже стал бывать у них на правах жениха. Невеста еще училась в старших классах. А у него в кармане лежал вызов на Камчатку, по которой давно уже мучила его смертельная тоска, после того, как три года он на ней славно отучительствовал. И в самый разгар романа он-таки убыл на Дальний Восток. Столько лирики, не говоря уже о письмах, он в жизни своей никогда не писал. Через полгода ностальгия прошла, и он вернулся в Москву.

В 1966 г. Ира окончила школу, вышла за Юлика замуж и поступила в Историко-архивный институт. К тому времени полным ходом набирало силу общественное движение, которое превратилось затем в диссидентское, правозащитное. Началась и завершилась (еще при Хрущеве) история с Бродским, в 1965 г. (уже при Брежневе) последовал арест Синявского и Даниэля, в 1966 г. – знаменитый суд над ними. Чем четче обозначалась линия на дальнейшее закручивание гаек, тем активнее протестовала чуть-чуть разбаловавшаяся при Хрущеве интеллигенция – особенно против реабилитации имени и дел Иосифа Виссарионовича. Ненависть к усатому вождю была доминантой характера и мироощущения Петра Якира еще с 14 лет, когда он оказался в тюрьме среди малолеток с клеймом все той же 58-й статьи. Разумеется, он одним из первых принял участие в правозащитном движении, и, естественно, Ира и Юлик не остались в стороне. Ира печатала и распространяла самиздат, подписывала письма протеста вместе с отцом и мужем и многими друзьями. А когда в 1968 г. появилась "Хроника текущих событий", приняла в ее издании самое деятельное участие.

Круг знакомых быстро вырос. Появилось в их Автозаводском, настежь распахнутом, доме множество интересных и рискованных людей, вроде Павла Литвинова, Ларисы Богораз, Анатолия Марченко и многих других. С Ильей Габаем познакомилась значительно раньше, Юлик с ним учился в институте и с тех пор дружил. По-

ток самых разных людей – ученых, художников, врачей, писателей, артистов, рабочих, украинских националистов и крымских татар – хлынул через квартиру Якиров, и в этом котле варились все, и Ирка, естественно, тоже. Правда, ей очень хотелось жить отдельным домом от Автозаводского, уж очень он был чересчур распахнут, и в 1967 г. они с Юликом получили однокомнатную квартиру на Рязанском проспекте. Но когда они туда переехали, за ними последовали и автозаводские традиции, и там тоже не было дня, когда бы они оставались одни.

Реакция властей не заставила себя ждать. Посыпались аресты. Круг близких редел на глазах. В 1969 г. ее выгнали из института. Первое время она пыталась устроиться куда-то на службу, поработала в одном архиве, в другом – но тут постиг ее первый чудовищный удар: на нее обрушился псориаз, тотальный, осыпавший ее с ног до головы. Болезнь эта, говорят, происходит "от нервов" – так не мудрено. Для женщины 23 лет, красавицы в расцвете сил, в начале жизни, получить такой "подарок" от судьбы... Это сразу поставило крест на таких, например, вещах, как регулярная служба. А уж выйти на пляж стоило ей огромного напряжения.

1972 г. – новый удар: арестовали отца. В тот год она забеременела. Пока тянулось следствие, и до родов, и после, чекисты не переставали ее допрашивать и вызывать на очные ставки. Она достойно прошла испытание, хотя каких сил ей это стоило!

В 1973 г., на Автозаводской, куда они вернулись после ареста Петра Ионовича, родилась их дочь Наталья.

Юлик к тому времени от правозащитных дел практически отошел. Выступать с песнями, работать в школе ему было запрещено, но сотрудничать с театром и кино – не возбранялось. Он и сотрудничал – правда, под псевдонимом. В том же году скончалась Валентина Ивановна.

Рок продолжал преследовать Иру. В 1985 г. она забеременела вновь, но плод располагался как-то неправильно, опасно для матери, потребовалась операция. Мать спасти удалось, ребенка – нет.

В 1993 г. – еще одна полостная операция. В 1997 г. у нее обнаружили рак. Московское лечение не помогло. Через некоторое время они с Юликом переехали в Израиль, где, не выходя из больницы, провела она свои последние полгода. Там, на холме при въезде в Иерусалим, она и похоронена.

50 лет прожила она на земле, из них только краткая юность была относительно безоблачной. А дальше – удар за ударом. И все-таки кое-что ей удалось, и счастье время от времени ей улыбалось тоже.

В середине 80-х Ира с семьей впервые оказалась летом в селе Шишаки на Полтавщине. Они так полюбили этот край, что вскоре купили небольшой дом, перестроили его, и с тех пор не мыслили себе жизни без этой "украинской Швейцарии". Купание в реке Псёл, походы в лес за грибами, вечерние шашлыки с друзьями, разговоры у камина – все это приносило Ире неподдельную радость, там она казалась счастливой.

В 70-е годы Илья Зильберштейн, возглавлявший "Литературное

наследство", несколько раз привлекал ее к работе. Она занималась архивами Блока и Белого, другими архивами (а сколько трудов надо было положить, чтобы с фамилией Якир получить допуск!), разыскала даже неопубликованные вещи Блока – хоть в какой-то мере реализовала природный талант исследователя.

В 1990 г. ее, хорошо знавшую нашу третью – диссидентскую – эмиграцию, пригласили в Оргкомитет при ВС РСФСР для подготовки Конгресса Соотечественников, и она немало сил положила на эту благородную деятельность. Конгресс открылся 19 августа 1991 г. – в день путча ГКЧП. И все эти три опасных дня Ира провела в стенах Белого Дома, где с минуты на минуту ожидали штурма, не переставая информировать В. Буковского, а через него и весь мир, о текущих событиях: по непостижимой беспечности путчистов связь с Кембриджем работала бесперебойно.

В горбачевские времена она побывала в Европе и Америке. Затем – в Израиле, четырежды. Она особенно его любила. Он и дал ей последний приют.

Санкт-Петербург, июнь 99

Наталья Горбаневская

ИРА ЯКИР И 'ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ'

Прошу прощения, еще точнее было бы назвать этот текст «Ира, я и "Хроника"» – много придется говорить о себе, иначе ничего не понять.

Начать с того, что Ира была среди нескольких человек, от которых я, условно говоря, получила благословение на выпуск "Хроники". (Я уже описывала когда-то эту историю, но без имен, поэтому расскажу снова). Идея самиздатовского информационного бюллетеня носилась в воздухе – нельзя сказать, чтобы она кому-нибудь принадлежала. Помню, что неоднократно говорила об этом Лариса Богораз, но она была так загружена другими делами, что руки не доходили. Среди многих тусовок, где возникала эта тема, вероятно, была и пресловутая встреча в Долгопрудном, по поводу которой Красин измыслил, что там-де было принято "решение" о выпуске "Хроники" (он, может быть, и "принял решение", но из этого ничего не последовало). Помню, возвращаясь из Долгопрудного, мы с Илюшей Габаем всё гадали, что же это было: сходка под видом пьянки или пьянка под видом сходки, – и склонялись к последнему.

Разговоры могли бы продолжаться еще долго, если бы не нашелся кто-то, чтобы взяться за это. Этим "кем-то" оказалась я (тем более, что уходила в декретный отпуск, а значит, располагала свободным временем). Но все-таки сама, без одобрения друзей, начинать я не решалась. Тогда и произошел разговор дома у Юлика и Иры. Были, по-моему, еще Илья Габай и Павел Литвинов – и,

кажется, больше никого. Не помню конкретных слов, но, в общем, мне дали "добро" и обещали помогать.

Ира в те полтора с небольшим года, что я выпускала "Хронику" (да и потом тоже), была главным человеком по связи с Украиной. Такая формулировка может вызвать представление об "организации", "поручении" (даже "задании"), но все это было не так. Она просто подружилась с украинцами, поначалу, я думаю, с появившимся в Москве Плющом и особенно с его женой Таней Житниковой, и ездила в Киев – возить помощь семьям политзаключенных, собирать информацию, просто поглядывать. Украинские гебисты ее излавливали, грозили – как-то, кажется, и насильно отправили обратно в Москву.

24 декабря 1969 года ко мне пришли с ордером на обыск и, как я сразу заподозрила (и не ошиблась), на арест. В те времена, когда у кого-то происходил обыск, люди старались поехать туда, чтобы присутствовать. Звонят, – и вдруг в телефоне отвечает неизвестный голос или вообще никто не отвечает, когда известно, что человек должен быть дома: значит, обыск. Ира приехала ко мне (кроме нее, был еще Андрей Амальрик). На обыске произошли два чудесных события, но, чтобы было понятно, придется опять говорить о себе.

Что мой арест – вопрос не отдаленного времени, было ясно и мне, и всем. Я лихорадочно искала, кто бы мог меня заменить в качестве редактора "Хроники". После 10-й хроники (выходу которой тоже предшествовал обыск у меня – по счастью, почти готовый выпуск был не дома) я договорилась о передаче "Хроники" Гале Габай. Тут к ней пришли с очередным обыском – к этому разу относится знаменитая история, как Галина мама утопила материалы к "Хронике" в кастрюле с супом. Ни в одном доме не было такого числа обысков и до ареста Ильи, и после, – и Галя справедливо сказала, что ей "Хроникой" заниматься нельзя. В день ареста я ждала еще одного потенциального редактора – Володю Тельникова. Я обещала рассказать ему, как обрабатывать черновую информацию, как строить выпуск. Но он должен был прийти вечером, а с обыском пришли с утра.

Все материалы к 11-му выпуску: черновики на листочках, часто на обрывках, написанные множеством почерков (какая добыча для ГБ!), – я аккуратно сложила в конверт. Кроме того, в кармане зимнего пальто лежала груда лагерной информации, записанная мною накануне со слов Леры Айдовой, жены политзаключенного, возвращавшейся со свидания.

За два месяца, прошедших с предыдущего обыска, у меня накопились такие груды самиздата, что в какой-то момент следователь перестал писать протокол, запихнул все: самиздат, письма и проч. – в папки без описи, опечатал и пообещал, что во время следствия опись и протокол будут составлены (конечно, не были). Но краем глаза я как будто увидела в ящике стола этот конверт. А одежду, висевшую на вешалке в коридоре коммунальной квартиры, вообще не обыскивали. Когда меня уводили и я прощалась и целовалась с Ирой, я надела куртку, указала

Ире глазами на карман пальто и шепнула: "Прошмонай стол".

Все два с лишним года в Бутырке, в институте Сербского и Казани меня мучила судьба конверта: попал он в "папку без описи" или правда, как мне показалось, остался в столе? И это, конечно, был мой первый вопрос Ире, когда мы встретились после моего выхода. Нет, мне не показалось! После моего ухода Ира вынула и бумаги из кармана пальто, и конверт из ящика стола. Вся информация попала в 11-й выпуск "Хроники".

Вышла я в 1972-м. В том году было заведено знаменитое дело № 24 (о "Хронике"), раздавались угрозы, а кой с кем и велись переговоры о том, какие благодеяния КГБ, решивший "закрыть" "Хронику", совершит, если ее издание прекратят сами безымянные редакторы: кого-нибудь освободит, а кого-нибудь – не посадит. Однажды Ира вызвала меня поговорить. Мы гуляли по пустырю, где никто не мог нас подслушать. Она сказала, что Валерий Чалидзе настаивает на прекращении выхода "Хроники". Что я об этом думаю?

Мне трудно было отвечать. Я сказала: "Ты же знаешь, что я от "Хроники" отошла, так что вроде не имею права решать". "А все-таки?" – уперлась Ира. Тогда я сказала. Во-первых, "не они открыли "Хронику", не им ее закрывать". Во-вторых, пока я сидела, я знала: все, что со мной происходит, по крайней мере, все, что удастся узнать, попадает в "Хронику". Сейчас продолжают сидеть другие люди – прекратить "Хронику" значило бы оставить их на произвол судьбы: о них не будут знать, забудут, с ними можно будет делать что угодно. И всю продолжать новые политические аресты и суды: западные корреспонденты будут передавать информацию только об отдельных "знаменитостях". Так что я, конечно, решительно против. "А ты что думаешь?" – спросила я в свою очередь Иру. "Мы все против: я, Надя Емелькина, Вера Лашкова..." Конечно, девочкам (они все были очень молодые), составлявшим основную рабочую силу "Хроники", трудно было спорить с тузами "движения", но все-таки еще на некоторое время "Хронику" тогда отстояли, хотя потом (тут Чалидзе ни при чем – он был уже в Америке) ее выход и был приостановлен, – с самыми плачевными результатами.

В заключение еще несколько слов. Помимо "Хроники", помимо общих правозащитных забот, мы ведь с Ирой еще просто дружили. Я ее очень любила, и она меня, по-моему, тоже. Какая была радость принимать их с Юликом в Париже, в такой непарижской квартире на ул. Гей-Люссака. А потом – видется в Москве. Когда я там была последний раз и читала стихи в "Мемориале", я сказала, что по традиции здесь обычно выбираю "гражданские", а сегодня решила почитать "стихи о стихах". После вечера Ира подошла ко мне: "Наташка, я так испугалась, когда ты сказала, что будешь читать стихи о стихах..." – Ну и как? – "Здорово..."

С тех пор, когда у меня сочиняются "стихи о стихах" и я задумываюсь: а стоит ли, кому это надо? – я вспоминаю Иркино ободрение. Жаль, не догадалась ей это передать – думала, увидимся...

Дмитрий Рачков
ИРКА, ИРА, ИРИНА
(Письмо Юлику)

– Привет, Ирка!

– Димыч, ты?!

В этом "?! " всё дело, вся Ирка. Голос узнан с первого звука, откуда бы ни звонил: с Сахалина ли, из Тамбова или уж совсем рядом – из автомата у ресторана "Огонек", и неважно, когда был последний звонок – сегодня утром или год назад, неважно!

"?! ". Тебя ждут с нетерпением и радостью как близкого человека. И еще – с готовностью прийти на помощь, тут же.

В 1968 году за чтение самиздата и "связь" (т.е. дружбу) с тобой, Якиром и Габаем, после набора традиционных мерзостей (осуждение на собрании коллектива, волчья характеристика, допросы в ГБ и пр.) я был изгнан из Южно-Сахалинского пединститута. Попытавшись – безуспешно – устроиться на "материке", оказался я в Москве. И вот стою перед дверью столь знакомой квартиры на Рязанском проспекте, в руке заранее заготовленный листок, на нем крупно: "ОСТОРОЖНО! Ваша квартира прослушивается!" (Господи! Сейчас чудно читать это, а тогда меня как поразило, что в Южно-Сахалинском ГБ во время допроса мне был дословно воспроизведен наш с тобой разговор на балконе московской квартиры.)

Дверь распахивается, и вы с Иркой втаскиваете меня внутрь, в радостной суматохе встречи не удостоив взглядом мой листок, да и я на миг забываю о нем. Потом прижимаю палец к губам, кошу глазами на плакатик и вижу, как изумление на ваших лицах сменяется горестным пониманием.

Никогда мне не забыть этот Иркин взгляд... В нем было еще и презрение к тем мерзавцам, что довели меня до этого плакатика, и... как бы это сказать? Жажда немедленного удовлетворения чувства социальной справедливости...

– Ну, Димыч, просветил, открыл глаза, – говоришь ты, а затем простираешь руку к потолку: – Здравия желаю, товарищ капитан. Не перегрелся ли у вас микрофончик?

И сразу камень с души свалился. Вот мы уже пьем чай на кухне, смеемся, мое "дело" отдалается, и уже не менее важно, будет ли Гусаров играть за сборную в матче со сборной Италии, и что там с "Новым миром", появляется гитара, а вперемешку со всем этим я легко и во всех подробностях выкладываю вам свою историю. И Ирка слушала это так... она, как никто другой, понимала, чувствовала меня. И впоследствии я во многом благодаря ей уселся за стол понемногу "корябать перышком"...

Ирка ЯКИР – сама приветливость, открытость, редкостно свой душевный человек; нет уз святее товарищества – она эти слова могла бы повторить с полным правом.

Ира ЯКИР. Это глубочайшая, глубинная нежность и страстность

натуры. Ты как-то рассказал о таком поразившем меня эпизоде: она опустилась перед тобой на колени, когда ты вернулся из дальней и долгой поездки на две недели раньше, чем собирался.

Но и ты, друг мой, ответил ей не менее поразительной нежностью – стихами о полтавском вереске, который вместо роз стоял у нее в палате иерусалимского госпиталя. Может быть, лучшее твоё стихотворение. Нежное и трагическое. Рой мыслей и чувств. И этот дом на Полтавщине, в котором не суждено ей было пожить вдоволь, накопаться в Псёле, набродиться по лесам и полям, надышаться этим воздухом, насладиться этим покоем...

Ира ЯКИР – одна из ослепительных красавиц Москвы, в свои не бо ль н ы е годы – увы, их было так мало...

Ирина ЯКИР – это прежде всего порода. Отточенность интеллекта, вкуса. Она была первым приемщиком и оценщиком всего написанного тобой, и ты высоко чтил эти ее оценки.

Обаяние личности.

Она никогда не считала себя душой общества, но само общество считало, что оно всегда неполно без нее.

Мне не раз приходилось наблюдать, как замолкали остряки и умники, как только она начинала фразу. Нередко сажала она в лужу какого-нибудь записного шутника, привыкшего к почтительному вниманию. Но могла и сама рассказать в компании прятный анекдот, и это всегда было – "раблезиански", ни грана пошлости – ее-то она чувствовала за версту. Порода.

О ее диссидентской деятельности другие расскажут лучше меня. Одно бесспорно: в прямом смысле слова это была героическая деятельность. Почему-то прежде всего вспомнилось, как вы с ней оставили гебешников с носом, прыгнув во двор чуть не со второго этажа, – и рассказ (изумительный) Тоши Якобсона о том, как она в каблуке туфли привезла с Украины очередные листки для "Хроники текущих событий".

Я гляжу, впиваюсь взглядом в фотографии, которые ты мне прислал: широкая панорама, и в центре кладбища – ее могила. Впечатление потрясающее. Есть в этом пейзаже что-то величественно-лермонтовское. В небесах действительно – торжественно и чудно. Воздух так плотен, что кажется – его можно потрогать рукой.

Какая свобода и простор!

И именно здесь похоронена ИРКА, ИРА, ИРИНА, и конечно же, это одна душа, одно сердце, умница Ирина могла как сорванец оторвать рок, а свойская Ирка – озадачить глубоким замечанием Петра Фоменко.

Прощай Ира. Прощай.

Тамбов, июнь 99

Ира Якир

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ

Дочери:

Доча, солнышко любимое, извини за почерк, очень неудобно одной рукой писать, вторая под капельницей, по бокам свешиваются провода и т. д. Лежу сейчас во французском госпитале (название красивое, но произнести не могу). Зданию лет 200, а то и больше, прямо около Яффских ворот старого города. С 4 утра уже слышно, как кричат с минаретов, а потом каждые 15 минут бьет какой-нибудь колокол или часы. Сегодня с папой первый раз доползла до балкона и посидела, поглядела прямо на храм Гроба Господня. Вот такие у меня тут видовки, как сказал бы уж не помню кто. В палате 4 человека. Очень тяжелые. И вообще тут только тяжело больные. Некоторых лечат арт-терапией, это умирающих онкобольных-то, и продлевают жизнь очень надолго. Представляешь? Тут одна тетя 72 лет из Марокко стала рисовать вдруг, и я видела картины. Просто удивительные. Кто-то плетет, кто-то вяжет. Переключают сознание с болезни на творчество, и получается.

Больные со всего мира и медперсонал тоже. Ребята и девушки добровольцы. Есть и русские. Веселые, улыбаются, все говорят на смеси 10 языков (некоторые только на пальцах, как твоя любезная матушка). Присылают человека три, моют, переодевают, смеются. Сегодня в 5 утра входят 2 красавца – один Михаэль (Испания), второй – не поняла (Голландия), к кровати подлетают Ирочку купать, я как спросонья кричу: "Беседер, мол!", хорошо, о'кей, сразу вспомнила слов пять, только, чтоб меня не трогали. Они, по-моему, все поняли, поулыбались и через час в душ, прямо на специальном кресле, меня отвезли девушки. Пришли с утра монахини из какого-то монастыря и принесли вязаные шарфы, которые они вяжут больным. Даже красиво, хоть на улице сейчас и +22 (это в 8 утра), но к вечеру в городе становится прохладно.

Начала немножко читать. Леночка принесла "Галину Вишневскую". Одолела, но ужасно скучно. Прожила такую потрясающую жизнь, а написать не смогла. Жаль.

Внучке:

ДАРАГАЯ КСЮША. ЭТО Я, БАБУЛЕЧКА-КРАСОТУЛЕЧКА. КСЮША, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ ЖЕЛТЫЕ ВОЛОСЫ, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ ЗЕЛЕННЫЕ ЩЕКИ, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ НЕТ ЗУБОВ, А ПОЧЕМУ 4 РУКИ И 2 ХВОСТА, А? ЕСЛИ ЭТО НЕ ТЫ,

ТО НАРИСУЙ МНЕ СВОЙ ПОРТРЕТ И ПОРТРЕТ ЭТОЙ ДРУГОЙ ДЕВОЧКИ. А ЕЩЕ НАЙДИ ОШИБКУ В ПИСЬМЕ. А Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ И ЦЕЛУЮ. БАБУШКА.

Дочери:

Тусенька, буду писать тебе, если хватит сил, путевые заметки "По госпиталям Израиля". Сегодня, на 2 день после "химии", было крайне пакостно, хоть и лежу теперь в отдельной палате и она вся уставлена потрясающей красоты цветами (все принесли сине-розово-фиолетово-сиреневую гамму, не сговариваясь). А папа принес огромный букет вереска, как наш, шишакский, только не сухой, а живой, и он здесь нежно-нежно пахнет. И хоть из коридора раздаются крики (тут и эпилептики, да не буду перечислять, очень много страшных болезней падает на бедный род человеческий), я смотрю на шишакский вереск и, правда, развешиваюсь потихоньку. Здесь работают русские удивительные. Сегодня одна из них, Рита, поскольку я ночь промучилась и с утра была еле жива, повела она меня в госпитальный садик, крошечный, но жутко красивый, и мы сидели там на солнышке, попивая чай и покуривая сигаретку, да, мася, 3-4 сигареты в день я, после месяца перерыва, стала себе позволять, уж не обессудь. А вокруг птички (из одного воробья три таких получится), женские серые, а мужские с ярко-синей грудкой, и магнолия свешивается, и еще чего-то цветет, в общем, благодать, и забыла я про свои боли и мучения. Потом пришла Вера, и мы потопали ко мне в палату к обеду. Перед каждой едой нужно сделать укол, а то она (еда) не приживается, а они заставляют, чтоб окрепнуть к операции. Стало, конечно, получше, но "чтоб окрепнуть, за это я вам не скажу, чтоб было".

Внучке:

ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ УМНЫЙ КСЮН! КАК ЖИВЕШЬ И КАК ДЕЛА? ПОСЫЛАЮ ТЕБЕ ВЕРБЛЮЖОНКА. ЕГО ЗОВУТ РАСТЯПА. ОН ЛЮБИТ СНЕГ, ПОТОМУ ЧТО НИКОГДА ЕГО НЕ ВИДЕЛ. Я ЕМУ РАССКАЗАЛА, ЧТО СНЕГ БЕЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ. А ОН ГОВОРИТ, ТАК ЭТО ЖЕ САХАР. Я ХОЧУ В МОСКВУ К КСЮШЕ И БУДУ ЕСТЬ ЕГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ВОТ КАКОЙ ГЛУПЫШ. ПОЗНАКОМЬ ЕГО С МАМОЙ-ВЕРБЛЮДИХОЙ, КОТОРАЯ У ТЕБЯ В КОМНАТЕ, И ВОДИ ГУЛЯТЬ. БАБУШКА ИРОЧКА.

Юлий Ким

ПУТЕШЕСТВИЕ К МАЯКУ

Михайлов на Камчатке бывал не однажды. Первый раз – после института, в 59-м. Последний – в 95-м. Как поется в одной его песенке:

...Цифры переставились, только и всего.

Правда, в песенке он шутил по поводу другой пары: "56 – 65". Развенчание Сталина и воцарение Брежнева.

*Было пятьдесят
Шесть –
Стало шестьдесят
Пять.
Как умели драть
Шерсть,
Так и будем шерсть
Драть.*

В нашем же случае симметричными датами обозначаются 36 основных лет взрослой жизни моего Михайлова, главный период, от молодого дядюшки (в 59-м как раз родился племянничек) до пожилого дедушки. В 95-м внучке Ксюшке стукнуло три годика, и молодая бабуля повезла ее на всё лето в любимые Шишáки, отпустив Михайлова в любимую Камчатку. Бабуля уважала в муже эту его пронзительную любовь – правда, не без ревности. Уж очень ярко озарялось его лицо при воспоминании. Ей хотелось побольше таких озарений по ее, а не по камчатскому адресу. При этом она знала, что Михайлов не женщину вспоминает, а именно "тот уголок земли". Таким образом, формально говоря, она ревновала его к Корякскому национальному округу.

Далеко-далеко, на северо-востоке... хотя, что сейчас далеко? И тем не менее, тем не менее. Это до того далеко, что на краю тундры, среди морошки и свежих следов медвежьих, можно вдруг набрести на стройную колонию вполне аристократических темно-лиловых ирисов. До того далеко, что на беспечное твое пение сплываются нерпы – интеллигентные животные, наделенные музыкальным слухом. Конечно, петь надлежит, дождавшись полного штиля и достаточно громко. Тогда, глядишь, там и сям сквозь зеркало вод и повысунутся усатые мордашки. В этой-то прекрасной глуши и оказался Михайлов сразу после института.

Поселок среди людей зовется Анапка – по названию ближайшей речки, и не подозревающей, что близ субтропической Анапы у нее имеется тезка, впадающая совсем в другое море. Юридически же поселок именуется "Ильпырский" – по названию ближайшего острова. Это такое длинное и пустынное плато со скалистыми края-

ми, усеянными разнообразной птицей. Из поселка в профиль Ильпырь напоминает задремавшего сивуча, с маячком на прикорнувшем в воде носу. Маленькая башенка с огненным бессонным глазом. И в ночь, и в бурю, и в туман. Теперь-то он всё, отморгался.

А тогда еще как моргал. Чем неотразимо действовал на романтическое сердце, и зазывал Михайлова к себе, как загадочный гном, и зазвал, а как же. Трижды ходил он туда, с учениками и без, и эти походы на край света запомнились ему как особенно счастливые праздники жизни и стали сами этаким маяком для его дальнейших мечтаний, и с середины 60-х попасть опять на Ильпырский маяк сделалось для него делом чести. Были две неудавшихся попытки, с большими перерывами между – теперь это была третья, с высокой степенью вероятности.

От Ильпыря серой ниткой тянется песчаная коса – ласкательное: кошка, – к берегу расширяясь и приподнимаясь над морем как раз достаточно, чтобы разместить на себе поселок, с причалом, холодильником, цехами, складами, с клубом и школой, с тремя рядами жилых бараков вдоль двух улиц и пятью общественными сортирами на морской стороне на 20 очков каждый. "Анапочка моя", – как поется в одной из московских песенок Михайлова.

За Анапкой коса кончается – дальше идет дикая тундра, вся в речках и круглых болотцах, широко подходя к подножью цепочки невысоких сопок, так нежно тающих в закатном солнце.

С первой же встречи тайный яд камчатских очарований помаленьку начал свое естественное дело, и через год, вернувшись в Москву с твердым намерением поступить в аспирантуру, где его уже с нетерпением ждали, Михайлов внезапно занимает огромную сумму, едет в кассу, берет билет, летит в Питер (Камчатский), летит в Оссору, нетерпеливо дожидается катера, выходит на Ильпырский пирс и – буквально! – припадает к земле. Ну, не то чтобы распластался на грязном щебне, а все ж таки, как бы мимоходом поклонясь, дотронулся кончиками пальцев до щебенки-то, дотронулся, сентиментальный мой.

Он счастливо учительствовал подряд три года в этой забытой Богом школе с шестью всего классными комнатами с печным отоплением, от души потрудился, от пуза поплясал – но заскучал все-таки, захотел домой. Написал поэму, где черным по белому:

*Уж я не сам по улице иду,
А улица сама мне ноги движет.
Уже давно, как брюки на заду,
Обтер я очи обо все, что вижу.
Сегодня то ж, и завтра то ж, и вечно то ж,
И обрастешь родимой грязной шерстью,
И, одичалую слюну придерживая челюстью,
На дуре женишься иль горькую запьешь.*

Пришла третья весна, началась навигация, вдоль побережья засновал, заискрился "Изумруд" – пассажирский теплоходик, и собрался Михайлов, и попрощался с Анапкой своей, как ему казалось – навсегда, и пошел "Изумруд" по пологой волне, понес в

Москву, к маме, сестре, друзьям, к неведомым трудам и песенкам и, возможно, к любви, в конце-то концов, ибо на Камчатке много было радостей, за исключением этой.

В Москве проблем с работой не было. Имея сто друзей, имел среди них Михайлов и Ряшенцева Юрия, у которого соседка по лестничной площадке была Нинка – для других Нина Георгиевна, директриса школы, расположенной в пяти минутах от Кремля и просто впрыток к Моссовету.

– Нинк, – сказал Юрка. – Хочешь хорошего словесника?

– А есть?

– Вот такой! Стихи сочиняет.

– Охо-хо, – вздохнула Нинка. – У меня как раз один такой уходит. Стихи сочиняет, а успеваемости – ноль.

– На этот счет не беспокойся. Три года стажа на Камчатке, вечерняя школа, ты что. Лучшие показатели по Корякскому округу.

Что было чистой правдой. Показатели эти хотя никто и не проверял, но что у Михайлова тяжелые двоечники вырастали в приличных хорошистов, без запинки писавших "аккомпанемент" и "интеллигенция" – медицинский факт.

(А уходившим поэтом был действительно замечательный поэт Саша Аронов, тогда уже известный на всю Москву, а впоследствии получивший именную рубрику в знаменитом "Московском комсомольце".)

Таким образом, по мановению Рока, Михайлов мой перенесся через 11 тысяч километров из промозглой тундры времен мезозоя прямо под священные стены Кремля, в пятиэтажную роскошную показательную школу, которую хотелось именовать гимназией. Классных комнат здесь было множество, и в каждой из них могло уместиться камчатских три. В высокие окна доносились пестрые звуки мегаполиса, а не бесперебойные накаты океана. Рядом располагался Моссовет, а не поссовет, в 6-м классе училась внучка Кагановича, в 10-м – сын народного артиста Любезнова, шефом школы был Центральный Телеграф, – однако на второй неделе Михайлов с удивлением заметил, что существенной разницы между папуасами Камчатки и пижонами улицы Горького нет – ни по части глубокомыслия, ни по линии красноречия. Девицы, конечно, одевались пошикарнее, это да.

Нет-нет, что говорить – хорошо, складно началась и покатилась московская жизнь, и новые встречи, и старые друзья, – но тут же, неотвратимо, засвербело, заныло, а там и тяжело навалилось то, что иначе и не назовешь, как – чудовищная ностальгия. Достала Михайлова Камчатка. Вот ведь и работа, и друзья, и Москва, – а он локти себе грыз от тоски по Анапке. Письмо за письмом летели туда, как встревоженные чайки, – и ни звука оттуда. В октябре не выдержал – телеграфировал: почему молчите? В ноябре пришел наконец ответ от учащегося Толика с сообщением о том, что "всё у нас по-прежнему", и с плохо скрытым удивлением: что это вы? Живете в Столицеродине, а требуете здешних новостей. Что может быть в Анапке интересного? "Да всё! – кричала душа. – Всё! И погода, и природа, и кто напился, и кто подрался, и кто забо-

лел, и кто выздоровел!" Чуть не со слезами читал-перечитывал эти полторы странички, кляня автора за скупость красок и лаконизм, — чему сам же учил, чего твердой рукой и добивался от учащихся в борьбе с грамматическими ошибками. А Толик был у него первый ученик.

Но вот откликнулись и Ваня, и Саня, отлегло немного — но немного. И все два дальнейшие года, при благополучнейшем течении жизни, при том, что ширился и креп его песенный успех, настолько, что уже и в кино его позвали — сочинять и сниматься (и он сочинил и снялся), — при всём при этом могучий магнит, зарытый, вероятно, под Ильпырским маяком, неумолимо тащил его к себе — и вытащил. И даже любовь не удержала. (Но утащила обратно.)

Довольно долго не замечал он ее, хотя и не вылезал из их дома: Петр, ее отец, целиком поглощал внимание. Колоритный был человек, и всё пространство заполнял своим колоритом. Ей тогда было всего ничего, как раз такие и сидели за партой в классах у Михайлова. Правду сказать, среди них водились барышни чрезвычайно привлекательной наружности (куда уж там некоторым черноглазым мышкам), так что влюбчивое сердце моего героя не раз взволнованно ёкало.

(Хотя никто, никто на свете не сравнится с первой красавицей Анапки — несравненной Алей Илясовой, перед чьей красотой меркли самые роскошные камчатские закаты, роскошнее которых только туркменские. Иерусалимские будут пожизне.)

Влюбчивый взор остановился на Петиной дочке летом в Крыму. Для начала взору пришлось ослепнуть. Петя с женой и дочерью, и Михайлов с ними, неспешно двигались по Южному берегу — из Ялты в Алушту, оттуда в Коктебель, — и на одном из берегов черноглазая мышка продемонстрировала умение обращаться с медузами. Быстро и точно подвела она ладонь под медузю волнующую спину и с шумным плеском вынула из воды этот студень с присосками и покачив блюдо перед носом Михайлова, с шумным же плеском шлепнула свой улов в воду. Все брызги с ядовитых присосков достались Михайловскому носу. Как будто хлестнули по глазам матерой крапивой — не той, весенней, что нежно мнется в пальцах, как бархат, и годится в щи, а той, уже седой, как ведьма, которая жалит уже одним своим видом. Взор тут же и ослеп. Михайлов взвыл и кинулся на берег промывать свои карие очи, а промыв, увидел перед собой очи черные, те самые, и в них было столько смеха, виноватости и заботы, что влюбчивость немедленно проснулась — и вскоре процвела.

День, когда они поцеловались, был ясный. Море за Меганом тихое. Меганом, мыс живописный, за ним открывается поселок, тогда он назывался Орджоникидзе, лет через 15 там будет колупаться в воде их маленькая дочка Туська. А пока они гуляют за Меганом, по почти пустынному берегу, ища, где бы все-таки совсем уединиться. Гуляют они втроем: с ними неотвязно — ее подруга, встреченная здесь накануне. Подруга — постарше, постройнее, поэффектнее, да что: роскошная двадцатилетняя красавица, в расцвете светского успеха, и словно бы

имеет некоторые виды на Михайлова, – может быть, просто потому, что оказалась одна, а уж кому-кому, но не ей положено страдать от одиночества. Так или иначе, она с ними с утра неотлучно, и вот они гуляют, ища уединения, и в том числе от нее, а она, это чувствуя, никак отставать не желает. И они так и идут, вдвоем, молодые, загорелые, и вот остановились. Здесь берег делает загиб, укрывающий их отовсюду, внутри этого кармана шелестит море, а из него невдалеке торчит круглая блестящая макушка какого-то древне-зеленого каменного айсберга.

Черноглазая мышка – да нет, какая мышка – счастливая семнадцатилетняя наядда, первый разряд по плаванию кролем, торпедой пошла к каменной макушке, за ней пустился и он своим любимым стилем: на правом боку с сильным отмахом левой, а их спутница осталась сидеть на берегу, несколько растерявшись от нескрываемой поспешности, с какой ее покинули друзья.

Наядда ждала его у камня, и, когда он присоединился и отдышался, они нырнули.

Зеленая глубина мерцала и, колеблясь, вспыхивала. Какие-то длинные нити, рыбки, медуза висит, маленькая и дружелюбная.

Он прислонился спиной к камню, она показалась внизу, он сделал руки кольцом, и она всплыла к нему в объятие, и они поцеловались.

Вынырнули, ослепленные, огляделись и кинулись в пучину снова.

Подруга смотрела, как они ныряют, смотрела, потом заплакала и пошла домой.

Они заметили, стало неловко, закричали: "Эй! Эй! Подожди!" – она продолжала идти, они пустились к берегу, догнали ее пошли вместе. Но уже всё изменилось.

Это произошло в августе, а в сентябре Михайлова ждали на Камчатке. Так не вовремя свалилась на него долгожданная любовь.

Вовремя, вовремя. Все равно с Камчаткой надо было покончить, избыть эту треклятую ностальгию. Ну, и в конце концов правильно было дать человеку спокойно доплыть до аттестата. Справить 18-летие, а там уж и замуж... Ну, и не мешало испытать чувство на прочность. Испытатель, блин. Наоборот всё вышло. Не он, а его испытывала любовь, с первой минуты, как самолет ушел с Домодедова ввысь, и конечно, любовь победила.

Он прибыл в любимую Анапку, землю по прибытии не лобызал, маяк легко отложил на весну. И сразу же стал писать письмо за письмом – в Москву! В Москву! К началу занятий он опоздал, по старой дружбе учителя накидали ему часов, чего только он не преподавал, разве что труд и физкультуру, лишь бы полная ставка, – но особо он не халтурил, а просто половину, например, анатомии, пускал под диктанты.

Он сбегал в тундру с ночевкой, он искупался в ноябрьской воде, он опять пожил при печке, подышал угольным дымком, так напоминающим запах мочи, походил в общественные сортиры на морской стороне, омываемые очистительным прибоем. Он сочинил и поставил две песенных композиции, с большой претензией на

первое место области, он вволю попил спиртика и покушал икорки – он словно экстерном сдавал экзамен на тридцать три камчатских удовольствия.

Анапка отпускала его – и тем сильнее звала Москва.

Всю эту осень и зиму Михайлов ждал почты и отправлял ее. Всё время что-нибудь писал: письма, стихи, рассказы, песни. Стихи – только ей, только об одном, до последней строчки, в нетерпении перебирая ножками.

*Отворите мне темницу!
Дайте мне сиянье дня!
Белокаменну столицу!
Черноглазую девицу!
Ведь она там ждет меня!
Ждет!
Ждет –
И весь резон.
Все проекты и отсрочки,
Как пустые коробочки,
К черту выброшены вон!
Вон!
Больше ни к чему
Ждать.
А сколько можно счастье
Звать?
Проклятое ненастье
Мне устроило тюрьму...*

Он уже всё себе толком организовал: заказал и получил фальшивую телеграмму о мамином нездоровье, на этом основании уволился, – его особенно и не держали, так как нагружен был не по специальности; артисты его сидели на чемоданах – лететь в рай-центр, петь песни и забирать награды с прицелом завоевать и область, а уж оттуда – кому куда, а нам в Столицурудины. Но:

*Четвертый день Полтавский бой
Бушует посреди Анапки.
Разбойный свист, кошачий вой –
Срывая провода и шапки,
Восток, и северо-восток,
И север – рвутся друг на друга,
Сплошной крутящийся поток,
Неистовствующая выюга.*

Скорей, скорей бы! Не надо почты – лишь бы самолет.

*Я приду к тебе смеясь,
Я приду к тебе рыдая,
Я приду к тебе, родная,
Разодетый, точно князь,
В рубище, в овечьей шкуре,
Тихим ангелом впорхну –
Я все двери распахну*

*И ворвусь, подобно буре!
Дуй, ветрище, дуй, смерд!
Вой, подлец! Реви, уда!
Все равно я скоро буду!
Или смерть.*

Что значит неподдельное чувство.

АН-2 прилетел, забрал, в районе спели "Осеннюю путину" и "В защиту мира", всех потрясли, но в область опоздали, сорвала им пурга первое место, и в Питер Михайлову было лететь одному. Ладно. Артистов его дорогих встречным ветром отнесло назад, в прошлое – ладно, даешь Елизово, аэропорт, лайнер пошел ввысь.

Он прилетел в Москву, никому не сказавшись, 31 декабря, днем, а вечером уже звонил в заветную дверь. Она открыла ему. Столько счастья и света никогда еще ему навстречу не сияло.

Как только она получила аттестат, они поженились. Жизнь их совместная сложилась не сразу, центробежные силы давили так, что узы трещали и лопались по швам, однако не лопнули, и однажды они дружно удивились: как! Неужели уже двадцать пять лет? Серебряная свадьба, однако.

А что же Камчатка? А она так и осталась для Михайлова жизненным магнитом, только теперь это была ровная постоянная тяга, а не болезненный психоз с целованием почвы. Осталась единственная маниакальная идея – добраться до Ильпырского маяка, если ты честный человек.

На Курском вокзале зеленый вагон тихо двинулся и поплыл на Полтаву, бесповоротно и окончательно отпуская Михайлова на целых два месяца свободной камчатской жизни. Приятное чувство. Он-то давно уже понял, как важно и полезно разлучаться время от времени. Каждая разлука заканчивалась четко выраженным стремлением домой. Узы от этого только крепили. Она – нет, она ничего подобного не провозглашала, она не любила его отпускать. Риску давно уже не было никакого, но, видимо, те прошлые его центробежные порывы напугали ее навсегда. Однако она понимала и то, что неотпускание лишь поощряет центробежность. Приходилось на разлуку соглашаться.

Михайлов, как водится, проводил зеленый вагон, – сначала несколькими шагами, затем глазами, поезд скрылся. Михайлов повернулся идти в метро, и тут его озарило: с этой секунды начинается его движение к маяку, с первых же вот этих шагов в мраморную пасть подземки – на "Курскую", затем на "Автозаводскую", а там уже электричкой на "Домодедово", и всё это туда, туда, на дикий берег Ильпыря, к обветренной двухэтажной башне с немеркнущим огненным глазом...

Три сказочных богатыря, три седых красавца – Авачинский вулкан, Корякский и Козельский – фирменное трио Камчатки, осеняющее воздушные ее врата, Елизовское летное поле – Михайлов всегда испытывал неудержимое желание поздороваться. Романтик

мой. Он и поздоровался:

– Привет-привет... Привет, дорогие мои.

Встречал его друг сердечный Эжен, Евгений Терентич, мореходный доцент (станки и инструменты), невысокий спортивный крепыш (бывший мастер гимнастики), старательно разрушающий свою спортивность интенсивным питием и постоянно восстанавливающий ее регулярным обливанием себя студеной водой каждое утро, в том числе и зимой, на глазах двух пятиэтажек, украшающих собою начало Проспекта Имени Пятидесятилетия Великого Октября. В одной из них – его двухкомнатная, полностью в его распоряжении: жена покинула его ради мистера Фореста (США), а любимая дочь – ради обучения в Бостоне, как следствие. Полквартиры все-таки числилось за дочерью, Эжен отвел себе самовластно гостиную с диваном, книгами и телевизором и на соседнюю территорию (спальню) не покушался.

Кухня была, естественно, ничейной полосой, где помещался огромный холодильник с морозилкой, забитый синими ножками Буша. Синие скромные ножки... Синенький скромный кусочек... Интересно, как бы отзывался на это сам экс-президент. Возмущенно задрал бы брюки?

Михайлов, давно отстраненный семьей от плиты, здесь тряхнул стариной и потушил ножки не так уж плохо для отстраненного. Эжен взирает с большим почтением: мало что песни – еще и кур тушить может. Со своей стороны он украсил трапезу бутылкой "Наполеона", которому последнее время отдавал исключительное предпочтение, тем более получив отпускные, все отложенные для похода с Михайловым "на севера":

*Я возьму с собой в охапку
Нож, рюкзак, ушанку-шапку,
Как чужак на букву "М".
Кто в Анапу – я в Анапку:
Это много лучше, чем!*

У Михайлова было несколько пунктов, подлежащих исполнению в этом путешествии, среди них: искупаться в Тихом океане, непременно в поле зрения фотообъектива; отыскать во глубине Мильковского района Полякова Володю, с возможным прихватом его с собой на север, – ну, и дойти до маяка. Достигнуть его, обязательно. Словно все те разы, когда он шел, да не дошел, зывали к нему – докончить незавершёнку.

На бывалом Эженовом "москвиче" поехали они к "Трем братьям".

Петропавловск расходится террасами над красивейшим в мире заливом – Авачинской губой. Оттуда, из-за вулканов, выкачивается полноводная лососевая Авача и рассыпается массой рукавов по Авачинской пойме, выходящей в широкое овальное зеркало губы между островерхими сопками в снежных тибетейках. Они со всех сторон окаймляют его, но не смыкаются, оставив просторное горло, за которым океан во все стороны, за горизонт, до Америки. Здесь-то в горле, и торчат они – три кости, три каменных паруса – "Три брата".

По дороге к "Братьям" заехали в небольшую бухточку для исполнения пункта первого программы. Место уютное, с хорошим входом в воду. Чуть подальше виднелись еще какие-то люди. Они там, правда, не купались. Может, выпивали, Бог с ними.

А недавно Михайлов купался на противоположном берегу океана. Почему он и желал окунуться на этом – потому что на том уже побывал, месяца три тому, в Лос-Анджелесе. Сюжет надлежало завершить. Хотя бы затем, чтобы отослать в Калифорнию две карточки с одним приблизительно содержанием, но с разными надписями: "Я на Западном берегу Тихого океана"; "Я на Восточном его же берегу". На память Яну, по старой памяти принимавшему его в Городе Ангелов. Преуспевающий геофизик таки выделил полдня для совместной прогулки, сразу же спросив: "Ну? Куда ты хочешь? По Голливуду или вдоль моря?" И Михайлов, позорник, сказал: "Вдоль моря" – как будто осточертел ему Голливуд, глаза бы не глядели, а моря – век не видал, хотя, кажется, не так уж давно нахлебался выше горла этого Средиземного, под вечно голубыми небесами Израиля.

Ян отвез его на пляж, совершенно пустынный. Михайлов зашел в воду по колено, принял позу, сделав пальцами "Викторию" – Ян щелкнул – и пошел рассекать набегавшую волну. Как вдруг с берега послышался тревожный крик Яна, и, глянув вдаль, куда тот показывал рукою, Михайлов похолодел: метрах в ста от него два черных плавника наискось пересекали намеченный маршрут. Что есть духу пустился он назад и уже с берега смотрел, как эти зловещие черные треугольные ножи, равномерно выныривая и погружаясь, продолжали свой хищный путь.

Потом уже в Москве получил он из Америки письмо с вырезкой из газеты того же числа, где сообщалось о супружеской паре дельфинов, путешествующих у берегов Лос-Анджелеса, с фотографией черных треугольников. Михайлов смотрел на них растроганно, как на земляков.

На этом краю Тихого не было ни пальм, ни дельфинов, надеяться можно было лишь на атомную субмарину, какие здесь водились и плавали, но все же не каждый день... холоднющая вода, песочек черный, вулканический. Дух сходу захватывает, но после минуты энергических движений – отпускает, ничего. Плыть можно. Эжен только успевал щелкать, потом и сам полез, за дельфина...

Двинулись дальше и скоро поравнялись с небольшой группой народу, которую еще раньше заметили невдалеке. Оказалось, не купальщики, не выпивальщики, а милиция. И стояли они над мертвым телом.

– Бригада тут вчера гуляла, – пояснил старшина. – Допились до чертей. Этому не хватило, пошел в лодку за добавкой, и ну нету его и нету. Пошли, покричали его, решили – домой почапал, ну и хорош, мужик здоровый, чего ему сделается. Утром вернулись домой – а он и не приходил. А они-то думали, он дома давно, а он – вон он. Заночевал, блин. Видать шагнул в лодку да промахнулся. А тут сразу глубоко. Переохлаждение, то, сё, ну и сердце, видать. Пьянка наша. Был бы бич, еще ладно, а то ведь семейный, сороко-

тина (т.е. не молодой уже – Ю.К.), две пацанки. Но, правда, керогазил, как никто. Докерогазился.

Из-под грубой мешковины виднелась крупная голова с белым лицом в глубоких морщинах от ветра и спирта и мощная белая кисть, тоже в глубоких морщинах от палубной работы, перехваченная в запястье стальным ремешком часов с крупными цифрами. Секундная стрелка еще тикала, а его-то время уже сутки как кончилось, а она, видать, думала, он спит.

Дорога уткнулась в склон, они оставили машину, полезли на кручу, поросшую реликтовой камчатской березой с прихотливо изогнутыми стволами, и там, наверху, в березовом изощренном обрамлении открылось просторное окошко – как раз на горло Авачинской губы, с "Тремя братьями" прямо перед носом. Темными ножами торчали они над нежной серо-голубой водой, а сзади их неторопливо перепиливал длинный белый пароход какой-то.

...за горизонт ушедшим пароходом

Оставлен дым на память добрым водам...

– произнес Михайлов задумчиво собственные стихи, наполненные медленным гудом колокола. Перед глазами всплыл Анапкинский берег, и опять потянуло к маяку – сначала, правда, надо найти, согласно плану, Полякова, в Шарóмах, а там уже всё, там уже курс на Ильпырь, без никаких.

Они спустились к "москвичу" и двинулись по вечереющей долине вдоль морского берега слева и тающей в закате череды сопков справа. Грунтовая дорога была широкая плавная, вся в пологих гладких рывтинах, с там и сям блестящей на закате водой от недавних дождей, и Эженов "москвич" до того приятно вальсировал между ними, что Михайлову ужасно захотелось порулить самому. В нем было живо это упоительное чувство вождения, передавшееся ему от множества знакомых автовладельцев, особенно от Ромы Грин-блата, ленинградского композитора, обожавшего кататься на "жигулях", ухаживать за женщинами и сочинять додекафонную музыку. Похоже было, что Рома получал эстетико-эротическое удовольствие в равной степени от каждого из перечисленных занятий. Ленивое природное изящество сквозило во всех его движениях, машина шла по любой дороге, как по маслу – единственное, что отличало Рому за рулем от Ромы за роялем, это беспросветный биндюжный мат по поводу всех остальных водителей, какие только попадались на пути. Лучшее, на что он был способен по отношению к ним, – это не устаивать внимания. Дальше следуют лишь разные степени классовой ненависти. Впрочем, после того, как на тесных извивах Выборгской дороги длинный прицеп чуть не загнал Ромин "жигуль" под встречный "икарус" – нарочно! – Михайлов начал понимать истоки этого гнева. А так-то Ромин стиль вождения – это был класс, "Дунайские волны", ничего другого Михайлов для себя бы и не желал, если бы дошло до дела. Во всяком случае, во сне у него получалось настолько хорошо, что ощущение свободного умения не оставляло его и наяву: казалось, стоит только сесть за руль – и он

поедет.

— Да сколько угодно, — сказал Эжен.

Они пересели, — и он поехал.

На первой скорости, чуть прибавляя или потормаживая, огибая плавные склоны луж или прямо пересекая желтые закатные зеркала, он вальсировал, счастливый — как давным-когда-то-давно, мягко в ритме наклоняясь то вправо, то влево, кружился с прелестной химичкой в Анапке на школьном балу, танцевавшей так упоительно, что чуть не женился... чуть не женился, да... Предложение сделал. В виде заявления: "Прошу выйти за меня замуж". И положил на стол перед ней: — Извольте резолюцию.

Она улыбнулась и начертала в углу:

"Дай мне, дуре, подумать".

— Недели хватит?

— Хватит, — засмеялась она, и ясно было, что хватило бы и дня.

Но — неделя так неделя, а на третий день роман его расстроился. Ну, прямо по Толстому, рассказ "После бала". Он шел по школе, и вдруг услышал яростный голос, в котором не сразу признал свою любовь. Невеста его так злобно орала на кого-то, что не надо было больших усилий, чтобы представить себе семейную сцену в ее исполнении. Чувство немедленно увяло, не успев расцвести... видно неглубоко еще пустило корни.

Впрочем, через месяц он уже гулял на ее свадьбе: рослый гардемарин из Калининградской мореходки, претендент № 2, счастливо воспользовался Михайловской самоволкой. В разгар свадебного веселья, когда объявили "белый вальс", невеста подошла к Михайлову, и они пустились, как прежде, мягко наклоняясь вправо и влево. Она смотрела на него с вызовом (жалеешь, небось?), а он на нее — смущенно (ибо не жалел), так что оба вальсировали с редким наслаждением.

Похожее удовольствие он испытывал и сейчас, перекладывая руль вправо-влево, въезжая — выезжая — объезжая пологие лужи грунтолки. Пока вдали не показался встречный грузовик. Руль тут же перешел к Эжену, и назавтра был непременно назначен урок автовождения по дороге в Шарóмы, к Полякову, бывшему анапкинскому физику, уникальному человеку. Сто лет собирался достать его Михайлов, услышал краем про Шарóмы, послал наобум письмо на школу, и зацепило письмо, выудило Володю через 20 лет, то есть, если без метафор, Володя откликнулся в своей манере, горячо и косноязычно, не изменился, значит.

Всего-то год поработали они вместе в Анапке, а запомнился Михайлову он — на всю оставшуюся жизнь. Такой светлый человек, совершенно чистосердечный. Спортивный, быстрый, легко и озоряюще улыбочивый. Абсолютно бескорыстный. Никакого честолюбия или там зависти или злопамятства. Если на кого обижался, то как-то по-детски жаловался, и вместо: "сволочь Райка, такую подлянку мне подкинула" говорил: "ну, почему, почему Раиса Ивановна так несправедливо поступила?" И уж конечно, во всех видах взаимопомощи и общественных работ он был первым и уходил последним. Тут надежнее его не было человека — и радостнее то-

же, потому что ничего нет на свете лучше, чем вот так вот, дружно, все вместе – перепилить две тонны дров школе на зиму, на солнечном морозце, со смехом и шутками, да желательно тут же их и переколоть, но главное – что вместе, дружно, по-хорошему. Не знаю, как вам – мне это тоже близко.

Вот уж с кем было похожено в походы, и когда у себя в Москве Михайлов перебирал драгоценные свои камчатские архивы, он сразу же наткнулся на Володино лицо и разом вспоминал его самым солнечным воспоминанием.

Хотя было дело, напугал Поляков народ до ужаса – но тоже на свой поляковский лад.

Однажды Михайлов отправился в поход со своими школьниками, и Володя с ними, но не как руководитель и педагог, а как вольный попутчик – тем летом предстояло ему идти в армию, и он хотел напоследок побродить по окрестным красотам автономно, не подлаживая своего стремительного шага к общей медлительной поступи. Тем более, что поход по тундре мог быть стремительным только для него, легконогого. Впрочем, до привала он шел наравне со всеми, так как нес, естественно, самый неподъемный рюкзак, да по дороге нацепил сверх того и еще парочку, облегчив жизнь двум барышням из 7-го класса, впервые пустившимся в это испытание. Он мгновенно поставил все палатки, разложил костер и умчался в сопки провожать закат, вернулся затемно и быстро улегся, чтобы наутро поспеть к рассвету. И хотя Михайлов проснулся не так уж поздно, Володи уже не было, а на его спальнике белела записка: "Привет покорителям Камчатки! Эх, вы, сони! Такой рассвет начинается, а вам бы все дрыхнуть! Да здравствует солнце, да скроется тьма!"

Однако судьба игнорировала его восклицания. Солнце здравствовало недолго: откуда ни возьмись, наплыл широкий караван скучных туч, уселся плоским днищем на верхушки сопки да так и застыл – хорошо бы на денек, а то на неделю. Дождя из него, слава Богу, почти не было, так, немного сеялось что-то мокрое время от времени, – но просвету не было уже никакого.

Однако в тот, первый, день надежды юношей еще питали, записка была оглашена, и после завтрака с бодрыми возгласами: "Догоним Владимира Алексеича!" команда Михайлова полезла в сопки воссоединяться с романтическим физиком. Некоторое время спустя, уже среди нагрянувших туч, обозначилась триангуляционная вышка с еще одной запиской от неугомонного нашего: "Привет первопроходцам! Впереди все новые вершины! Кто догонит, тому шоколадку!"

Далее след его потерялся, время склонялось к обеду, команда вернулась на базу и, отобедав, прикорнула, а Михайлова (впечатлительный мой) стала помаленьку точить тревога, возрастая от часа к часу. К вечеру он разослал во все стороны небольшие поисковые группы, а сам с второгодником Юрой отправился вглубь узкого ущелья, оглашая гулкие сумерки призывными междометиями. Мрачная тишина была им ответом.

Ущелье сузилось и кончилось кручей, уходящей в ночные тучи. Надлежало возвращаться. Михайлов вытащил беломорину. Юра

отвернулся. Ему зверски хотелось курить. Михайлов протянул ему папиросу. Юра отошел к кустам и быстро-быстро задымил в кулак. Хотя вокруг на километр не было никого, кто мог бы заметить это педагогическое преступление.

Ночью еще и заморосило. Михайлов отрядил парочку ребят покрепче в Анапку за помощью, а сам опять потащился по мокрым склонам кричать и аукать. С тем же успехом. Пошли третьи сутки Володиного отсутствия – необъяснимого, ибо невозможно заблудиться в этих уютных сопочках, где все ручьи выводят в открытую тундру, а на ней-то мы с нашим биваком и неугасимым костром – как на ладони. Стало быть, что-то непонятное произошло и безусловно страшное: налетел на медведицу с мишенятами; оступися на круче, сломал ногу, спину, голову; встретил беглого убийцу... Судя по оставшимся вещам, убыл он в одной рубашоночке и без никакой еды.

Третье утро выдалось сырое и тусклое, но все-таки без дождя и тумана, и это помогло уже издали заметить устало ковыляющую в сторону бивака знакомую фигуру.

– Как же тебя угораздило? – спросил счастливый Михайлов, когда блудный сын утолил трехсуточный аппетит.

– Понимаешь, елки зеленые, – сказал Володя, – как тучи налетели, смотрю – ничего не вижу, где запад, где восток, точно: заблудился. Ну, и вспомнил, еще со школы: если заблудишься, выбери какое-нибудь одно направление – и вперед, не глядя, куда-нибудь выйдешь. И пошел я влево. Ну, в общем, и вышел, только далеко.

Свернули бивак, тронулись домой, – а навстречу половина Анапкинского начальства, на помощь, в ракетах и сигналах с ног до головы, побросали свои кабинеты, воспользовавшись Володиным несчастьем, и бегом в тундру, спасать, заодно и поохотиться. Мало того – из-за бугра с рычанием вывернулась вездеходка из соседней погранчасти – ехать подано! Они и поехали. А начальство, только что не с песнями, отправилось в сопки, добывать рабочий день в поисках дичи, а скорей всего, чьей-нибудь доброй землянки с приятной целью употребить припасенный для Володи медицинский спирт совсем по другому назначению.

После армии Володя вернулся, женился и немного покочевал по Камчатке, осев в конце концов в Шаромах, – куда и ехал сейчас Михайлов по широкому Мильковскому шляху, завивающему за каждой машиной плотный пыльный самум. Правда, они попадались не часто.

– Да, – сказал Эжен, – не то теперь движение. Бензин дорожает, бабок нет ни у кого. Так что спокойно можешь приступить к автообучению.

Михайлов немедленно сел за руль.

Через час, злой и потный, он плюнул и перестал: ничего не давалось ему сегодня! Как только он сосредоточился на правильном исполнении элементарных операций, вся координация разъехалась. Начиная газовать – руль съезжал на сторону; выравнивал руль – мотор глох навсегда; включал зажигание – забывал про

сцепление. И как на грех, посыпались навстречу машины одна за другой, каждый раз повергая Михайлова в позорную панику. Эжен тактично помалкивал, что еще больше действовало на нервного нашего.

А ведь он о чем мечтал.

У них дома ведь была своя машина "жигули"- "копейка". Это была хозяйкина затея, – сам-то Михайлов обходился коммунальным транспортом. Она – другое дело: не любила она автобусы-троллейбусы, а метро – просто ненавидела: так давил на нее подземный потолок. Как-то в Норильске ей с Михайловым показывали шахту на километровой глубине, – она поднялась еле живая. Что говорить. Такая натура. Вернее – порода. Особенная, да. Он с самого начала назвал ее: принцесса. Однако в обиход не пошло, да и не могло, потому что это – определение, а не кликуха. Так что прижились вполне легкомысленные словечки, вроде "И-и-ися", – но определение было точное. Только не та принцесса, что, дрожа от холода, постучалась в полночь, а потом не могла уснуть из-за подложенного гороха, а другая, совсем другая:

*Щека в мазуте,
в зубах "Дымок",
В руках канистра –
и я у ваших ног...*

Всем видам транспорта она предпочитала такси – еще точнее: автомобиль. Частный, дружеский, лучше – свой. Как только представлялась возможность, завели "жигуля". Как только она стала учиться водить – он начал за нее бояться. И вот она уже научилась, и очень хорошо, и уже возила дочку, а там и внучку – все равно, всякий раз, садясь с ней в машину, он напрягался. Это ее обижало, но он так ничего и не мог с собой поделатъ и всячески увиливал от ее предложений прокатиться. Хотя вполне хладнокровно сидел рядом с начинающим Дашкевичем – знаменитый композитор делал свои первые автошаги с большим риском для жизни окружающих (как и своей). Конечно, она обижалась. Да и не только по этому поводу. Принцесса есть принцесса. Она не высказывает пожеланий – их надлежит угадывать и предварять. Это Михайлову иногда удавалось. И тогда он видел в ее глазах то, что особенно любил: чистейшую высочайшую радость. Вот он и мечтал: научусь на Камчатке водить, и тогда в Домодедовском аэропорту, садясь в "жигули", он неожиданно отстраняет ее от руля, садится сам, включает зажигание, стартует и шикарно едет по Москве, небрежно расспрашивая о столичных новостях.

А пока – во сне у него лучше получалось, чем на Мильковской дороге. Махнул он рукой, и повлек его дальше Эжен, небрежно расспрашивая о столичных новостях.

Шарóмы – поселок в долине реки Камчатки, посреди здешней кудрявой тайги, с комарами величиной с собаку. Над долиной со всех сторон возвышаются высокие сопки, заслоняющие эту красоту от большого ветра. То-то здесь зимой снега большие, нетронутые, сахарные. Камчатская Украина. Зеленые пастбища, огромные

огороды, все в белых березах. В центре – небольшая, вполне городская пятиэтажная улочка – конечно же, Имени Великого Октября – тут-то и нашелся Володичка Поляков с женой Зинаидой, и друзья обнялись, как вчера расстались, а не 20 лет назад.

Но составить Михайлову компанию в его походе на Ильпырский маяк Володя не мог: всё, прощай, Камчатка, прощай, народное просвещение – здравствуй, тихая пенсия в далеком-далеком Старом Осколе, почти на Украине, только настоящей, украинской, пусть без лосося и икры, зато со шкварками и свежей овощью, – и, конечно же, с черной тоской по Камчатке, это Михайлов им гарантировал, да и Володя уже предчувствовал, да он бы, может, и не поехал бы: не Камчатка его гнала, а то великое разорение, которое везде (а на Дальнем Востоке особенно) настигло простого человека и гноит его который год.

– Какой был совхоз, какой совхоз! Богатейший! Да он один мог бы всю Камчатку кормить, и еще Магадану бы хватило. Так нет же, надо все поломать – поломать и бросить. Я тебе точно говорю: это вредительство, больше ничего. Чубайсы эти ваши, гайдары, дорвались до бесплатного – видеть не могу эти рожи гладкие!

– Смотри, какой коровник был, – а теперь что? Как Мамай прошел. Зачем? Почему? Ломать не строить. И никому ничего не докажешь. Раньше хоть райком был, обком, – а теперь куда пойдешь? В райсобесе – три человека в одном кабинете, и то говорили: бюрократы, чиновники, – а сейчас их тридцать три на весь этаж, а толку? А никакого! Им самим по полгода не платят, что уж о нас говорить. Ни пенсии, ни света, ни тепла.

– Вон у меня огород, чуть не гектар – что делать? Без него никуда. Я тут так вертелся, с утра до ночи, и учитель, и фермер, и физик, и ветеринар – я же скотину держал: двух коров, лошадь! Как жив остался, не знаю. Взять-то теперь можно всё, – да только вот держать невозможно и сбыть некуда. Картошку собрали, свезли в город, – веришь, на рынке стоял, торговал – ты можешь это представить? Ну и наторговал – только-только бензин окупить, на котором возил торговлю эту. Теперь вон "запорожец" бы продать, "урал" новехонький, сосед уезжал, за копейки продал, а я и за копейку не могу: денег-то нету ни у кого.

Михайлов во все глаза смотрел на этого нищего богача, на его погреба, сараи, поленницы и хомуты, уже подернутые пылью оставленности, на эти его каторжные труды, потраченные вхолостую, и тоже возделвал душевные руки к небесам: за что, Господи? почему? откуда?

Ответ-то он знал, но кого же утетишь рассуждениями о неизбежности издержек переходного периода в стране с уничтоженной культурой частного хозяйства и общественного устройства?

– Зато, – сказал он, положив Володе руку на плечо, – скоро вы будете в Старом Осколе. Благословенное место, как я слышал. У нас там по соседству ранчо на речке Псёл, и на машине до вас – ну, от силы часа четыре по этим шелковым тамошним асфальтам, а хозяйка моя, принцесса, водит божественно, будем ездить по грибы – там маслята в августе – ломовые, абрикосы – ведрами,

греческий орех – мешками, переедете же вы в конце концов!

Но Володя ехал еще два года: не было денег для него, не было ни у Черномырдина, ни у Кириенко – у Примакова нашлись только. Правда, к тому времени Михайлов продал свои "жигули".

И откуда же взялось это нежное гриновское слово – Оссора? Даже лучше, чем Ассоль. Кто же это к базарной ссоре, к кухонной сваре догадался добавить это волшебное "О" и превратил брань и драку в песню флейты, в имя нимфы? Михайлов наш, певец Камчатки и филолог, этимологических корней так и не обнаружил. Может быть, потому, что и не хотел положительных разъяснений. Пусть среди этих географически логичных (Усть-Большерецк – устье реки Большая) или этнически привычных (Карага, Тиличики) так и цветет сказочным лотосом (логосом) – Оссора.

Она стоит на изгибе Карагинского залива, уютным пятиэтажным городком, осененная собственной, такой домашней, односторонней сопочкой, которую снизу подчеркивает длинное, параллельное морскому берегу пресное озеро, с одиноким островком посередине. Когда-то Михайлов не поленился, сплавал туда в лодочке с двумя барышнями десяти лет от роду, – и конечно, обнаружилось на острове свое сокровище: богатая плантация роскошной тундровой малины – княженики, попадающей обычно далеко в тундре и нечасто, а тут – прямо под боком, буквально рядом с плитой, в которой к вечеру как раз и поспел пышный пирог с этой сладостью.

Столица Карагинского района – Оссора.

Сюда, описав упоительную дугу над заливом и сопкой, и прибыл "Яшка" (ЯК-40) с Эженом и Михайловым.

Пока они смотрели вдаль, решая, ждать ли автобуса или двигаться самоходом – дорога близкая, – перед аэропортом лихо развернулась разбитная (и полуразбитая) "хонда", из нее объявился коренастый в пиджачке, канул в здание аэропорта, тут же и вернулся и, проходя к машине, притормозил рядом с Михайловым:

– Товарищ Михайлов. Приветствуем на родной земле. Всё про вас знаем. Читали, слышали. Милости просим. Было бы время – сам сходил бы с вами на маяк. И на маяк, и на Верхотурова, и на Карагинский.

– Да вы, что ли, тоже анапкинский?

– И анапкинский, и оссорский, и солдатский, и матросский – Толик я, Толик Моторин, не слышали? Вы когда последний раз были? А, ну ясно, я еще во Владике загорал, – но уже и там про вас слышал, как же, волна до небес раскачала МРС, знаем-знаем, всё, поехали.

Лишь усердным и тщательным трудом японских мастеров объяснялась поразительная живучесть его драндулета, сравнимая разве что с жизнелюбием его хозяина. "Хонда", как Дубровский, – шла, не разбирая дороги. Так же непредсказуемо развивался Толиков монолог.

– Этих тачек у меня перебывало! Сколько баб, наверно, столько тачек. И с правым рулем, и с левым. Ничего, нормалёк. Кресла же у всех раздвигаются, главное дело, чтоб было куда баб положить по дороге. А вообще-то я тоже сочиняю. На северах одну мою песню

до сих пор поет весь флот, может, слышали? Называется "Механик, эй!" (поет):

Механик, эй!

Мотор заводи скорей!

Поедем к ней, пока цветет весна!

Ништяк, да? И на зоне ее поют. Мне садиться – хоть завтра. С распростертыми. Спирт, бабы – всё будет. Потому что бизнес. Теперь загреметь – два пальца обоссать. Не жизнь – минное поле. Шаг вправо, шаг влево – считается писец. Но Чубайс – человек! Ну, рыжий, ну, фраер, блин! Не, нам с евреями сто лет не сравняться, ты что. Высший класс! Но на маяк – это я понимаю, святое дело. Как всё равно что символ, блин. Одно слово: маяк! Но и сам не будь мурак. А то у нас был один такой на базе...

...В Анапку? Ноу прблем. Для других прблем, а с вами Толик Моторин. Послезавтра сюда гонят оттуда труп. По пьянке замочили одного бича. Спецрейс, Альберт придет, ну, капитан, я ему скажу, он вас захватит. По утрянке придут, после обеда обратно. Вы где, у Кормачонка? Знаем-знаем. Я за вами заскочу. А завтра брякну, к вечеру. А послезавтра уйдете с Альбертом.

Кормаков Владимир Иванович (ласкательное: Кормачонок), бывший ученик Анапкинской школы и солист в ансамбле у Михайлова, несмотря на свой почти полтинник, мало изменился за последние 30 лет. Невысокий, кругленький, с породистым кормаковским шнобелем – матушки тети Тоси наследие, горластый в силу некоторой приглуховатости, и с такой походочкой вразвалку, как у всех мореманов наших – хотя всю-то свою жизнь отдал мирной почтовой службе. Попеть на сцене, повыступать – это он любил и даже имел грамоты, Мольера играл, мнимого больного, с полным успехом в районном масштабе, да и теперь еще числится в хоре ветеранов, хотя уже неумолимо выжимала его оттуда растущая глухота.

Эжен с Михайловым тряхнули мощной по случаю встречи и украсили Кормаковский борщ заморской водочкой.

– А я уже восемь лет как не пью, – с видимым удовольствием сообщил Кормачонок, дорвавшись до свежей аудитории. – Всё, я свое отксеросинил. Сколько денег эта зараза жрет, ну-ё на фиг, а пользы от нее – один вред. А вот так и завязал, как отрезал, и ни-ни, ни грамма, ни пива, ничего, а сухое это, кислятину долбаную, я и отродясь в рот не брал.

И чтоб совсем уж доконать аудиторию, выдал сходу и другую свою сенсацию:

– А я и лекарства не пью. Только от диабета, всё. Сколько лет голова болела, таблетки эти – горстями, надоело, сил нет, взял и выкинул. А вот так: выкинул на фиг и всё. И голова прошла, на другой же день. Как рукой. Гад буду. Какой год уже, и хоть бы что.

Гости смотрели на это чудо природы совершенно потрясенные и водочку старались тянуть как можно деликатнее, отставя мизинчик.

Вечером в Оссорской бухте было тихо. Беленькими пальчиками камушкам горячим наигрывает песенку прибой, – как сказал певец Камчатки. Михайлов вдыхал любимый воздух и вспоминал, как лет

десять тому гулял он по этому берегу с принцессой своей. Она от души любовалась пейзажем, хотя и не без легкого удивления. Она приехала на Камчатку взглянуть на соперницу: что же такого в ней особенного, что так мощно и постоянно влечет к себе Михайлова? И она все не могла увидеть ответа. Как тогда, раньше еще, привезли его сюда снимать ленинградские киношники – певец Камчатки на присущем фоне, и, оглянувшись, оператор Леня, бывалый человек, молвил с искренним недоумением:

– И ты три года торчал в этой дыре?!

И Михайлов на какую-то секунду так и глянул приезжим глазом на родимый берег и поразился: действительно! дыра дырой. Но секунда прошла, и всё стало по-прежнему родным. Любовь вернулась.

Эжен задумчиво глядел на залив. Там, залитый неестественно ярким электричеством, стоял большой плавучий агрегат, торча во все стороны мачтами и кранами.

– Мистер Форест, гад, – кивнул на него Эжен. – скоро весь Тихий океан его будет. Краба берет. Везде, где увидит. Хоть у Японии, хоть у Китая, хоть у нас. Империалист, сука.

Сказано было с горечью: мистер Форест был для Эжена империалист не только по крабам, но и по чужим женам.

А моторный Толик и не позвонил, и не заскочил. И пришлось путешественникам с утра пораньше пилить на пирс, разыскивать там среди катеров, который из них из Анапки с трупом, а, найдя, идти в контору сторожить кэпа Альберта, который оказался, к позору Михайлова, в полном неведении на его счет и никаких его песен не слыхивал, да и вообще был мрачен по каким-то собственным причинам, вспомнить хотя бы, с каким грузом пришел. Однако взять с собой согласился, назначил время отхода, и Эжен с Михайловым, закинув свои рюкзаки к нему на палубу, пошли к Кормачонку прощаться.

– Ты там, в Анапке, на кладбище когда зайдешь, маму навести. Там памятник должен быть, сразу как войдешь, направо. Да там написано.

– Сам-то давно там не был?

– А как похоронили. Оградку, памятник поставили, честь честью – чего еще? Никаких больше дел не было туда ездить. А сейчас вообще. Вертолет знаешь сколько стоит? А морем 12 часов – замучаешься блевать.

Не успели они вернуться на пирс, как в клубах пыли и грома возник моторный Толик и, словно продолжая Кормачонку, закричал:

– Садитесь, поехали! Сейчас в Анапку борт пойдет, рыбнадзор, я договорился с вертолетчиками по полтиннику с носа и лады. Отобедают, и на старт. А то чего вам 12 часов на катере пилить? Блевать замучаетесь. Когда тут лету полчаса.

"Хонда" взревела и унесла их к вертолету. Оранжевый гигант подремывал в чистом поле. Входной люк был открыт, поднялись по трапу, вошли – никого.

– Ну, вы здесь побудьте, а я мигом, – махнул рукой Толик и провалился.

Через час в проеме люка показалось лицо и спросило, что они тут делают. Затем равнодушно сообщило, что рейс отложен по метеоусловиям. Над Оссорой сияло солнце, и ничто не предвещало ничего. Кроме того, что по расписанию гробовой катер отвалил от пирса в Анапку уже полчаса как. Оставалась надежда, что и там отбой по метеоусловиям. Друзья подхватились и быстрым шагом покрыли эти три километра. У пирса катера уже не было. Далеко на горизонте маячил его силуэтик, собираясь скрыться за мысом окончательно.

Тут опять завертелся пыльный смерч, и мрачный Толик, не отвечая на возгласы, пронесся мимо и скрылся за дверями конторы. Оттуда же минут через десять и показался, вполне уже успокоенный и благодушный.

— Ну, всё, хоккей. Авиация что, авиация дело ненадежное. Сейчас погода есть, через минуту ее нет. Камчатка. А на море погода круглосуточно, был бы пароход. А у Альберта пароход что надо.

— Так он же ушел!

— Куда он денется. Как ушел, так и придет. Над ним тоже начальники есть. Я сказал: доставлю вас в Анапку — значит, доставлю. Привет маяку.

Вот так вот оно и было, на самом деле. Снял моторный Толик, снял катер с горизонта, вернул его на Оссорский пирс, чтобы забрать наших странников презренных, посмевших предпочесть морскому транспорту воздушный. Стараясь не попадаться на глаза хмурому Альберту, вновь перекинули они свои рюкзаки на знакомую палубу и живо спустились в кубрик, где для спокойствия души приняли по большой дозе фирменного Эженова самогона из американской полиэтиленовой плоской фляги, несмотря на свой четвертиночный вид, вмещающей ровно пол-литра. Хорошая доза пошла Михайлову впрок, чего не скажешь об Эжене. Его вестибулярная система была слабже. И когда через час закачалось — катер вышел из залива в открытое море — Эжен побледнел и поневоле вспомнил все их недавние обильные трапезы, включая и последнюю дозу. Натянув на себя куртку, он судорожно скрючился в носовой койке, пододвинул поближе угольный бак и так застыл, время от времени переводя дух. Вид его был для Михайлова непереносим, он поднялся на палубу, под сырой ветер, и сразу ему задышалось вольно и хорошо.

Подошел к нему молодой матрос, Коля, Колюня.

— Вы меня помните? Ну, тот раз, вы приезжали, еще концерт был в клубе, я еще в первом ряду сидел, помните?

Давно Михайлов не встречал такого простосердечия, такого чистого, открытого лица — невинный отрок смотрел на него с высоты своего метр-девятиности, и даже в темноте было видно, какие у него синие глаза.

Он только пришел после армии. Дядя пристроил его на катер. Есть невеста, еще со школы, с одного класса. Он учиться дальше не хочет. Сейчас и так можно хорошо заработать. И на рыбе, и на икре. Если с умом, то много чего можно. Невеста его — хорошая будет жена. Всю армию прождала, ни разу на танцы не сходила. Только не любит, что он выпивает. Так пока молодой, то что уж.

Здесь ведь без этого как. Камчатка. А песни ваши здесь знают. Ваши, Высоцкого и Розенбаума. Как же. Волна до небес раскачала МРС. С детства. Высший класс.

Всё это говорилось негромко, задумчиво, с такой доверчивой улыбкой, что у Михайлова сердце защемило, до того захотелось, чтобы всё у юноши сложилось хорошо.

Тут Колюню окликнули с кормы: команда, похоже, собиралась выпить. Михайлов сошел в кубрик и прикорнул напротив Эжена, скорчившегося в тревожном сне над угольным баком...

Уснуть не удалось. В кубрик по крутому трапу с грохотом свалилось чье-то длинное тело – это был Колюня, с безумным лицом и невнятным мычанием. Он тупо посмотрел на Михайлова ("Мммм?"), сидя на полу, затем уронил голову на плечо, судорожно всхрипнул, очнулся, и поэтапно поднялся на ноги, качаясь и мыча. Вместо красивого отроческого лица было какое-то белое подрагивающее желе. Чего-то ему хотелось... "Мммм... Мммм..." Медленно, неуверенно, но целеустремленно Колюня нашарил молнию на джинсах и выкопал оттуда этот свой бледный шампиньон и, хватаясь свободной рукой за стойки и потолок, двинулся, вернее, шатнулся к угольному баку, куда со своей стороны свешивался Эжен – так что шампиньон нацелился прямо ему в нос. Мерзость какая.

– Эй! Эй! – окликнул Колюню Михайлов.

Тот не услышал. Зато Эжен проснулся, ахнул и с криком: "Ты что? Ты что?" – в отчаянье не только развернул, но и вознес эту распадающуюся каланчу по трапу вверх и поставил в галюне точно над очком.

С грустью смотрел Михайлов вслед. Многие жизни, съеденные водкой, припомнились ему. Но этого – особенно было жалко, потому что ясно было: не оттого скоро напился, что молодой, а оттого, что уже давно не может без этого.

Качать, однако, перестало. Катер заскользил ровно, как фигурист по льду, – вошли в залив Уала, и сквозь ночную темень замигала цепочка огоньков: Анапочка моя, как поется в песне.

Их встретил на мотоцикле с коляской Юра Чувашов, тоже бывший ученик, и поселил их в местной гостинице – трехкомнатном блоке с общей кухней, превращавшейся по вечерам в таверну для командированных механиков (флот готовился к путине). Другой бывший ученик помог с посудой, третий – с сапогами для тундры, четвертый – просто напавал закармливал икрой и пельменями. Это был маленький реванш Михайлова у Эжена. Мореходный доцент у себя в Петропавловске на коротком отрезке "Дом – магазин "Вина" успевал раскланяться направо раз пять, а когда встречал Михайлова в Елизове, то на вопрос "Как поедет: автобусом или такси возьмем?" – ответил снисходительно: "Ну вот еще. Деньги тратить. На ученике поедет. Не может быть, чтоб не было". Учеников было, даже два. Мореходный диплом – вещь на Камчатке очень полезная, и Эженова помощь в его получении была неоценима. Речь не о взятках – просто в случае чего ученик всегда был под рукой.

В первое же Анапкинское утро Михайлов повлек Эжена на мор-

скую сторону:

– Вон он.

Справа на полгоризонта тянулась сутулая туша Ильпыря, похожая на сивуча, припавшего к океану носом, на конце которого виднелся крохотный столбик.

– Маяк? – догадался Эжен.

Три года каждый день смотрел Михайлов на сивуча этого, белого зимой и пятнистого летом, с маяком на носу – пожизненный символ Михайловской Камчатки, – хотя маячок уже не вспыхивал, а просто темнел, и во всем мире никому уже не был нужен, кроме Михайлова.

Дня три они ошивались по поселку, бродили вдоль обоих берегов, навещали старожилов – и всё ждали если не солнышка, то хоть надежно сухого дня, чтобы пойти. Километров восемь по узкой песчаной косе, подняться и идти тундрой по краю плато, понад обрывистыми краями огромного птичьего базара, километров пять до конца, где маяк. Там тридцать лет тому бродили они, и Михайлов, и Поляков, с учениками и без, и подходя, бывало, к краю, любили они бабахнуть над обрывом дуплетом из двустволки – чтобы насладиться пышным взлетом тысяч птиц из-под ног веером в небеса, галдящих и взмывающих по всем направлениям. А то еще цепляли на трос какого-нибудь храбреца полегче и давали ему две кастрюли: одну на голову вместо каски, другую – к поясу для добычи. Потравливая трос, майнали добытчика помалу, и он аккуратно обирал чайчьи гнезда – разумеется, не дочиста, так, по яичку с гнезда, и, набрав кастрюлю, вирался обратно, а там уж на большой сковороде творился омлет-гигант для всей честной компании. Где-то неподалеку и водопадик пресный водился – специально для ихнего чаю.

В ожидании погоды бродили они взад-вперед по любезной Анапочке, от пирса до аэропорта, состоявшего из одноэтажного домика с залом ожидания и кассой и бетонного квадрата для вертолетов. Рядом чернела поселковая свалка, а чуть поодаль и кладбище. Какой-то смысл мерещился Михайлову в этом триединстве, но все никак не связывалось оно в единый узел. Небесный старт и земной финиш? Но причем тут мусорные отбросы? Только портят метафору.

Навестили они могилки, навестили. Постоял Михайлов и над Юрой Ащеуловым, и над Женей Руденко, потом хватился искать тетю Тосю Кормачиху – однако сколько ни вглядывался в надписи, знакомую фамилию так и не разыскал и вечером позвонил Кормачонку.

– Здрасьте! – закричал тот в ответ. – Как это нет? Как войдешь, справа, как это нет!

– Нету там справа никакой Кормаковой Антонины.

– Здрасьте! – еще громче закричал Вовка. – Так какая же она Кормакова? Она же Шалаева! А никакая не Кормакова! Шалаева она!

– Так что ж ты не сказал-то?

– А чего говорить-то, когда она никакая не Кормакова! Всегда Шалаева была!

– Она тетя Тося для меня была.

– Ну! А я что говорю? Шалаева! Тетя Тося!

Анапка совершенно преобразилась. По пальцам насчитывала она уцелевшие бараки своей юности. А над ними – двухэтажные многоквартирные дома. Роскошный детсад в трех корпусах. В квартирах водопровод, санузел, отопление, электроплита о трех конфорках. Не хуже, чем в Оссоре, блин. С морской стороны навсегда исчезли сортирные эти сараи на 20 очков каждый, и океанский прибой перестал заниматься ассенизацией. Теперь две говновозки мотались между поселком и сливной ямой, вынесенной далеко за околицу. Да с ними мусорка, пополняющая упомянутую свалку. Да тротуары вдоль улицы, да громадная школа, с высокими окнами – теперь и здесь такие. Да что говорить! Живи не хочу. В те-то годы о подобной роскоши и мечтать не думали.

И вот парадокс. Чуть не у каждого дома – контейнеры. Разъезжается народ. Только наладились жить по-людски – а жить-то стало и незачем. Ни зарплат, ни будущего. И детсад практически пуст, один корпус только и работает.

А клуб сгорел. Черный огрызок фасада – всё, что от него осталось. И стоит безобразная руина прямо у въезда в чистенький поселок, у которого уже нет сил не то что восстановиться – хотя бы руину убрать. Клуб! Боже мой... клуб! Где столько радости и жизни! песен и любви! Уж не говоря о настольном теннисе, эти два стола в просторном фойе, где Михайлов единственный раз в жизни стал чемпионом, благо оказался в подгруппе слабаков, и когда Кормачонок вышел против него на финальную игру, то Михайлову было даже немного стыдно с ним сражаться – с ним, по которому только что проехали такие танки, как Грузинский, Рысин и Пеунов.

И вот – обгорелый кусок стены с окошком для кассы, сквозь которое видать дальнюю тундру.

Всё больше и больше овладевало Михайловым странное нетерпение – быстрее пойти к маяку и прийти к нему наконец, осуществить тридцатилетнюю мечту. Слово что-то должно там, у маяка, ему открыться.

И пришел день, тихий, сухой, с просветами солнца.

Они двинулись.

Прошли горелый клуб, прошли пирс, потом участок с разделочным цехом, с икорным, холодильник, еще один причал с целым лесом мачт отдыхающих перед путиной МРСок, контору прошли, склады, потянулось корабельное кладбище: пара плашкоутов, большая ржавая самоходка, и вот на отшибе – последний катерок, на вечном причале, доржавливает свое.

На борту его четко читалось:

15 – 29

Михайлов замер.

ЖК – железный катер, жучок, ободранный, разоренный, но с теми же красивыми обводами, с той же юношеской фигурой, как и тогда, – слегка накренясь, стоял на последней стоянке, потихоньку вращая в черный песок, погружаясь в глухое забвение, – и все-таки еще оставаясь жить, пока жива та, вдохновленная им, песенка:

*15 – 29, отчаянный жучок!
И что б мы стали делать, кабы ты нам не помог?
Олег машину врубит – машина тук да тук,
Марсель на вахту вступит – и жук, наш друг,
уж тут как тут –
И только разбегаются волна-а-а!..
С похмелья Саня встанет...
Петрович карту глянет...
И только брызги по ветру летят!..*

Уж походил на нем Михайлов, тогда, с ленинградскими киношниками, и в Тумгутум, и в Пахачи, и на Верхотуров остров, где рыжие сивучи так и посыпались с уступов в воду, а в устье Анапки час целый разливался на корме под гитару, вызывая из зеркала бухты усатые мордочки любознательных нерп.

*Гляжу и удивляюсь, понять не могу, ей-ей,
Как, шторма не пугаясь, так и скачет этот воробей.
Одна волна подкинет – аж сердце тук да тук,
Другая в жопу двинет – и жук, наш друг,
уж тут как тут –
И только разбегаются волна-а-а!..*

Однако вот – свиделись.

...Тянется–потянется серая узкая коса – полста метров между морской стороной и лагуной, – не спеша приближая дремлющую тушу Ильпыря.

Вода была тихая.

Небо покрывала белесая кисея, совершенно безопасная, скорее приветливая. Ее время от времени прорывало, где-то вдали выскакивал пучок солнечных стрел, зажигая на воде яркое пятнышко.

Эжен шел и вспоминал вслух какое-то сказочное свое путешествие с красивой актрисой на первобытное безлюдье чистой речки, обильной рыбою, под сенью импортной палатки – две недели рая в Камчатской Швейцарии, как именуют это место. Не прерывая рассказа, он остановился, обнажил мускулистую фигуру гимнаста, почти не тронутую ни пятью десятками лет, ни сотнями выпитых бутылок, и пошел, пошел в воду, в море-океан, навстречу дальним солнечным пятнам, выманивая на себя, – и солнце не выдержало и посветило сюда, к ним, и тогда он пустился, пофыркивая, брассом.

А Михайлова вспыхнувшее солнце разом перенесло на Черное море, в Коктебель, на пустынный бережок, в зеленую мерцающую глубину, со дна которой медленно всплывает к нему русалка в желтеньком купальнике и плывет прямо в его протянутые руки.

–...и представляешь себе, – продолжил, одеваясь, Эжен, – она разыскала нас! В этой глуши! Достала все-таки! Вроде бы всё, разбежались, никто никому ничего – но, видно, надо было ей убедиться, или, может, еще на что-то надеялась она, не знаю, до сих пор не знаю. Но концерт она закатила – будь здоров, она, я думаю, даже сама от себя не ожидала. Что ты! Попадись ей под руку ружье – мы бы сейчас здесь с тобой не разговаривали.

Они шли с морской стороны по черной полосе отлива, прибито-го прибоем до асфальтной прочности, что и подтверждалось слабыми следами мотоцикла.

Вдали зачернелась какая-то куча. Над ней копошились чайки. Когда приблизились, чайки с криком взлетели. Из-под них показалось морщинистое белое безглазое усатое лицо. Старый мертвый морж. С Верхотуровской лежки. Клыки уже выломаны. Бедная сорочина. Небо, океан, тысяча лет до нашей эры.

Хотя вон он, маяк-то. Маячит, хоть и не светит уже. Наша эра, наша.

Наконец разноцветные пятна Ильпыря стали прояснять свое содержание: это – кустарник; это – моховая поляна; это – осыпь каменная; это – снежничек грязный. Вот и кошка кончилась, тропа пошла вверх, вывела на плато, на спину спящего сивуча, и повела к маяку. И Михайлов вцепился в него глазами и не отпускал, пока маячок из маленького столбика не превратился в бетонную двух-этажную башню с поручнями на верхней площадке.

И они пришли и мягко опустились на мох, опираясь спиной о бетон цоколя и глядя перед собой на океан, разбежавшийся перед ними во все стороны, до самого неба сизой поблескивающей массой воды.

И Михайлов не удержался. Всю дорогу клялся он себе: ни за что не произнесу этих слов – они вылетели сами собой:

– Сбылась мечта идиота, – сказал он.

С этими словами он легко вскочил, вбежал в башню и по белому от сухого птичьего помета трапу взлетел наверх и встал там, как капитан на мостике, положив руки на поручни.

Постояв, он спустился вниз. По рыхлому мху подошли они к краю обрыва и криком подняли нескольких чаек с уступов птичьего базара. Полюбовались на черные змеиные шеи бакланов, на красные попугаевы клювы топорков.

Походили, посовались еще туда-сюда. Видели внизу под обрывом прожевавшую лисицу. Сели закусить. У Эжена было. Событие надлежало отметить. Все-таки 30 лет как-никак.

Михайлов смотрел вокруг и ждал чего-то. Старался припомнить те, давние, голоса, смех, пытался вызвать милые тени и населить ими вновь эту доисторическую пустыню.

Простор, тишь, старая обшарпанная башня на краю мира. И никакие мудрые мысли не лезут в голову как назло. И никакие особенные чувства.

Выпили водочки (Михайлов подумал: зря). И тут озарило его яркое воспоминание – как тогда, десять лет тому, после часа в тряском грузовичке принцесса его вышла в тундру и опустилась на мох. И так это она уютно прилегла на пологий склон, как дома на тахту любимую. Как и полагается принцессам, она любила повозлежать на подушках. Здесь же случай предоставил ей диван шириной в сто квадратных километров, при идеальном сочетании мягкости с упругостью и потрясающей расцветки. Не поднимаясь с места, можно было лакомиться морошкой. То есть еще и буфет. Она пробыла в этом положении полдня, а когда Михайлову захотелось усилить идиллию каким-нибудь букетом, то недалеко на-

шласть и стройная колония темно-синих ирисов, поразивших его гораздо сильнее здесь, чем много позже другая колония – махровых бледно-сиреневых, на горе Гильбоа близ Назарета.

И он словно наяву услышал ее ласковый и чуть насмешливый голос, донесшийся с моря за 11 тысяч километров из Украины через Сибирь:

– Ну, что, Масинька? Дошел ты до своего маяка? Осуществил мечту? Поздравляю тебя, очень рада... Теперь куда?

– Пора идти в Шишаки, – сказал Михайлов.

Эжен (уважительно):

– Маэстро, ваши масштабы меня восхищают: из Голливуда – в Москву, из Москвы – в Коряки, из Коряк – в Шишáки, и всё это в такой короткий срок.

– Да причем тут масштабы, – сказал Михайлов. – Я туда иду всегда.

С этой туманной фразой он поднялся и пошел в Шишáки. Которые там, на Полтавщине, цветут между Миргородом, Сорочинцами и Диканькой. Он шел с нарастающей бодростью, словно поняв весь глубинный и подлинный смысл своего путешествия, и, озаренный этой догадкой, широко улыбался. И по тундре Ильпыря шагалось легче, чем туда, а когда нога ощутила плотный асфальт приливной полосы, то словно крылья появились, и дорога сама полетела навстречу.

Тут-то и сказала свое слово водочка, выпитая хотя и по делу, но невпопад. Знакомое поташнивание. Началось и живо выросло в мучительную загрудинную изжогу, пульс умножился и измельчал, и стал работать отдельно от организма, который, обмякнув, на полусогнутых, доковылял до травы и растянулся на ней неподвижно.

И валидол, оказалось, забыли.

Сердце лихорадочно тикало в стороне, остальное тело безучастно слушало, когда оно перестанет.

Последний раз глянул Михайлов в ярко-желтое закатное небо и закрыл глаза.

Потом еще раз глянул в последний раз.

Внезапно для себя попросил: "Господи!.."

Потом долго лежал, пока не понял: кажется, обошлось.

Все-таки надо было дойти до Шишак.

Эжен мрачно сидел рядом, потому что некуда было бежать. Да Михайлов и не отпускал его со страху.

Михайлов сел. Посидел. Палку бы. Эжен нашел. Михайлов, тяжко опершись, поднялся. Потом стал идти.

Шел он медленно, останавливаясь. Как-то механически шел. Даже не "как-то", а "именно". Он назначил себе порцию в сто шагов и так, порционно, и передвигался. Этот монотонный ритм помаленьку восстановил силы и воссоединил сердце с организмом. К Анапке подошли уже при порции в двести шагов. Шишáки приблизились на 12 км.

Пешком до вертолетной площадки – вертолетом до Оссоры – "Яшкой" до Елизова – на ученике к Эжену, на Эжене опять в Елизово – "ИЛом" до Москвы – поездом до Полтавы – частником до Шишáк. И всё это скрытно, никаких телеграмм и звонков.

Дома в Шишáках не было никого. Гулять ушли. Он рассовал по углам признаки приезда (сумки, значит), сел на стул, прикрылся газетой и стал ждать.

Послышались голоса. Как по заказу, она вошла первой – и увидела посреди комнаты развернутую газету и чьи-то ноги из-под нее. Она взялась за сердце, подошла, опустилась рядом на колени и сказала:

– Ой!..

И закрыла глаза. Потом открыла.

Столько счастья и света сияло в них, что он опустился на колени рядом.

Иерусалим, 99

ПОСТСКРИПТУМ

Однажды дома, скажем, в понедельник,
Из полукресел тупо глядя в телек,
Где будут мне месить одно и то ж
О кознях НАТО под крылом ООНa,
О непонятной славе батальона,
Пронесшего российские знамена
Среди не возражавшего народа,
О силе зла и слабости закона –
И вдруг в окно открытого балкона
Услышу я, как ты меня зовешь.

Как канарейка, я спорхну с лежанки,
И на балкон. Там, посреди лужайки,
Ты машешь мне веселою рукой:
«Идем! Идем!» – я выбегу мгновенно,
И вот, жива, прекрасна и нетленна,
Ты, Солнышко, опять передо мной.

«Ну, вот, любимый, наконец я знаю,
Как любишь ты меня; теперь я знаю,
Как я люблю тебя; и мы должны
Любовь соединить с ее Истоком».
Я не пойму, но соглашусь с восторгом,
И мы, смеясь, к просторам вышины
Взлетим!..

Иерусалим, июль 1999

ЗВЕЗДА ДАВИДА

Все, что он делает, – он делает замечательно. Потому что талантлив и потому что трудится на полную катушку. Он любит то, что он делает, какую бы работу ни работал. И потому все у него получается. Снимать фильмы и ткать ковры, писать картины и украшать витрины и стены. Любить красивых женщин и быть верным другом своим немалочисленным друзьям у Девика получается тоже.

Настоящий художник (поэт, прозаик, и вообще, настоящий специалист), он – и человек настоящий. Наверное, разные мыслители писали об этом подробнее, но я процитирую лучшего в Ташкенте специалиста по ЭВМ «Минск-32» Усена Хуршидова. Однажды ночью, приводя в сознание очередную машину, он изложил мне, сменному инженеру и еще совсем недавнему преподавателю диамата, всю свою философию в течение одной минуты: «Человеку, который умеет очень хорошо делать то, чем он занимается, не надо интриговать, хитрить – никто ему не конкурент. Поэтому он хорошо относится к людям, и люди – к нему». Слава Богу, прошедшие четверть века не один раз предоставили мне возможность убедиться в мудрости этого совершенно негуманитарного и совершенно человеческого человека.

Мы познакомились с Девиком семь лет назад в кибуце с древним названием «Гезер» где собрались будущие вожатые сохнутовских молодежных лагерей в СНГ. Работая с ним и в этом самом СНГ, и здесь – со старшеклассниками, приезжающими по программе НААЛЕ, я всегда ощущал спокойствие и уверенность – Девик может научить рисовать даже тех, кто никогда этого не умел. И он – в совместных наших лагерях и на семинарах – учил ребят рисовать. Поэтому и на занятиях на самые серьезные темы юным сионистам было весело и интересно.

Мы видимся гораздо реже, чем прежде – Девик переехал в Тель-Авив, где, по его словам, больше «художественной жизни», каковая для него собственно жизнь. Мне не хватает его в Ерушалаиме, его большой гостеприимной квартиры в Тальпиот Мизрах, его мастерской в Хацот а-Йоцер, его белого с иголки настоящего «Форда», всегда набитого друзьями, подругами и картинами. В Тель-Авиве у Девика быт сложился по-другому – ночлег в книжном магазине, автобусы кооператива «Дан», в просторной сумке среди свитеров и рубашек – блокноты с рисунками. Несколько из них reproduced в этом журнале.

Однако, подробности быта преходящи. Девик, выпускник Тбилисской Академии художеств Давид Хананашвили, тридцатитрехлетний израильский художник Давид Ханан, рисует, снимает и пишет, не задумываясь, как скоро вернутся к нему заграничные по-

леты, персональные выставки в американских и западноевропейских картинных галереях, любимая женщина.

Я люблю его живопись и графику – портреты, пейзажи, натюрморты, абстрактные фантазии. И потому хочу показать (в меру наших полиграфических возможностей) его работы, не вдаваясь в искусствоведение, которого художник, конечно же, достоин. В первую очередь – показать.

Пользуясь случаем, скажу и следующее:

Я давно для себя решил, что писать о художественных произведениях (и об их авторах) буду, если только они меня «задевают» в хорошем смысле этого слова, говоря еще проще, нравятся. В ответ на справедливые замечания в некоторых статьях об «Иерусалимском журнале» (и замечания моих уважаемых друзей по литературному цеху тоже) о комплиментарности наших «критических» материалов, могу только пообещать, что и в дальнейшем в разделах «Подзорная гора» (где публикуются материалы обзорного характера) и «Новые ворота», (где мы помещаем сообщения о новых книгах), не стоит ожидать разгромных статей. Не ставя перед собой задачи стоять на страже (посту, стрёме, шухере), мы и впредь будем печатать рецензии на книги, которые понравились авторам нашего журнала. У авторов же наших, как и у членов редколлегии, литературный вкус и пристрастия – достаточно широкого спектра. Это дает основания предполагать, что всё достаточно существенное и интересное в израильской литературе (по крайней мере, в израильской литературе на русском языке) постепенно попадет в поле зрения журнала и на его страницы. Ну, а стоит ли занимать собственное и читательское внимание анализом того, что не кажется ни существенным, ни интересным?..

Думаю, не стоит.

Теперь несколько слов о конструктивности «комплиментарной» критики.

1. Высокая оценка его работы придает художнику силы работать дальше.
2. Высокая оценка отдельных работ заставляет художника задуматься о том, почему остальные его работы не получили столь же высокой оценки.
3. Неоправданно высокая оценка побуждает художника работать так, чтобы этой оценке соответствовать.
4. Из классика: Давайте говорить другу комплименты.

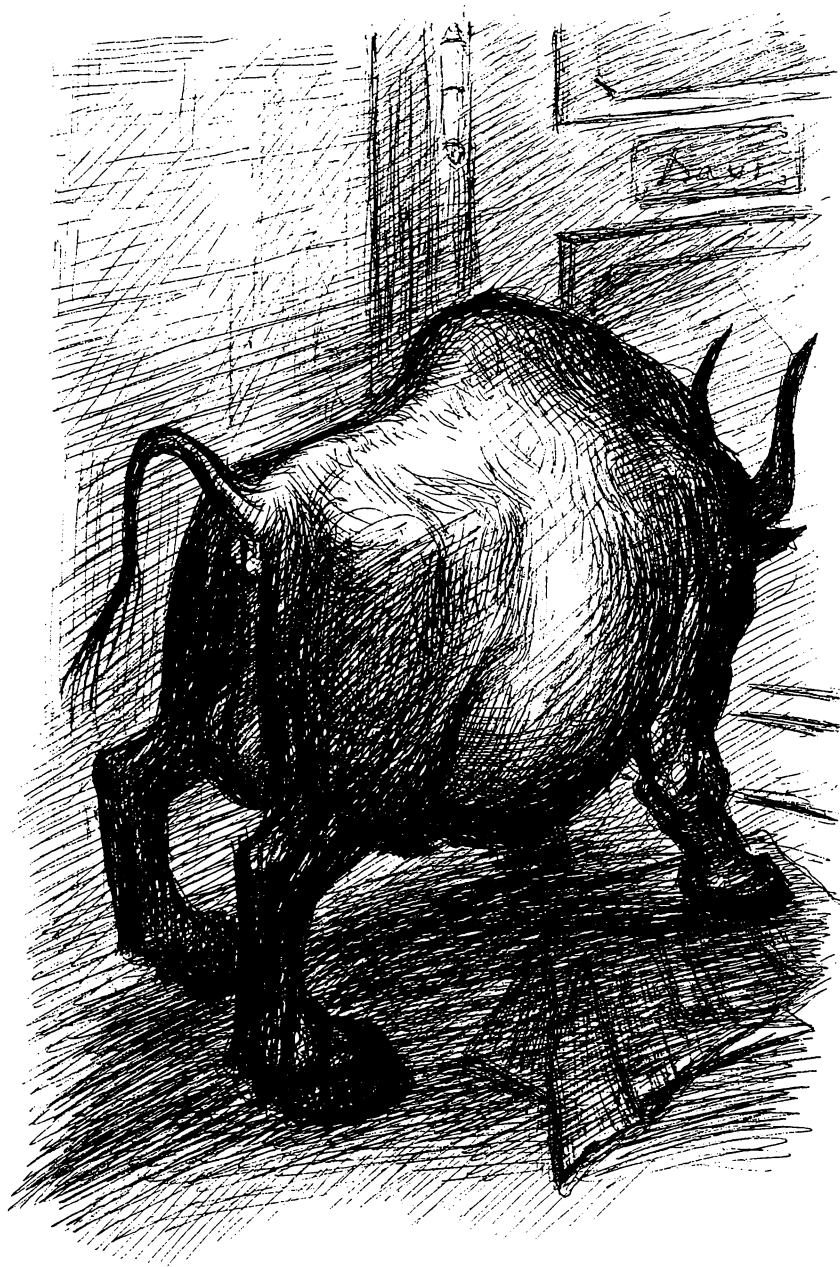
Конечно, все это – о настоящем художнике. О ненастоящем – стоит ли вообще...

Посмотрите, пожалуйста, рисунки Девика.

Игорь Бяльский









Дмитрий Сухарев

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЮРИЯ ВИЗБОРА

1.

Последний день пришелся на воскресенье, жизнь ушла в понедельник утром. Если точно, Юрия Визбора не стало в половине восьмого утра 17 сентября 1984 года. А ровно за сутки до того случилось чудо: ушла боль. Бывают же такие подарки. Ясно было, что уже никогда не прекратятся эти пытки, и вдруг прекратились. Живите, Юрьосич, в свое удовольствие.

Набор больничных удовольствий сами знаем какой. Юрьосич, однако, не растерялся, своего не упустил. Весь воскресный день в палате умирающего звучали стихи. Палата называлась реанимацией – стихи вернули названию смысл.

Аудитория хорошая: собственная жена, Нина Филимоновна. Собрание поэтических текстов обширное: собственная память, открытый доступ. Выбирал строго. Классикой пренебрег, предпочел современников.

Избранными оказались две вещи.

Чтение одной много времени не заняло, о ней, скромнице, скажу позже. Зато другая – что за вещь! Столь восхитительно вкусна и вместе с этим столь длинна, что сколь бы ни был день зловещ, она, любимая, одна, мужскою рифмою звеня, смогла б уважить злобу дня. То был "Тобольский летописец".

"Летописца" Визбор и читал весь день напролет.

2.

Антоновское яблоко грызли? Вообразим крепкие, как у монгола, зубы. Теперь представим, что они (зубы) вонзаются в него (в яблоко). (Не в монгола же.)

Извините за бедность фантазии, но когда такова плоть стиха, можно не волноваться за полноту жизни.

*Соймонов тосковал с утра, –
во сне увидел он Петра.*

Царь дал понюхать табаку, но усмехнулся, говоря:

– Просыплешь, рваная ноздря!

Сон вызвал острую тоску.

Март.

Отступили холода.

Но вьюги вьют.

До самых крыш в сугробах тонут города –

Тобольск, Ялуторовск, Тавда.

А через месяц, поглядишь, пойдет и вешняя вода.

Соймонов едет на Иртыш, дабы измерить толщину льда.

– Потопит нынче, говоришь? – кричит он кучеру.

А тот:

– Уж обязательно зальет! Отменно беспокойный год!

"Тобольского летописца" нельзя читать: 1) уныло, 2) гнусаво, 3) глумливо, 4) визгливо, 5) с подвыванием. Попробуйте – ничего не получится, плоть стиха этого просто не допустит, она сочная и пахнет здоровьем. Написано, между прочим, в 37 году. Поэта, между прочим, не печатали, держали впроголодь.

У прорубей шумит бабье.

Полощут грубое белье из домотканого холста.

Вода иртышская желта,

Как будто мылись в ней калмык,

Монгол, джунгарец, кашкарлык,

Китаец и каракиргиз,

И все течет к Тобольску вниз.

Зрит Азия из прорубей.

– Нет, не затопит. Не робей! – Соймонов кучеру шепнул,

Осколок льда легонько пнул, румяной бабе подмигнул.

Последовательность кусков Визбора не заботила, не больно-то важно, с чего началось и чем кончилось. Читал, уставал читать и, едва отдохнув, читал снова. Повторялся, смакуя. Физической слабости не прятал, но и наслаждения не скрывал.

3.

Поэтические пристрастия нашего круга формировались в период явления неведомых имен. Кое-кого из великих мы знали, но эти как с неба свалились. Цветаева! Ошеломление. Слуцкий! Ошеломление. Примерно в это же время возник из небытия и был открыт Леонид Мартынов, которого до смерти Сталина тоже как бы не существовало.

Наверно, Визбор выбрал Мартынова еще тогда. Ведь заочным ученичеством у мастеров занимался каждый из нас. Мартынову не было равных в искусстве версификации. Казалось, дай ему любой текст, хоть справочник мелиоратора, и справочник тут же, с листа, будет озвучен точными, сочными, энергичными стихами.

Не знаю, в юности ли Визбор положил глаз на сибирские поэмы Мартынова, но все последнее время он их выделял, называя "Тобольского летописца" лучшей вещью мастера.

Тут еще вот что имело значение: по своей природе Визбор и Мартынов были близнецы-братья.

В старой Вологде,

На пароходике,

*Был у капитана я в гостях;
Тикали хронометры, как ходики,
Ветерок посвистывал в снастях,
И читали ночью мы Есенина,
И над самой палубой как раз
Было небо звездами усеяно
Вкруг звезды Полярной в этот час.*

Что это? Неизвестная песня Юрия Визбора? Нет, молодой Мартынов.

*И какой-нибудь подводник,
С бакенбардами брюнет,
Наш маршрут во льдах проводит,
Навалившись на планшет.
У подводника гитара
И ракет большой запас,
И мурлычет, как котяра,
Гидрокомпас, т. е. компас.*

Мог бы быть Мартынов. Но это Визбор.

Про то, как вкусно мурлычет гидрокомпас, из книг не узнаешь, это должно было в ноздри войти. Мартынова называли бывалым человеком, многознатцем, а разве Визбор не такой? Визбор тоже везде бывал, во всем знал толк.

Обоим интересней крутые и соленые характеры, чем «лирический герой», я сам. А какие истории! Арктика и Азия, кручи и солончаки. У Визбора еще и космос, ведь Визбор на тридцать лет моложе. Но это не тот метафизический Космос, которым кормятся литературные любомудры. Космос – работа, он не безупречен, как сейнер или та же подлодка. В этом космосе в свободную от вахты минуту поют «Лыжи у печки стоят».

Почему именно эту песню впервые в истории человечества запели под гитару в космосе? Потомки непременно зададут такой вопрос историку. Потому что Визбор, ответит историк. Умница. А я бы все-таки, вопреки формальной логике, помянул и Мартынова. Пускай Леонид Николаевич песен не писал, орбитой не востребован. Но ведь пока не востребован! Окажись в космосе Визбор, кого от него там услышат понятливые звезды? Мартынова. То-то и оно.

4.

Пили, ели, говорили, сидя за скорбным столом на визборовских поминках. Единственная свидетельница и участница последнего дня делилась подробностями. Кроме "Тобольского летописца", была в тот день, стало быть, прочитана еще одна вещичка, короткая, но ее Нина Филимоновна не знала, не помнила. Сказала: это в горах, умирая, сочинила одна девушка, альпинистка.

Лялька, подумалось вдруг. Все сходилось. Лялька никогда не была альпинисткой и не умирала в горах.

Стихотвореньице прозвучало уже в шестом часу пополудни. День близился к исходу, силы тоже. Визбор тихо повторил две по-

следние строки, сказал: гениально. Несправедливо поругал себя: всю жизнь занимался не тем, лучше бы писал такие стихи.

Я дождался паузы и произнес: "Он читал стих Ляли Розановой". Скорбный стол сочувственно примолк. Никому из присутствующих родственников, альпинистов, журналистов, деятелей, бардов, МГПИшников, КСПшников и киношников названное мной имя ничего не сказала.

Лялька никогда не печатала стихов, Визбор физически не мог их знать. Она умерла-то еще в шестидесятых и с Визбором физически не пересекалась.

Я повторил: "Это был стих Ляли Розановой. Вот и кончается зима. А жизнь логична и земна..." "Так, так!" – подтвердила Нина Филимоновна. Конечно, так, никто не сомневался.

5.

За столом спросили: "Кто такая Ляля Розанова?" Ответить было невозможно. А кто такой, извините, Юрий Визбор? Автор самодетельных песен? Борман? Дедушка русской авиации? Визбор это Визбор, слова только мешают.

Лялька это Лялька, наше биофаковское почти что все. Было время, она на меня снизу вверх смотрела. Она была малышкой, я курсом старше. Я и сагитировал Ляльку к нам на кафедру физиологии человека и животных. Прошу заметить: на свою голову, уж Лялька на мне поездила. Зато недавно девушка Надя с девятого этажа сказала в лифте, что знает мою песенку про собачку Тябу. А так – ну, получил бы Нобелевскую по физиологии, и кто бы меня знал?

С академией телевизионных наук знакомы? И кем бы был сейчас ее уважаемый президент Познер, если бы не Лялька? Володя тоже с нашей кафедры, делал диплом по дыхательному центру рыб.

А какое было бы в стране кино, если бы всем плясавшим под лялькину дудку вовремя переломало ноги. Гарик Дубровский попал по распределению в противочумный отряд. Грузовик перевернулся. Одну ногу ампутировали, другую собрали по кускам. Пошел в сценаристы. "Холодное лето пятьдесят третьего года" видели? Гарик. "Несмеяну" пели? Ген Шангин.

Президента России знаете? Так вот, бородатый Яблоков, Алексей Алексеевич, больше ему не советник. А до Алеши тот же воз, защиту природы, тянул Коля Воронцов, единственный беспартийный министр у Горбачева. А движение снизу, студенческие природоохранные отряды, дело рук Вадика Тихомирова. Академики.

Каждый из нас, перечисленных и неназванных, стал бы, конечно, утверждать, что я сам, сам, сам. Конечно, сам. Но ведь факт, что все мы дружно и одновременно плясали под лялькину дудку.

А требовалось маршировать под барабан лысенковского парткома. Сформулирую научно: Лялька – противолетальный мутант эпохи холодной войны и лысенковского парткома.

Про правозащитников слышали? Сергей Адамович в бытность студентом нашей кафедры Сережей Ковалевым учился в той самой группе, где Лялька была комсоргом.

Про путч еще не забыли? В этой лялькиной группе была одна Люська... Ну, про это как-нибудь в другой раз. Пора заходить на последний круг.

Кстати, Лялька защищала по физиологии сердца, то есть знала сама, что с такими клапанами долго не пропляшет.

6.

В том же 84-м году, 20-го июня, Визбору стукнуло пятьдесят. Попрасновать, однако, уже не получалось. Мне, поздравившему его стихами с Белого моря, Визбор написал, что письмо получил, "находясь на очередном СМЭРТНОМ ОДРЭ, на этот раз в онкологическом центре... Так что ПИСИТИЛЕНИЕ мое было встречено на предыдущем ОДРЭ, т.е. домашнем, в окружении группы цветов и приходящих поздравлянтов".

"Письмо это писал приемов в пять".

В онкоцентре из гуманных соображений сделали вид, что провели радикальную операцию. Прошло небольшое время, и хитрость дала трещину – приступы боли продолжали усиливаться, а "какая-то штука в печени" стала просто прощупываться рукой.

Так получилось, что мы с Аллой, моей женой, провели с Визбором весь последний день его предпоследней жизни – той, в которой он еще не был отключен от общений. Было 31 августа, жить оставалось чуть больше двух недель, назавтра его забирали в клинику и изолировали.

Когда начинался очередной приступ боли, Визбор выгонял нас на кухню, но весь остальной объем времени был прожит без потерь. Не надеясь на память, привожу отрывок из написанного сразу после похорон для "Менестреля", газеты московских КСПшников.

"Визбор никак не мог наговориться. И удивительно: разговоры были точно такими, как прежде, мы в полной мере удовлетворяли привычную потребность повеселиться, поржать. Лишь одно было впервые: Визбор открыл тетрадь, в которую он записывал свои черновые наброски, заготовки будущих вещей, и читал заготовку за заготовкой, предлагая: "Хочешь? – бери это". Но и тут он все обставил шутками, потому что не хотел, чтобы тема смерти бросала sentimentalную тень на разговор".

Сентиментальность, и то небольшую, Визбор разрешил себе только на исходе последнего дня. Полностью прочитанное им тогда шестистишие звучит так:

*Вот и кончается зима.
А жизнь логична и земна.
Сквозь веки я гляжу на солнце.
Все розово – и свет, и тень.
Как медленно течет мой день,
Как быстро жизнь моя несется.*

Откуда Визбору были известны прощальные лялькины строки, осталось тайной.

Михаил Агурский
*ЭПИЗОДЫ ВОСПОМИНАНИЙ**

АКАДЕМИЯ

*С ухватками удалыми
Несутся их ряды,
Гремя, звеня цимбалами,
Кричат, поют жида...
А там, едва заметная,
Меж сосен и дубов,
Во мгле стоит заветная
Обитель чернецов...
Глядя на них с любовью,
Святых ликует хор:
Они своею кровию
Литве дадут отпор.*

А. К. Толстой,
"Ночь перед приступом"

В январе 65 года Татьяна Васильевна познакомила меня с ученым секретарем Московской Духовной Академии Алексеем Остаповым. Отец Алексей был крупный мужчина старше меня лет на восемь. Он занимал исключительное положение, будучи сыном Даниила Остапова, стечением обстоятельств оказавшегося едва ли не единственным реальным хозяином Московской Патриархии. Данила Остапов происходил из дворовых людей графов Симанских, а как известно, патриарх Алексей, возглавлявший Русскую церковь с 1945 г., был сыном камергера Симанского. Во время войны семья Остаповых оказалась в Новгородской области, захваченной немцами, и была выслана на принудительные работы в Литву. После войны это вписывалось в строку. Когда митрополит Алексей стал патриархом, будучи кругом обложен штатными сотрудниками ГБ, вроде Колчицкого, он крайне нуждался хотя бы в одном близком сотруднике. Остапов-отец стал таким человеком, будучи по-старинному предан Святейшему. Когда, однако, Данила появился в резиденции патриарха на Чистом переулке, власти приказали ему покинуть Москву, ссылаясь на его пребывание на оккупированных территориях. Патриарх единственный раз в жизни воспользовался правительственным телефоном-вертушкой, чтобы позвонить Сталину лично. С тех пор Данила не только остался в Москве, но и стал правой рукой патриарха. Боголюбивый квиетист был рад возложить мирские дела на Данилу, и тот был назначен на должность начальника хозяйственного управления патриар-

* Продолжение. Начало см. в № 2.

хии. По существу, Данила Андреевич стал временщиком Московской патриархии и решал не только хозяйственные дела, но и чисто церковные. Он влиял на рукоположение священников, на хиротонию епископов, стал человеком, связывавшим патриарха с властями.

Своим правлением Данила Андреевич заработал себе немало врагов и почти всеобщее нерасположение духовенства. Я встречал немало людей, им обиженных. Семья его, а был у него только один сын, Алексей, названный в честь Святейшего, стала домашним кругом патриарха, так что Святейший был как бы вторым отцом Алексея Остапова. Это-то и создало уникальность его положения. Он не учился в советской школе. Чтобы обойти закон о всеобщем обязательном обучении, ему разрешили сдать школьные экзамены экстерном, к чему он был подготовлен частными учителями, в основном профессорами Духовной академии. Он прошел курс семинарии, потом академии и мог сделать любую церковную карьеру, но быстро женился, так что дорога в безбрачный монашеский епископат была ему закрыта. Зато он быстро стал профессором, ученым секретарем Московской духовной академии. В силу условий своего воспитания, отец Алексей резко отличался от известных мне людей его возраста. Он был как бы катапультирован из 19 века. Был умен, тонок и остроумен, но его насмешливое остроумие было взлелеяно замкнутой субкультурой дореволюционной бursы, переданной через преподавателей, выходцев из дореволюционных духовных школ.

Однажды он посоветовался со мной по поводу того, стоит ли выставлять в читальном зале для студентов старые, редкие издания книг.

– Да ведь у вас их сразу растащат! – возопил я.

– Ну, нет, не сразу, – глубокомысленно заметил Алексей.

Мы полюбили друг друга. Я счел нужным немедленно подчеркнуть, что я еврей, и дело не только в моем происхождении, а в том, что я вижу свое призвание именно в служении национальному существованию евреев. Хотя это было совершенно необычно в подобных случаях, но не вызвало в нем никакого антагонизма, скорее напротив, я почувствовал, что мои слова прились ему по душе. В его кругу не верили евреям, выдававшим себя за русских.

Вообще, в русском Православии всегда было крайне настороженное отношение к крещеным евреям.

Не случайно уже при первой встрече он счел нужным предупредить меня против... Александра как источника вредного влияния. По распространенному недоразумению, он причислял к евреям и о. Николая Эшлимана, выходца из дворян шотландского происхождения.

Я горой встал за Александра, и Алексей заколебался. Спустя некоторое время они подружились. Какая-то кошка пробежала также между ним и Николаем Глебовым, который, как оказалось, был одно время помощником инспектора семинарии.

Я рассказал Алексею о своих иностранных библиографических источниках информации. Он заинтересовался и тут же предложил мне составлять библиографию для Академии. Я с радостью принял это предложение. Оно дало мне дополнительный стимул для исторических изысканий; и, кроме того, оплачивалось.

Я, естественно, дал свою сионистскую рукопись Алексею. Он быстро прочел ее, сказал, что велел снять с нее копию и дал прочесть Святейшему. Реакция была положительной.

Алексей Остапов был не просто богатый человек. Он был миллионер. И не мог им не быть в условиях государственного покровительства, в котором оказалась церковь после войны. Было время, когда она не облагалась налогами, а ее финансовая деятельность практически не контролировалась. Церковное поприще превратилось в поле крупного бизнеса и привлекало к себе немало золотоискателей. Доходы духовенства после войны превышали средний доход населения в 15–20 раз!

Богатство семьи Остаповых определялось еще и тем, что патриарх передавал Остаповым почти все свои многочисленные подарки.

Алексей имел первоклассную коллекцию икон, религиозной живописи, церковной утвари, крестов, монет, открыток, книг. Но, что самое главное, он обладал лучшей в России коллекцией религиозного Самиздата: богословских сочинений и мемуаров, которые в обилии стекались к патриарху после войны. Все это Святейший передавал о. Алексею.

Мало того. Алексей не только собирал рукописи, но и вдохновлял людей на их написание. Именно он убедил Татьяну Васильевну написать воспоминания об отце и, чтобы поощрить ее, помочь, зачислил ее на фиктивную работу в Академии под предлогом, что ее воспоминания будут иметь церковно-исторический характер.

Несколько раз Алексей сопровождал Святейшего в его поездках за границу и оставил об этом трогательные воспоминания в рукописном виде, которые дал мне прочесть. Был он и в Святой Земле, но Израиль, как таковой, не заметил. Жил Алексей в самой Лавре.

Он стал приглашать меня на актовые собрания Академии, по традиции созываемые на Покров, 14 октября. Московская и Ленинградская Духовные академии были заповедниками дореволюционных академических традиций и там все происходило как 100 лет назад.

С патриархом я так и не познакомился, но он обо мне знал и, видимо, поддерживал Алексея в его отношениях со мной. Насколько я мог составить о нем впечатление понаслышке, он был убежденным консерватором, монархистом и советскую власть признавал согласно принципу "Всякая власть от Бога". Как и многие духовные, да и светские лица, он впал в чистый спиритуализм. Его молитвенный мир был совершенно отделен от мира реально-го, в котором властвовал Князь Тьмы. Этот мир был ему безраз-

личен, коли посреди молитв было тепло и уютно. И мысли у него не было об активном сопротивлении властям, хоть он и не любил их. Полагаю, что он верил в еврейско-масонский заговор, судя по тому, что Алексей дал мне раз перепечатку статьи из эмигрантского журнала 30-х годов со списком русских масонов, где было много русских политических деятелей, даже придворных, и среди прочих – имена Горького, Троцкого, Литвинова и других.

Жил Святейший в роскоши, весьма безвкусной, но она давала представление о том, как жило русское духовенство до революции. Его покои в Лавре, где я был один раз, производили угнетающее впечатление.

Алексей рассказал мне о единственной, по его словам, встрече Святейшего со Сталиным и Молотовым в сентябре 43 года, на которую он был приглашен вместе с Сергием (Старгородским) и Николаем (Ярушевичем).

Я опять возвращаюсь к Сталину, который превращается едва ли не в *red line* моего повествования, но что поделать.

Великий вождь спросил митрополитов, в чем они нуждаются, и те пожаловались, что не хватает священников, попросив разрешения на открытие семинарий.

– Почему только семинарий? – удивился многоопытный семинарист. – Священников надо готовить с детства.

Сталин предложил восстановить духовные училища, что, однако, так и не было реализовано. Сергей пожаловался на тесноту в деревянном здании патриархии. Сталин немедленно выделил роскошный особняк в Чистом переулке.

Когда Молотов зачитал в конце трехчасовой встречи текст коммюнике и сделал ударение в имени Алексей на "е", Сталин поправил его и пошутил:

– Сразу видно, семинарию не кончал!

Ближайшим помощником Алексея Остапова в Академии был игумен Марк (Лозинский), умерший молодым. Марк был глубоко-чайше отчужден от всего внешнего и был убежденным монархистом.

В Академии царило чинопочитание и страх перед начальством. На переменах никто не бегал сломя голову, как в светских институтах и техникумах, никто не тузил друг друга.

Конкурс среди поступающих составлял обычно 3-4 человека на место. Списки поступающих передавали в Совет по делам религий и там ставили около фамилий нежелательных лиц те же галочки, что и против еврейских фамилий в МИФИ в 50-е годы. Этих людей не допускали до экзаменов и объясняли им, что их невозможно прописать в Загорске. Кто же были эти нежелательные лица? Выходцы из интеллигенции или, проще, люди с высшим образованием, жители Москвы. Бывали, конечно, исключения, но редкие. Москвичей не любили принимать, так как новоиспеченное духовенство сразу обретало большой круг влияния за счет московских знакомых, чего старались избегать. Власти предпочитали иметь в Москве западно-украинских священников, которые не могли преодо-

леть культурного и языкового барьера, могли прожить в Москве всю жизнь, не заведя ни одного знакомства среди интеллигенции. Совет предпочитал также поддерживать кастовость духовенства и поощрял принятие в семинарию и академию выходцев из церковной среды.

Существовал также огромный заочный сектор, но туда принимали лишь уже рукоположенных либо в диаконы, либо в священники.

На моей памяти было лишь несколько прорывов в московскую духовную школу со стороны. Не понимаю, почему дали поступить в семинарию Игорю Хайбуллину, отсидевшему уже в политическом лагере. Он потом принял монашество и стал иеродиакonom Варсонофием, известным русским националистическим диссидентом.

Кандидат медицинских наук Кирилл Чернецкий закончил медицинский институт вместе с моей женой Верой. Он подавал большие надежды и был аспирантом Лукомского. Но пошли слухи, что он сектант. На самом деле он был постоянным прихожанином и чтецом в Обыденской церкви в Москве. Чернецкого выбросили из науки. Будучи кандидатом, он был вынужден работать обычным поликлиническим врачом. Даже среди евреев почти не было таких случаев. Но ректор Академии епископ Филарет, ныне председатель Отдела внешних церковных сношений, обхитрил власти. Он принял Чернецкого на работу в Академию врачом, выгнав с этого места сварливую бабу, подосланную кем-то. Она жаловалась, писала доносы, но ей это не помогло. Зато Чернецкий получил статус церковного сотрудника, что позволило пропустить его как заочника и рукоположить. Он много лет служил в Коломенском, где приобрел популярность.

На моих глазах в Академии сменилось два ректора: оба Филареты. Один был с Украины, сухой и бездушный. Другой, которого я упомянул выше, сын профессора консерватории. Он стал устраивать для студентов концерты. Его постоянной гостьей была знаменитая пианистка Мария Вениаминовна Юдина, крещеная еврейка, известная своей дерзостью. Говорили, что на своих концертах, перед тем, как сесть за фортепиано, она крестилась. Мария Вениаминовна была одним из столпов московских религиозных салонов.

Как вокруг каждого красивого священнослужителя, вокругладыки Филарета сложился круг заочных обожателей. На таких женщин мне жаловался и Александр. Во время одной из церемоний в честь Филарета в храме Академии немолодая женщина, стоявшая сзади в углу, вдруг заголосила:

– Ах, ты мой ненаглядный! Ах, ты мой драгоценный!
Ее тут же вытолкали вназад.

МАНУИЛ

*Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет и служба идет.*

*Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.*

Б. Пастернак

В январе 65 года я в очередной раз поехал в Куйбышев и сразу занемог. Меня сразил грипп. Эпидемия, еще не дошедшая до этих краев, свирепствовала в Москве. Если бы я обратился к врачу, меня тут же упрятали бы в изолятор, так что я переносил жестокий грипп на ногах. Я перестал верить в эпидемии, в заразительность инфекций, и, как некогда Петтенкофер, добровольно принявший безнаказанно смертельную дозу холерных вибрионов, ходил с чистой совестью.

На этот раз я решил посетить, наконец, Куйбышевский кафедральный собор. Службу вел сам митрополит Мануил (Лемешевский). Горбун, окончивший библиотечный техникум еще до революции, он полжизни провел в тюрьмах и лагерях. Последний раз он был арестован в 48 году. Мануил весь свой досуг и немалые деньги тратил на собирание религиозного самиздата и, кроме того, будучи графоманом, непрерывно писал. Венцом его трудов был монументальный биографический словарь русских православных епископов конца XIX–XX веков, являющийся ценнейшим источником по истории Русской церкви и даже по советской политической истории. Мануил представил свой циклопический труд как магистерскую диссертацию в Московскую Духовную Академию. Делал он это дважды – в конце 50-х годов и в 65 году – и оба раза безуспешно. Как ее могли принять? Ведь это был мартиролог! Хитроумный Мануил придумывал различные формулировки вместо упоминания об аресте или расстреле епископов:

"С такого-то года епархией не управлял."

"С такого-то года находился на покое".

"Убит разбойниками."

"Убит злоумышленниками."

Зимой 65 года Мануил был уже на склоне жизненного пути: мертвенно бледен, голос глух и едва слышен. Проходя к выходу, он негромко сказал:

– Берегитесь простуды!

Через несколько месяцев он умер. Уезжая из России, я вывез рукопись его словаря, и теперь он издается Эрлангенским университетом и Институтом Восточных церквей в Вюрцбурге.

В то посещение Куйбышева один из ведущих специалистов куйбышевского программного управления, молодой еврей Руманов

завел со мной любопытный разговор, сам не сознавая, в какую точку он попал:

– До революции у евреев был выход, – пожаловался он, – крепиться. Я бы не задумываясь сделал это сейчас, если бы это могло. Членство в партии не дает ничего.

Я промолчал. Он был прав: у евреев не было выхода. Но такое отношение к своему народу меня резко покорило.

Уезжал я из Куйбышева железной дорогой. Был морозный день, и на вокзальной площади ко мне пристала цыганка, предлагая погадать. Я бросил ей мелочь:

– Возьми, не нужно мне твое гаданье.

Реакция была мгновенной:

– Мы нечестные, мы обманщики, правду не говорим! Дай еще денег!

В купе я оказался с симпатичным пожилым самарцем. Он рассказал мне про своего друга (а, может быть, про себя?), который, чтобы уйти от мучительных вопросов действительности, поставил себе за правило ни на что травмирующее не обращать внимания.

ПАСХА С КУРОЕДОВЫМ

*Блажен муж, иже во злых
совет не вхождаше.*

Симеон Полоцкий,
"Псалтырь рифмотворная".

На Пасху 65 года отец Алексей оказал мне абсолютную, невообразимую протекцию. Он пригласил меня в кафедральный Елоховский собор, куда обычно нельзя было попасть, но не просто в собор, а на солею около иконостаса, где было не более двух десятков особо избранных. Это было куда более привилегированное место, чем отсек для дипкорпуса. Послушайте только, с кем я делил эту привилегию! Со мной плечом к плечу стоял не кто иной, как министр Куроедов, председатель Совета по делам религий со своей свитой. Сзади ютился на стуле больной уже художник Павел Корин, хорошо известный своей религиозностью, а также фанатическим преклонением перед властью. Стояла также и матушка Казновецкая, муж которой, протоиерей, живший одно время в Александрии (Египет), довольно детально описан в книге Джона Баррона "КГБ".

Я невольно слушал разговоры высших чиновников Совета. Это была первая Пасха после снятия Хрущева, за которой последовало ослабление антирелигиозных гонений. Сам по себе факт присутствия Куроедова был чем-то из ряда вон выходящим. Естественно, его чиновники были функционально разделены. Один отвечал за православие, другой – за католицизм, третий – за секты и т. п.

И хотя я был настроен благочестиво, едва сдерживался от смеха, слушая, что они говорят.

Героем дня был повелитель православия. Он явно и бесстыдно величался перед повелителем католицизма:

– Ну, разве у вас такая служба, как у нас?

Католик приуныл под напором неотразимости православного обряда. Куда ему было тягаться с древней византийской пышностью! Да и сам-то он был деревенский.

– Смотри! Смотри! – дергал его за рукав православный. – Это протодиакон. Знаешь, сколько ему лет?

Так, вероятно, хвастались своими певчими русские баре до 1861 года.

– А сейчас будет огласительное слово Иоанна Златоуста! – с предвкушением продолжал комментировать ход службы православный.

Куроедов и его люди поглядывали на меня, но, уверен, им уже объяснили, кто я. Куроедов имел вид пожилого бонвивана и таковым, по-видимому, и был. Несмотря на ослабление гонений сверху, сила инерции проявлялась необычайно. Уже начала складываться традиция, согласно которой милиция прямо провоцировала хулиганство во время Пасхи. Кто приходил в церковь на Пасху, оказывался в обстановке безнаказанного террора.

Подходя к Елоховской, увидел я грандиозное скопление хулиганившей молодежи, предвкушавшей возможность покуражиться, дать выход инстинкту насилия. При мне они окружили замедливший ход троллейбус и стали тянуть вниз штанги. Другие взобрались на неприкасаемые дипломатические машины и барабанили по их крышам.

Но верхом удовольствия было освистать крестный ход, бросать в него камни. Еще до начала крестного хода два камня угодили в окно собора, ближайшее к отсеку дипкорпуса. Сотрудник патриархии, бывший глава партии младороссов Казем-Бек рассыпался в объяснениях перед испуганными дипломатами.

Во время крестного хода начался невообразимый гвалт. В окна летели камни. Стекла брызнули осколками.

Куроедов недовольно поморщился и скомандовал сотруднику патриархии:

– Кудинкин! Конную милицию!

Потом спросил с видом *sancta simplicitas**:

– Это у вас всегда так?

– Нет! – залепетал Кудинкин, – первый раз!

Куроедов недовольно покачал головой, как будто сам Кудинкин был виноват.

Вася Ситников, который был в эту Пасху в Лавре, рассказал, как разгуливающая толпа брала приступом Успенский собор, запертый изнутри тяжелой балкой.

Не эту ли Пасху описывал Солженицын в своем рассказе "Крестный ход в Переделкино"?

* Святой простоты (лат.) – *прим. ред.*

"ПРАВДА"

*Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван
Лишь он, один из христиан
Порабощенного Дамаска.*

А. К. Толстой,
"Иоанн Дамаскин"

Вскоре произошло неожиданное событие. С негодованием узнал я, что дефицитные станки с программным управлением были направлены на химические заводы, где с ними не знали, что делать. Возмущенный, я написал письмо в "Правду". К удивлению, через некоторое время мне позвонили из редакции и сказали, что письмо будет напечатано в виде небольшой статьи. Меня пригласили в редакцию прочесть верстку. Я спросил у сотрудника газеты Петрова, проверял ли он факты в моей статье, на что получил поразительный ответ:

– Факты в письмах директоров и главных инженеров мы не проверяем.

Незадолго до этого меня повысили, и я стал называться главным инженером проекта. Такое звучное название было придумано для расширения штатного расписания. Конечно же, я не был главным инженером института, но решил не разубеждать Петрова. Вскоре он позвонил еще раз:

– Ну, видели свою статью?

– Когда?

– Сегодня.

– Но я читал сегодня "Правду". Там ничего нет!

– Вы читали вариант А, а ваша статья вышла в варианте Б. Ее в Москве не продают.

– ?!

Так я впервые узнал, что "Правда" выпускалась, по меньшей мере, в двух вариантах: один для центральных городов и заграницы, а другой – для всех остальных. Я взял у Петрова два экземпляра газеты с моей статьей и скоро стал получать поздравления. Напечататься в "Правде" было делом огромного престижа.

Вслед за этим ко мне обратилось АПН за статьей для "Neues Deutschland". Оказывается, меня рекомендовала "Правда" как одного из ведущих специалистов. Через некоторое время моя статья появилась в ... "Московской правде": АПН распространило статью среди республиканских и областных газет.

Меня вызвал Зусман:

– Мэлиб Самуилович! Это уже слишком!

– Что именно? – испугался я.

Зусман протянул мне статью ... в "Туркменской искре":

– Вы не должны писать по всему СССР без разрешения отдела.

– Я не виноват, я понятия не имел, что сделает с моей статьей АПН.

В это время я стал еще и лектором Общества по распространению политических и научных знаний, с правом читать лекции по программному управлению. Это было мне очень на руку. Отправляясь в командировку, я брал заодно путевку читать лекции, что давало небольшие деньги, но, главное, иногда помогало устроиться в гостинице. Раз в Пензе я получил даже отдельный номер за счет обкомовской брони.

Так неожиданно запуганному человеку, боявшемуся собственной тени, стали перепадать блага советского истеблишмента и советского люкс-православия. Несомненно, ГБ и причастные к ней органы были обо всем прекрасно осведомлены, но в ЭНИМСе никто не имел об этом ни малейшего понятия. Кстати, добавлю, что в это время готовилась к печати моя книга совместно с Ратмировым и Вульфсоном.

Я решился еще на одну эскалацию. ЭНИМСу передали в Передре лабораторию с подсобным заводом. Все это было расположено в старом оскверненном монастыре. Я решился написать в многотиражку ЭНИМСа, требуя бережного отношения к памятнику архитектуры. Это вызвало разговоры, но никто не догадался о настоящих моих мотивах.

ПЛОТНИКОВ

*И опять мы в метели,
А она все метет,
И в церковном приделе
Свет и служба идет.*

Б. Пастернак

Однажды Александр повел меня к своим знакомым в Плотников переулок. Таким образом я познакомился с Ведерниковыми, сыгравшими исключительную роль в моей жизни.

Анатолий Васильевич Ведерников был долгое время ответственным секретарем Журнала Московской Патриархии, а перед этим – инспектором Духовной академии. Искренний, пламенно верующий христианин, не без церковного макиавеллизма, сложившегося во время работы в Патриархии, он был долгое время ghost writer* патриарха Алексия и митрополита Николая. Ведерников бывал в знаменитой Вольфиле и посещал церковь в годы самых свирепых гонений. Сразу после конкордата 43 года он ушел на церковную работу. Во второй половине 50-х годов он вторым браком женился на Елене Яковлевне, крещеной еврейке, вернувшейся из Франции в Россию с большими приключениями. Родом она была из богатой еврейской семьи из Киева и очутилась на Западе с волной белой эмиграции. Во Франции попала под обаяние молодого священника Андрея Сергеенко, придерживавшегося московской ориентации, крестилась, во время немецкой оккупации носила

* "Писатель-невидимка", литературный негр (англ.) – прим. ред.

желтую звезду, но не была депортирована. После войны Елена Яковлевна примкнула к группе фанатичных сторонников СССР в среде православных эмигрантов. Ходила на коммунистические митинги, ревела от восторга вместе со всеми в зале Плейель, где французский коммунист, только что вернувшийся из голодной страны, с десятками миллионов заключенных, готовившейся к захвату всего мира, захлебывался:

– Мы вернулись из нового мира!

В 47 году о. Андрей собрался поехать в Москву на некое церковное торжество. Одна депортированная женщина, узнав, что он собирается сделать, взмолилась:

– Отец Андрей! Вас посадят!

Он все-таки поехал, но задержался сверх положенного срока. Полагали, что он арестован. Однако о. Андрей, как ни в чем ни бывало, вернулся в Париж. Депортированная, встретив его вместе с Еленой Яковлевной, не могла поверить своим глазам:

– Вы ли это?

Возмущенная Елена Яковлевна плюнула в ее сторону.

Вскоре у Елены Яковлевны начались неприятности с французской разведкой. После войны она взяла себе советский паспорт и мечтала вернуться в Россию. Но советские власти, пропустив первый эшелон с эмигрантами непосредственно в ГУЛАГ, прекратили выдачу виз, ссылаясь на то, что среди эмигрантов затесалось много шушеры. Французские власти предложили Елене Яковлевне одно из двух: отказаться от советского подданства или же покинуть Францию. Елена Яковлевна предпочла второе и, так как ее не пускали в СССР, оказалась в Восточном Берлине, где проторчала до 55 года. Вернувшись, наконец, в Россию, быстро вышла замуж за Анатолия Васильевича. Ей было за 50, но она оставалась довольно интересной женщиной. Ведерниковы, как и большинство москвичей, ютились в маленькой комнате в коммунальной квартире, зато у них была роскошная дача в Баковке, подарок патриарха. Раньше эта дача принадлежала артистке Руслановой, арестованной вскоре после войны.

Когда я приходил к Анатолию Васильевичу, он доставал графинчик водки и принимался угощать:

– Кушайте! Кушайте!

Он был церковным консерватором, чуждался всякой оппозиции, хотя советскую систему, конечно, не принимал. Нынешнее поведение церкви он считал единственно возможным и никогда не шел дальше компромисса. Он всячески осуждал радикализацию богословия, которая стала входить в моду в кругах, близких к Отделу внешних церковных сношений.

Многое узнал я от Анатолия Васильевича и многому от него научился, например, серьезности в деле веры. Он был простой цельный человек без интеллигентских вывихов и комплексов.

Сын Анатолия Васильевича от первого брака, Николай, был священником, обожал музыку и находился под сильным влиянием д-ра Штейнера, как и многие представители московской интеллигенции.

У Ведерниковых я познакомился со многими. Самым близким к

Ведерниковым был священник Андрей Сергеенко. Он жил в Александрове, но часто бывал в Москве. В нем христианский квиетизм был доведен до последней степени. Я как-то его спросил:

– А что, отец Андрей, допустим, китайцы завтра захватят Россию. С точки зрения учения православной церкви необходимо им сопротивляться? Или, вернее, скажем так, вот уже есть китайская власть. Надо ей подчиняться?

– Да! – твердо сказал о. Андрей. – Думаю, надо.

Среди друзей Ведерниковых была поэтесса Надежда Александровна Павлович, представительница русского религиозного национал-большевизма. Она была уже глубокой старухой, но сохраняла удивительный динамизм. До всего было ей дело. В молодости она была увлечена Блоком, и его мистическое оправдание революции осталось с ней на всю жизнь. Она жила культом Блока. Член Союза писателей, Надежда Александровна открыто ходила в церковь и одновременно выступала в центральной печати с воспоминаниями о Ленине.

Она первой указала мне на "Мастера и Маргариту" Булгакова, когда об этом романе никто еще не знал. Она любила окружать себя молодежью, и в ее комнатухе всегда торчали новообразаемые и новообращенные, в большинстве евреи. Что говорить о Надежде Александровне, когда есть примеры Ольги Форш и Мариэтты Шагинян, воспринимавших советскую власть сквозь самые дикий мистические призраки. И так ли далеко ушли от них Леонид Леонов или Владимир Солоухин?

Познакомился я у Ведерниковых и со знаменитым впоследствии о. Дмитрием Дудко, там же материализовался для меня и герой фельетона из "Науки и религии" Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов.

ЦЕРКОВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

*Представьте все краски небесные вкупе,
И там в этой радужной ясности – купол.
Над куполом облачко точно из ваты,
Под ним человек на кресте, как распятый.*

Зяма Телесин
в переводе Т. Спендиаровой

О. Алексей предложил мне связаться с главным редактором Журнала Московской Патриархии епископом Волоколамским Питиримом (Нечаевым). Некоторые мои опусы дали, вероятно, ему и Святейшему считать меня перспективным религиозным автором. Алексей дал мне запечатанное письмо к Питириму. Редакция ЖМП находилась в Новодевичьем монастыре. Питирим встретил меня очень радушно. Он был красив и внушителен, с огромной бородой-лопатой, в которой только-только начинала проглядывать проседь.

Астрономического размера ножницами он вскрыл конверт и, прочтя письмо, первым делом предостерег меня от компании Меня

и Эшлимана. Вероятно, про них было сказано в письме. (Это было еще до того, как Остапов и Мень подружились.) Я объяснил, что поддерживаю с ними дружеские отношения, но не примыкаю ни к каким группам. С тех пор начался период моих длительных отношений с Питиримом и его редакцией. Я уже говорил, что глубоко вошел в историю церкви, и мои церковные знакомые это хорошо чувствовали. Задавали тон в редакции ее секретарь Евгений Алексеевич Карманов и Павел Уржумцев. Журнал, в отличие от других советских изданий, имел многократную цензуру. Его макет, т.е. материалы, рекомендованные к публикации, передавались Алексею Бувескому, сотруднику Отдела внешних сношений и правой руке митрополита Никодима. Бувеский вносил изменения и затем посылал на предварительное одобрение в Совет по делам религий. Оттуда материалы возвращались, и окончательно сформированный журнал снова передавался Бувескому, опять — в Совет и только после этого шел в печать.

Владыка Питирим был глубокий спиритуалист. Его точкой опоры был мир молитв и медитации. Он очень любил службу и служил необыкновенно театрально.

СЕРГЕЙ ФУДЕЛЬ

*О кто их знает о кто их
Кто сплел церковный октоих.
Савелий Гринберг*

Сергей Иосифович Фудель, сын известного до революции московского священника, друга Леонтьева, был, кажется, еврейского происхождения. Это исключительно утонченный человек, но тюрьмы и лагеря, в которых он провел большую часть жизни, сломали его. Сажать его начали с 22 года. Я был поражен его воспоминаниями, в особенности, той их частью, где он рассказывает об известном литературном критике Сергее Дурылине, который одно время был аскетом и священником, потом, во время гонений, снял с себя сан, чуть ли не отказался от веры.

Фудель предупреждал, что человек, встающий на путь духовного развития с томиком Пушкина в руках, рано или поздно обречен на глубокий внутренний конфликт, чреватый катастрофой. Путь религиозного созерцания несовместим с эстетизированной светской культурой. Дурылин был такой эстет, что его сломило.

Сергей Иосифович написал большой труд о Флоренском, которого знал лично. Он был страшно запуган сам, а, кроме того, его дети, люди с положением, боялись неприятностей со стороны отца. Фудель подписал свой труд о Флоренском прозрачным псевдонимом: Ф. Уделов.

Для патриархии Фудель перевел "Сумму теологий" Фомы Аквинского. Жил он во Владимирской области. Мы переписывались.

УХОД ИЗ ЭНИМСА

На волю, в пампасы!

Ильф и Петров

Мне захотелось на волю. В 1965 году я сделал новую попытку уйти в аспирантуру. Я выбрал престижный Институт автоматики и телемеханики (ИАТ) Академии наук. Попастъ туда со станкиновским дипломом было крайне трудно. Я обратился к Авениру Аркадьевичу Воронову, заместителю директора ИАТ, который одно время занимался программным управлением. Он поддержал меня, и я подал документы. Вскоре меня вызвали к другому заместителю директора – Челюсткину, который стал выяснять мои математические знания. Надо мной все еще висело проклятие СТАНКИНА, где, как я говорил, математическая подготовка была смехотворной. Я честно признался, что это мое слабое место, но я берусь в кратчайший срок ликвидировать пробелы.

В ЭНИМСе же подходил роковой срок сдачи электроискрового станка с программным управлением, который я разрабатывал с Мишей Разницыным, он – механику, я – управление. В отличие от всего, что делалось у нас в отделе, я решил использовать стандартные элементы. Положение было очень трудным, ибо по моему проекту смонтировали пять систем, стоивших уйму денег, а ничего еще не было проверено в работе. Был лишь большой кот в мешке. Абрам Розинов предсказывал катастрофу.

Я засел с монтажниками на заводе. Ребята были толковые и политически сознательные. Один из них, весьма флегматичный парень, грозился вскорости перебить начальство. Никто на это не реагировал.

В конце сентября, вопреки ожиданиям, я получил письмо из ИАТа, меня приняли в аспирантуру.

Вне себя от радости, я показал письмо Зусману, что было для него полным сюрпризом.

– Вы делаете ужасную ошибку. Вы бросаете работу, которая могла бы принести вам очень многое. Я всегда догадывался, что вы идеалист, но не полагал, что до такой степени, – сказал он.

Зусман был не прав. Он привык жить в гетто, и выход из него казался ему неисправимым идеализмом. Я, конечно, понимал, что постепенно выдвигаюсь в ведущие специалисты отрасли, что будут и премии, и звания, и новое положение, но ничего этого не хотел. Я замахивался на другое. Я выходил на большую дорогу, и энимсовские дивиденды меня не интересовали.

Так или иначе, я обещал довести работу до конца и отложить переход в ИАТ до нового 66 года.

Тяжелое это было время. Порой я был в отчаянии и начинал думать, что кругом ошибся и ничего со станком не выйдет. Пока что мне удалось наладить электронику и состыковать ее со считывающим устройством. Это было уже немало, но далеко не все. Главное заключалось в том, будет ли электроника устойчива к помехам, создаваемым работой самого станка.

Наступил день подключения системы к работающему станку. Абрам Розинов несколько раз с усмешкой забежал в лабораторию, где велась наладка. Зашел туда и Зусман, попыттел трубкой, спросил, как идут дела. Я нервничал, и он это видел.

Когда я включил, наконец, станок, в системе, к моему ужасу, началась полная неразбериха. Все сбивалось. Ничего не работало.

Абрам торжествовал:

– Я же говорил!

Я метался вокруг станка как угорелый. Была суббота. Все ушли, и я остался один с наладчиком. Наладка электроники – это не только знание, это также и интуиция. Как в хорошем детективе.

Отбрасывая одну причину за другой, я решил проверить, как заземлен станок, и обнаружил перемычку, показавшуюся мне лишней. Я перекусил ее кусачками, и система заработала!

Понадобилось еще месяца полтора, чтобы исключить все возможные помехи, но главное было сделано.

Новый станок решено было представить в качестве экспоната на Международной выставке в Монреале. Меня это уже не заботило. Моим преемником был назначен пренеприятный малый Цыганков, откровенный антисемит из Одессы, хотя, судя по его внешности, подозреваю, сам еврей.

Чтобы показать в будущем, что он истинный автор системы, он портил мне кровь все мое последнее время в ЭНИМСе. В Монреале Цыганков выполнял роль доверенного лица ГБ, но однажды не пришел ночевать в гостиницу и был немедленно с позором возвращен в Москву.

В доказательство, что я не был таким идеалистом, как думал Зусман, я предложил Ратмирову, Зусману и заместителю директора ЭНИМСа Васильеву запатентовать новую систему. Я не обладал глупыми амбициями тех, кто непременно отказывается включать начальство в соавторы. Васильев, не имевший представления о содержании заявки, не моргнув глазом, подписал ее. Я знал, что без этих подписей не получу в будущем ни копейки, и не ошибся.

СНОВА У ХУДОЖНИКОВ

Я читал Экклезиаста

Выл в музеях ах Матисс.

Савелий Гринберг

Мое духовное раскрепощение усиливалось. Я решил возобновить и свои старые связи. Прежде всего, побывал у Сапгира и Оскара Рабина, рассказал им, первым делом, как 6–7 лет назад меня хотели заставить шпионить за ними. Они, по-моему, пропустили это мимо ушей.

Все сильно изменилось. Неконформисты были в моде. Картины их хорошо покупали. Харламов оказался прав! Оскар приобрел кооперативную квартиру и покинул Лианозово. Его жена, Валя, тоже стала художницей. Лев Кропивницкий разбогател. Даже Вася Ситников оставил свою мышиную нору. Он умудрился получить

большую комнату у самого здания ГБ на Малой Лубянке. На дверях он повесил объявление крупными буквами, намеренно неграмотное:

МИНЯ НЕТ ДОМА

Его дела пошли в гору, и он впервые в жизни в возрасте почти 50 лет женился на симпатичной девушке. В живописи его все сильнее стала торжествовать эротика. Вошел он в моду и в дипломатическом корпусе. Появился друг, посол Люксембурга, приглашавший его на дипломатические приемы в качестве *paysan Russe*^{*}. Вася надевал сапоги, свитку и в таком виде шел в гости. Ему предлагали изысканные угощения, он кобенился:

– Только что щей нарубался. Во! – и хлопал себя по животу.

Дипломаты ловили каждое его народное слово.

На свадьбе мадемуазель Стивенс Вася учинил грубую международную провокацию. Он подошел к американскому послу и схватил его за пиджак, как в свое время министра культуры Михайлова. Посол перепугался.

– Вася! – остановили его, – это же посол.

– Посол? – деланно сомневался Вася. – Вот посол! – и показал на хлыща с Хроники.

ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В сентябре 65 года были арестованы Синявский и Даниэль. Это вызвало движение протеста, которого я всячески сторонился, но в которое меня тут же захотели втянуть. Первым обратился ко мне Геннадий Шиманов, тогда активный участник нарождавшегося диссидентства и религиозный либерал. Знал я его давно, через факельских друзей. Он был их одноклассником и лидером маленького кружка, в котором культивировал противостояние окружающему на основе русской и классической культуры. Он не стал дальше учиться и был взят в армию, а после армии оказался в критическом состоянии, подумывал о самоубийстве, но кризис преодолел. Жил в отдельном флигеле, где у него всегда толклось много народу. В 57–58 годах там господствовала мода на оккультизм. Сам Генмих, как его звали (Геннадий Михайлович), забирался в погреб, пил там водку и слушал Баха. В середине 60-х годов Генмих обратился. Может быть, со стороны виднее, но мне всегда казалось, что для него, как и для многих других "баалей тшува"^{*}, религия оказалась чудесной долгожданной идеологией, дававшей моральное превосходство над окружающими. Она была для них идеологией элитарного меньшинства, своего рода ницшеанством. Стать христианином стало казаться для многих вступлением в элитарную интеллектуальную секту. Это, а не стремление слиться с окружающим миром, потянуло туда многих евреев.

В памятную пасхальную ночь, когда я имел редкое удовольст-

^{*} Русского крестьянина (фр.) – *прим. ред.*

^{*} "Баалей тшува" (иврит) – вернувшийся к религии. *Прим. ред.*

вие стоять на заутрене с министром Куроедовым, Генмих с большой компанией был около Елоховской церкви и показывал на толпу:

– Смотрите, это бесы, а не люди!

К сожалению, это были люди, хотя на бесов и смахивали. Потом это у него прошло.

В ноябре 65 года он сообщил мне, что 5 декабря, в день Конституции на Пушкинской площади готовится демонстрация с требованием соблюдения Конституции и освобождения Синявского и Даниэля. Он просил помочь в этом деле. Я отказался, но 5 декабря в назначенный час все-таки пошел на Пушкинскую площадь посмотреть со стороны, что там будет.

Я встал на безопасном расстоянии по другую сторону улицы Горького и хорошо видел, как район наводнили громилы, бродившие, будто просто так.

Я уже собрался уходить, думая, что ничего не произойдет, как вдруг на секунды взметнулись вверх транспаранты, тотчас же повергнутые и отнятые набежавшими громилами. Одна за другой подкатили машины, давно ждавшие сигнала, и задержанных увезли. Прохожие с изумлением смотрели на происходящее. Никто ничего не понял. Впрочем, участники демонстрации отделались легким испугом и скоро были выпущены. Я им сочувствовал, но влезать сам не хотел по многим соображениям, из которых одним из самых главных была боязнь подвести моих церковных покровителей.

Спустя пару недель мне суждено было выдержать более серьезную атаку.

ПЕТИЦИЯ

*Славно быть толстым и густобородам
Сильным евреем, связавшим судьбу
С братским великим российским народом!*

Борис Камянов

С Феликсом Карелиным я познакомился еще в январе 65 года, на дне рождения у Александра. Он производил сильное впечатление глубокого и умного человека и был, к тому же, исключительно красноречив. Тогда он работал ночным сторожем в Александровской церкви. Феликс был чистокровный еврей, сын левого эсера, он находился под таким сильным обаянием известного лидера левых эсеров Карелина, что взял его имя. Отец Феликса исчез в чистках 30-х годов. Феликс был вынужден стать осведомителем, как заставляли многих осиротевших детей, сам был арестован вместе с группой, на которую доносил. В лагере Феликс раскаялся и, чтобы доказать свою честность, убил лагерного стукача. Там же, в лагере, он крестился. У него была, кажется, врожденная склонность к экстремизму и поиску самых радикальных углов. Но пока что я этого не понимал.

Летом 65 года я пригласил к себе людей, и он прочитал доклад

о Ватиканском соборе, где, говоря о православной церкви, употреблял выражение "мы". Феликс сожалел, что *Мы*, при всем *Нашем* желании, не можем принять II Ватиканский собор как положительное явление, способное привести к воссоединению церквей.

Феликс примкнул к группе духовенства и мирян, жаждавших преобразования Церкви. К ней принадлежали: Сергей Желудков, Николай Эшлиман, Глеб Якунин, Дмитрий Дудко, архиепископ Ермаген (Голубев) и другие. Они собирались и обсуждали, что же надо делать. Предупрежденный Остаповым и Пителимом, я старался не входить в их дела, и это сразу сделало меня из желанного активиста аутсайдером. А на меня, как на свежую силу, рассчитывали.

В декабре меня пригласил к себе Николай Эшлиман. Он жил в деревне Алешкино в большой усадьбе на берегу Химкинского залива, далеко от центра. Николай был тогда вдохновенный мистик, монархист и консерватор. Затемно я приехал на указанную мне автобусную остановку на Московской кольцевой дороге и стал ждать.

Где-то вдалеке показался огонек фонаря. Ко мне приближались двое. Вторым был Феликс, которого я встретить здесь не ожидал. Пошли к Эшлиману. Николай любил вкусно поесть. У него научился я готовить великолепную настойку на укропе и сельдерее. Еда была первый сорт и, только окончив трапезу, Николай и Феликс приступили к делу.

– В ближайшее время, – сообщил таинственно Феликс, – произойдут события, которые изменят судьбы церкви.

– Что именно?

– Готовится обращение православных священников к правительству и патриарху.

– А кто подпишет?

– Двое.

– Только?

– Достаточно.

– А кто именно, если не секрет?

– Отец Николай и отец Глеб, – ответил Феликс.

Они дали мне текст. Обращение к властям было волнующим документом. Там все было правдой, хотя изложено несколько декламаторски и растянуто. Я еще не знал, что все писал Феликс. Худшее впечатление оставил у меня текст обращения к патриарху, на мой взгляд, глупый и надменный.

– А от меня чего вы хотите?

– Помогите нам распространить это.

– Я не готов.

– Почему? – взвился Феликс.

– Как я могу набраться такой дерзости, осуждать патриарха за то, что он не сделал или боялся сделать, если я сам без году неделя в церкви, еврей, бывший комсомолец, сын коммуниста? Что я сам делал в это время? Как бы я сам повел себя в такой ситуации? Нет, я не могу, – закончил я более решительно, чем начал.

Спор продолжался долго. Я был совершенно не готов к политической оппозиции, тем более, в церковных вопросах.

Вначале идея обращения обсуждалась среди довольно большой группы духовенства и мирян, но люди, один за другим, отпадали, осталось двое, а истинным сочинителем текстов был Феликс.

Обращение, однако, приобрело огромную известность и вышло далеко за пределы церковного мира. Весной 66 года, во время процесса Синявского и Даниэля, о нем уже говорили в салонах, и я не сомневаюсь, что оно дало толчок подписантской кампании, последовавшей за осуждением Синявского и Даниэля. Я оказался по другую сторону баррикад, хотя и поддерживал со всеми дружественные отношения.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

*Поет на идиш девочка в Литве...
Люблю, и пью, и слушаю литвинку –
Спокойные, простые гимны гетто.*

Олжас Сулейменов

С нового 66 года я был свободен и счастлив. Я сбежал с барщины, высасывавшей из меня все силы. Я вышел победителем из трудного поединка. Переход в очную аспирантуру был в моем возрасте уникальной роскошью и основывался на том, что кроме маленькой стипендии, у меня были другие источники заработка. Я мог ехать куда угодно, в любое время, мог распоряжаться своим временем как хочу. Как только я ушел из ЭНИМСа, я поехал в Вильнюс. Туда меня давно уже звала Наташа Трауберг, с которой я познакомился через Олега Прокофьева. Наташа была дочерью известного советского кинорежиссера Леонида Трауберга, ставшего жертвой кампании против космополитизма. Сначала обрушились и на его соавтора Козинцева, но потом организаторы кампании решили, что нападки на Козинцева, имевшего русскую фамилию, хотя тоже еврея, вызовут недоумение, и стали ругать только Трауберга. Наташа – женщина совершенно незаурядная, и то, что она была первой классной переводчицей с английского и испанского, было лишь одним из ее талантов. Ей, в частности, принадлежит честь популяризации Честертона.

В Вильнюс я отправился вместе с Александром и его женой, но они пробыли там всего несколько дней, а я остался еще. Я впервые был в католической стране, но католицизм меня не тронул даже тогда, когда я увидел знаменитую Остробрамскую икону. Это не было враждебностью. Я испытывал глубокую симпатию ко всем верующим, а тем более, ко всем христианам. Но мне было физически неприятно смотреть на маленькие сердца, ноги, руки – символы исцелений.

Я стал убеждаться, что православие, вернее, византийская традиция гораздо больше сохранила элементы древнего иудаизма, особенно в литургии. В нем было меньше того, что можно

было бы назвать пластическим язычеством. Вероятно, это было результатом иконоборчества.

В Вильнюсе я познакомился с Аликом Штрмасом. Он был из семьи крупного деятеля независимой Литвы, посла в Германии и затем фактического министра финансов. Ко всеобщему изумлению, отец сохранил свое положение и после советской оккупации. Оказалось, что на его квартире тайно собирался нелегальный ЦК компартии Литвы во главе со Снечкусом. В отместку, отец Алика вместе с другими коммунистами был зверски убит восставшими литовцами после того, как советские войска бежали из Каунаса, а немцы еще не вошли в город. Алик с матерью попал в гетто. Ему устроили побег в 44 году накануне ликвидации гетто, но мать погибла. Алик попал в партизанский отряд и после освобождения Литвы был усыновлен Снечкусом, у которого своих детей не было. Снечкус был, кстати, женат на еврейке. В возрасте 16 лет Алик, считавшийся вундеркиндом, был направлен на юридический факультет МГУ, а после его окончания вернулся в Вильнюс и стал директором Института судебно-медицинской экспертизы. Но и его потянуло в лес. В 57 году он сумел издать один номер литовского Синтаксиса, потерял должность, но остался в своем институте заведующим лабораторией. От Снечкуса он ушел, но тот продолжал ему покровительствовать. Алик доживал в Литве последние дни. Достав служебный газик, он повез меня показывать Каунас, в особенности 9-й форт, где было убито 80 тысяч евреев со всего мира.

Мы с ним много спорили по политическим вопросам. Он уже тогда был убежденным и воинствующим (на словах, конечно!) антикоммунистом, а я был прагматиком, осторожным, склонным к компромиссам. Для меня было не все равно, какой ценой будет уничтожена Софья Васильевна (т.е. Советская Власть).

Алик вскоре переехал в Москву и устроился в Институт законодательных предложений Президиума Верховного Совета. Он был одним из немногих москвичей, которые были хорошо информированы. У него всегда были свежие иностранные газеты.

ОПЯТЬ КАРЗУБЫЙ

*О чем тут быть может разговор,
Ясно, что он вор.*

Александр Введенский,
"Очевидец и крыса".

Я замечаю, что Николай Михайлов, секретарь ЦК, министр культуры, в то время председатель Госкомитета по печати, как и Сталин, не покидает страниц моих воспоминаний. Так уж получается!

Так вот, в комсомольской атаке конца 65 – начала 66 года, сразу после Синявского и Даниэля, Михайлов принял активное участие. Каждый шелепинский человек, имевший свой комитет, создавал громкое дело, из которого вытекало бы указание на идеологическую запущенность. Коля Михайлов вспомнил про

моего друга В., уже восстановленного в партии и давно работавшего в одном из издательств заведующим редакцией. В этой редакции вышла "преступная" книжка Игоря Голомштока о Пикассо. Преступная, так как выяснилось, что Голомшток был приятелем Синявского. А, кроме того, В. допустил ужасную политическую ошибку. В каталог художественных выставок за все годы советской власти он включил выставку в Киеве, которая хронологически падала на короткое время Петлюры. В. был второй раз снят с работы, и Михайлов требовал его исключения из партии. Но как изменились времена! У В. нашлись могущественные покровители. Его не дали в обиду и устроили директором подмосковного музея.

Пару лет спустя В. ехал на машине с приятелями и поровнялся с автомобилем Михайлова. Михайлов заметил своих врагов и не нашел ничего лучше, как покрутить пальцем руки у виска: знак, означавший, что у врагов Михайлова не хватает в мозгу шариков. Этот жест он, конечно, помнил с тех пор, как был главарем шайки у "Серпа и Молота".

ИАТ

Волки-инженеры

*Мы делаем электрических мужиков,
Которые будут печь пироги.*

Николай Заболоцкий,
"Безумный волк".

Мои организационные связи с ИАТом оказались слабыми. Мне не нужно было туда являться, и я лишь изредка ходил консультироваться с Вороновым. В ИАТе были толковые ребята, в основном, евреи. Разница между ними и энимсовцами была огромная. Знание иностранного языка и даже двух и трех было всеобщим. Директором ИАТа, который впоследствии был переименован в Институт проблем управления (ИПУ), был академик Вадим Александрович Трапезников, хороший бизнесмен, на которого работали ghost writers и, главным образом, Александр Яковлевич Лернер. Трапезников играл в ту же игру, что и Владзиевский в ЭНИМСе, окружая себя евреями, зная, что они ему не опасны, и в то же время натравливая русских на евреев, чтобы предотвратить их атаку на себя самого.

Среди известных евреев-ученых там работали, кроме Лернера, Ципкин, Мееров, Фельдблюм, Розонер и другие, которые, при прочих равных условиях, были бы академиками или, на худой случай, членами-корреспондентами, причем, их постоянно издевательски выставляли на выборы в АН и всегда проваливали. В то же время различные менеджеры, вроде Трапезникова и Емельянова, или же аферисты, вроде Гвишиани, один за другим проходили в Академию.

ИАТ, он же ИПУ, был исключительно престижен, и люди со станкиновскими дипломами, вроде меня, чувствовали себя там фраерами.

Одним из столпов советского научно-технического бизнеса был академик Борис Николаевич Петров. В ИАТе он был лишь зав. отдела, но он был академиком-секретарем отделения технических наук АН, занимал массу других должностей в военной промышленности и, в довершение ко всему, был председателем Интеркосмоса, т.е. непосредственно представлял СССР во всех переговорах с американцами о совместных работах в Космосе. Петров был невысок и худощав, производил впечатление весьма скромного человека. Впервые я увидел его на защите диссертации Петра Мерабишвили, когда Петров стал защищать его от критики Лернера. Мне тогда сказали, что Петров вообще старается поддержать на защите тех, на кого нападают. Каково же было мое изумление, когда в 66 году я оказался рядом с Петровым в Обыденской церкви. Он ожидал исповеди у тамошнего священника Владимира Смирнова! Я никогда не видел человека столь искренне сокрушенного. Прежде чем подойти к священнику, Петров встал на колени и с видом глубоко раскаявшегося человека молился.

Окруженный старушками, он не делал этого напоказ. Он был целиком погружен в себя. Я сохранял тайну Петрова, но, как мне много лет спустя разъяснил Лернер, это был секрет Полишинеля, правда, в очень узком кругу. Петров даже отказался вступить в партию, сославшись на то, что он религиозный человек. Это нисколько не помешало ему в высшей степени успешной карьере. Таких Петровых было немало. Про Туполева рассказывали, что он добровольно выполнял функции капеллана космонавтов. Будучи членом правительственной комиссии по приемке космических полетов, Туполев осенял космонавтов крестным знаменем перед их посадкой в космические корабли. Ректор МГУ академик Иван Петровский, член Президиума Верховного Совета СССР (!) тайно виделся с упомянутым мной епископом Филаретом (Вахrameевым).

В. рассказал мне, что для этих людей существовал термин "религиозники". Сюда входили такие люди, как Корин, Юдина, академик Сергей Юдин и другие. Может, и я шел по той же категории?

ЧЕРНОСОТЕНСТВО

*За двести миллионов Россия
Жидами на откуп взята –
За тридцать серебряных денег
Они же купили Христа.*

А. К. Толстой

Изучение антисемитизма стало одним из моих фокусов. Я уже давно понял, насколько глубоки корни антисемитизма в русском христианстве, но этот антисемитизм бледнел по сравнению с расизмом советского общества. Религиозные антисемиты в основном нападали не столько на еврея, сколько на его веру. В принципе,

предполагалось, что еврей, освободившись от своих якобы заблуждений, станет таким как все. Но антисемитизм еще до революции стал терять религиозную скорлупу, и, в конце концов, вылился в расовый антисемитизм русского черносотенства. Признаться, я испытал шок, открыв впервые орган Союза Русского Народа "Русское знамя". Несколько дней я не мог прийти в себя. Потом я к этому привык и стал изучать черносотенство как исторический феномен. Особенно интересовало меня отношение духовенства к правым русским партиям.

Все это было сложно и трудно, но жизнь моя обрела осмысленную цель, к которой я стал быстро продвигаться. Большую роль в моем формировании как историка сыграли отношения с Журналом Московской Патриархии.

ЖМП

*Он лезет все выше, он лезет все выше,
Уж крест из-под ног на три четверти вышел.*

Зяма Телесин
в переводе Т. Спендиаровой

В 66 году я опубликовал в Журнале Московской Патриархии (ЖМП) две короткие статьи под псевдонимом Михайлов. Одна из них почти утратила свой первоначальный вид, а другая была достаточно аутентичной. Это был некролог Хьюлетта Джонсона, знаменитого настоятеля Кентерберийского собора, фанатичного сторонника СССР. Этот некролог отражает мою тогдашнюю политическую философию. Признание церковью советской власти я считал мудрым компромиссом.

Неожиданно Питирим пригласил меня на заседание редколлегии. Это было неслыханно, учитывая мое положение светского аспиранта. Питирим не мог сделать этого без одобрения властей, ибо это был шаг, выходящий за рамки общепринятых с ними отношений. На заседании присутствовал истинный хозяин журнала Алексей Бувеский, смотревший на меня с большим любопытством.

Отношения мои с ЖМП имели ups and downs, но эти колебания объяснялись командами извне, а не колебаниями Питирима или Бувеского.

Правой рукой Питирима постепенно становился аспирант академии Анатолий Просвирнин, принявший потом священный сан целибатом, а затем уже и монашество.

Питирим и Просвирнин в разное время были духовными детьми одного из последних оптинских старцев, доживавшего свои годы в Караганде. Умирая, старец послал Анатолия Питириму с наставлением опекать его, и это определило их отношения.

ГЕЛЯ ИЗ ИЕРУСАЛИМА

*Конфисковать полморя Средиземного,
Сослать его бессрочно в Карацоп!*

Олжас Сулейменов

Однажды я застал у Ведерниковых очаровательную девушку, брюнетку, с очень тонкими восточными чертами лица, не русского, но и не еврейского типа. Это была Геля Лисенкова, обладательница необыкновенной биографии. Была она гречанкой и родилась в Иерусалиме. Рано осиротела, и ее удочерила русская монахиня, давшая ей свое имя. Во время Войны за независимость Израиля Геле было меньше 10 лет. В Горненский монастырь в Эйн-Кареме ворвалась группа вооруженных арабов, предупредивших монахинь, чтобы они убегали как можно скорее, ибо приближающиеся евреи их перебьют. Монахини были в замешательстве, не проявляя желания бежать. Тогда арабы пригрозили, что сами их перестреляют, если те не уйдут по доброй воле. Перепуганные монахини стали разбегаться, одна забила под стол в трапезной. Неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы не послышались выстрелы. Арабы бежали.

После образования государства Израиль большая часть монахинь осталась в Горнем и приняла советское подданство, в их числе и мать Лисенкова. Во второй половине 50-х годов советский посол в Израиле Абрамов, дочку которого, Катю, я знал, начал уговаривать Лисенковых вернуться в Россию:

— Чего ты здесь пропадаешь? — сказал он Геле. — У нас ты сможешь учиться.

Матери он обещал любой монастырь. Лисенковы согласились. Их направили в Киев. Геля поступила в школу, а мать в Покровский монастырь. И та, и другая испытали шок. Легко себе представить бывшую послушницу монастыря, да еще и уроженку Израиля, в советской средней школе. Да и в советском монастыре было неслладко.

Лисенковы стали проситься обратно у митрополита Николая.

— Это нельзя, — категорически отказал он.

Геля все же окончила школу и решила поступить в МГУ. С ее анкетой она немедленно была провалена известными способами и устроилась работать в библиотеке МГУ. Лишь после личного вмешательства патриарха и негласного покровительства тайного христианина, ректора университета И. Петровского, Геля со второго захода поступила на искусствоведческий факультет.

Когда я ее встретил, она только что закончила МГУ. На распределении директор Третьяковки Федоров-Давыдов, увидев прелестную выпускницу, сразу потребовал:

— Ее к нам!

Но как только узнал всю подноготную, место в Третьяковке улетучилось. Лисенковы снова стали добиваться разрешения вернуться в Святую Землю.

КАТАКОМБЫ

*И вышел я из церкви на Крови,
Чужое горе унося с собою.*

Борис Камянов

Мне казалось, что хорошо знаю Меленки, столько раз я бывал в тех местах, но там можно было прожить и двадцать лет и не узнать, что скрывалось под покровом провинциальной скуки и безразличия к окружающему.

Весной 66 года скончалась бабушка Веры. Мы поехали на похороны. Дом был полон. Священнику было запрещено отправлять требы дома, и у гроба, постоянно сменяясь, читали псалтырь женщины. Я узнал, что в Меленках стихийно сложилось погребальное братство (вернее, сестричество), устраивавшее друг другу христианские похороны. Его члены образовали хор и сопровождали усопших в последний путь. Делалось это за символическую плату. Сестры были связаны круговой порукой. Они опасались, что дети или родственники отправят хоронить их "с оркестром", так назывались в Меленках гражданские похороны. Было там несколько десятков этих пожилых женщин и старух.

Власти сквозь пальцы смотрели на женское упрямство. В назначенный час гроб с бабушкой стали выносить из дома. Мужчин до этого не допустили, так как покойная давно овдовела, и нести ее полагалось только женщинам. Дом был от кладбища в пяти минутах, но своевольные женщины, сопровождаемые большой толпой, нарочно удлиннили путь, пошли петлять, минуя лишь центр городка, где христианские похороны не допустила бы милиция. По пути в двух местах перед домами были поставлены столы. Это старые подруги покойной предлагали ей погостить у них в последний раз. Гроб ставили на стол и, помолившись, процессия шла дальше, в сторону кладбища. Священнику присутствовать не дозволялось, и женщины привыкли управляться сами, скрупулезно соблюдая панихиду. Наконец, гроб опустили в морозную землю и стали засыпать землей.

На поминки пришло много народа. По здешнему обычаю приглашения не требовалось, мог прийти каждый, кто хотел. Было строго определенное меню, свято соблюдаемое, и каждый пришедший вправе был спросить недостающее блюдо, из которых центральным была окрошка. Разумеется, было и вино, и некоторые мужчины, принимавшие участие в похоронах, здорово напились, что, однако, нарушением приличий не считалось.

Меленки стали приоткрываться для меня. Выяснилось, что хор и погребальное сестричество были лишь поверхностью. В глубине был тайный женский монастырь, руководимый бывшей игуменьей, в двадцатых годах сосланной в Меленки и тихо проживавшей в городе с того времени. По ее инициативе многие вдовы и одинокие женщины приняли постриг, но продолжали жить в миру в своих домах, так что монастырь, руководимый матушкой игуменьей был монастырем особым. Он не имел общего здания. Сестры собира-

лись вместе на молитву лишь на похоронах. Это был узаконенный способ их публичного совместного богослужения. Разумеется, не большими группами в своих домах они собирались чаще, но собираться всем сразу означало навлечь на себя подозрение. Матушка, уже давно наблюдая за мною издали, сказала сестрам, что из евреев выходят иногда верные христиане, и сестры стали мне доверять. С одной из них я подружился. Это была далеко еще не старая женщина. Я думаю, ей не было больше 45, хотя у нее была уже замужняя дочь. Я вел с ней длинные беседы в саду и вскоре понял, что соприкоснулся с миром христианских катакомб, о котором внешние наблюдатели имеют очень малое представление.

Судя по рассказам сестры, почти все здешние катакомбные христиане не имели ни малейшего представления о том, что происходит в мире. Руководимые матушкой, они жили психологией конца 20-х годов, не признавая официальную Церковь. Катакомбные меленковские христиане жили в полной уверенности в том, что антирелигиозный террор двадцатых-тридцатых годов продолжается, нисколько не изменившись. Они все жили страшной памятью этих годов, когда за один факт веры простых крестьянок, как подкулачниц, арестовывали и бросали в лагеря. У меня нет данных утверждать, что они в то время были связаны с так называемой Истинно-Православной Церковью, но почти уверен, что это была совершенно изолированная община, не имевшая никаких связей вне Меленок. Никакой новой церковной литературы меленковские катакомбы не имели. Церковный календарь 10-летней давности был для них сокровищем. И хотя перед войной на всю огромную Владимирскую область оставалась лишь одна деревенская церковь возле Гуся-Хрустального, а после войны в одном только Меленковском районе было восстановлено четыре церкви, они не придавали этому значения. По-видимому, решительно отвергая как патриарха Сергия, так и его последователей, они все же по благословию матушки игуменьи стали ходить в Приклонскую церковь для причастия и на праздники, но со священником у них никаких отношений не было. Если кто-то нуждался в совете и наставлении, то обращался не к священнику, а к матушке-игуменье.

На вопрос, почему все-таки были открыты церкви после войны, сестра не дала вразумительного ответа.

Доверие ко мне, однако, настолько возросло, что я был приглашен в деревню, где сестра имела свой дом. Я приехал туда на велосипеде. Это был простой крестьянский сруб безо всякой мебели, без предметов, привычных городскому жителю. Лишь в красном углу горницы висели иконы, украшенные вышитым полотенцем, как было здесь принято. Под образами стоял простой грубой работы стол, вокруг которого были расставлены скамьи. Сестра, ее дочь с мужем и внуком ждали меня. Вскоре мы сидели за столом и ели из общей миски деревянными ложками крестьянскую окрошку. Социальная пропасть между нами была невообразимой, но мы легко ее преодолели, и это чувствовалось в теплоте и полной доверительности общего разговора.

"Мы-то ничего! — сказала сестра. — Но вот внучка жалко. Как по-

думаю, что из него в школе сделать могут, сердце кровью облива-ется. Мы его дома приучаем молиться, а что потом выйдет... По-гляди-ка вокруг". Зять, слесарь меленковской автобазы, смущаясь, сказал: "Я верю, – сказал он, – верю, но в церковь не могу ходить. Если об этом узнают, мои же дружки засмеют. Жить не дадут. У нас есть здесь один парень, так вот стал он в церковь ходить. Его теперь ребята со свету сживают. Смеются над ним, и все тут. Хо-чет из Меленко уезжать в большой город. Там не так заметно".

Я вспоминаю об этом обеде из общей миски под образами в простоте и бедности с чувством необыкновенной теплоты, даже гордости. Нам, его участникам, удалось хоть ненадолго перешагну-ть почти непреодолимые барьеры, культурные, социальные, на-циональные. Нас соединила лишь общая вера, она оказалась сильнее всего.

Сестра рассказала мне и другие подробности катакомбной жиз-ни в Меленках. Там, оказывается, был и настоящий схимник. Про-тив иеромонаха, несколько лет служившего настоятелем церкви в селе Красное, затеяли в местной печати кампанию, обвинив его в попытке изнасилования прихожанки. Церковь под этим предлогом закрыли, а сам священник, успевший купить дом в Меленках, ушел в затвор. Он поселился у себя в бане, стоявшей на огородах, в доме хозяйствовала монахиня. Он строго соблюдал схиму, и уви-деть его было очень сложно. Все юридические формальности бы-ли соблюдены и пока его никто не беспокоил.

Часто приезжая в Меленки, я замечал на улице некоего моло-дого мужчину. Это был, оказывается, странник, который тайно хо-дил на богомолье по святым местам. Его почитали святым челове-ком.

Мне трудно оценить число христиан в меленковских катаком-бах. Тайный монастырь был лишь их ядром. Разрастись вширь ему мешали власти, которые, конечно, знали о его существовании, но до времени смотрели на это сквозь пальцы. Однако когда с ним сблизилась бухгалтер какой-то районной организации, женщину немедленно вызвали и запугали.

Около местного священника, как я говорил уже, не было никако-го круга, да и не могло быть в принципе, ибо, если бы он образо-вался, то священника немедля сняли бы с регистрации за религи-озную пропаганду. Поэтому дальний родственник, женатый на ме-ленковке, инженер Иоганн Львович, добродушный болтливый ев-рей оказался желанным собеседником священника, погибавшего от полного одиночества. Священник этот окончил когда-то Варшавский богословский институт. Познакомившись с Иоганном Львовичем на рыбалке, он стал отводить с ним душу в так называемых философ-ских беседах, несмотря на полную несхожесть собеседников.

Православные в Меленках были лишь частью катакомбного христианства. Было там много баптистов, живших отдельной ули-цей. Их было побольше, чем православных, и у них была моло-дежь. Баптисты, не связанные с посещением храмов, были лучше защищены от посторонних взглядов. О том же, как меленковские православные вынуждены были публично исповедовать свою ве-

ру, хорошо говорит то, что на Пасху 66 года церковь была окружена толпой, встречавшей смехом каждого входившего в храм.

Один меленковец, простой рабочий, признавшись мне в своей вере, с гневом сказал:

– Придет время – ремни у начальства на спинах резать будем! Посмотришь!

Это, конечно, никак не вязалось с принципами его веры, но вряд ли вера его включала этические элементы. Она была лишь его личной точкой опоры, способом защиты от посягательств окружающего мира.

Соприкосновение с меленковскими катакомбами произвело на меня неожиданное действие. Я ощутил сильнее, чем когда-либо, что как бы все это ни было трогательно, однако же, это не мои корни. Мои же следовало искать не в Меленках.

АРМЯНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Ногтями турки рвут лицо.

Армяне

Им, сострадаая, шепчут: "Тише, тише".

Олжас Сулейменов

Из Киева мы поехали на Кавказ, где я остановился в Армянском ущелье, в паре километров от Нового Афона. Здесь я столкнулся, хотя и очень поверхностно, с восточным христианством. По преданию, в Новом Афоне был погребен один из апостолов – Симон Кананит. В его честь была выстроена хорошо сохранившаяся византийская церковь, оказавшаяся в годы советской власти прямо внутри местного санатория. Вверх по течению сильной горной реки сохранялась почитаемая пещера, где, по преданию, скрывался апостол. Там была сооружена импровизированная часовня, которую власти не тревожили, в ней постоянно находился монах. При мне в пещеру, сняв обувь, вошла восточная женщина. Она была армянка. Пещера апостола Симона чтится всеми христианами. В горах над Новым Афоном таились скрытые монастыри, которым тогда власти попустительствовали. Вообще в Грузию тогда стекались гонимые христиане со всей России. Здесь на религию было всем наплевать.

Я сделал наивную попытку найти такой монастырь, но меня застала в горах апокалиптическая гроза, и я спасся бегством в горную армянскую хижину. Я был поражен средневековой нищетой этой лачуги. Мебели почти не было, в углу стояла старая железная кровать, на ней в куче невообразимых лохмотьев лежала девочка. Боясь простуды, я спросил у хозяев чачи, она и спасла меня от верного заболевания. Вся эта нищета была лишь в километре от утопающего в роскоши Афона! Хозяева рассказали мне, что дети желают учиться только в русской школе, отвергая все попытки послать их в школу абхазскую. Армяне здесь дружно ненавидели грузин, и в этом объединялись с абхаз-

цами. Гость-абхаз у хозяина моего дома, армянина, сказал мне:

– Знаешь, какие они, грузины? Им только дай спыну, они тэбэ покажут!

Сын моего хозяина был хорошим боксером, но когда вышел в финал Грузии, его предупредили, чтобы не вздумал победить своего грузинского соперника.

Заранее зная реакцию хозяина, я сообщил ему, что меня зовут Мелик.

– Как? Ты армянин? Пачэму тэбэ так зовут?

Я начал нелепо (по примеру Бороды) объяснять, что у нас якобы был знакомый армянин и т.п. Это произвело на хозяина лишь впечатление, будто я скрываю свою армянскую принадлежность.

Соседом моим по дому оказался адвокат из Выборга, который часами рассказывал бесконечные истории о воровстве и мошенничестве. Его рассказы красноречиво дополняли картину всеобщего воровства и коррупции, которую каждый, в том числе и я, наблюдал вокруг себя.

Оказалось, что, как во времена Оливера Твиста и Фэджина, воры и жулики в России строго делились на касты. Самыми нижними были щипачи, таскавшие деньги и кошельки из карманов двумя пальцами. Задачей кукольников было подсунуть куклу.

Приезжает, скажем, в Москву простофиля-нефтяник, набитый деньгами. У кукольников настроен глаз на такого типа людей. Нефтяник ищет покрывку к машине, которую в России надо ждать годами. Приходит в магазин на Бакунинскую улицу, спрашивает одного, другого. Тут-то к нему и подруливает кукольник:

– Вам резина нужна? Могу достать, но, конечно, не даром.

– Да я тут же уплачу, сколько надо, – и тянется за деньгами.

– Нет, – вежливо останавливает нефтяника кукольник. – Вперед я деньги не беру. Как получите резину, встретимся у метро Бауманская в 8 вечера, там и расплатитесь, – и называет пустяковую цифру. Нефтяник в восторге.

– Только вам нужно купить конверт точно такого вида, – и показывает образец.

Нефтяник быстро возвращается с нужным конвертом.

– Теперь положите туда деньги. За резину. Готово?

Кукольник берет конверт с деньгами и надписывает его, прижав к стене.

– Идите теперь к кассирше, скажите, что от Ивана Николаевича. Запомнили?

Нефтяник идет к кассе и протягивает конверт с видом заговорщика. Кассирша тупо смотрит на нефтяника:

– Вам чего, гражданин?

– Да это от Ивана Николаевича...

– От какого еще Ивана Николаевича?

– Как какого? Вы разве не знаете?

Кассирша недоуменно открывает конверт, а там... сложенный вчетверо номер "Пионерской правды"... Это и есть кукла – подменный конверт.

Фармазоны работают с людьми с нечистой совестью.

Директор ювелирного магазина уезжает на юг. Через пару дней к его жене домой навещается незнакомец:

– Петр Васильевич просил в случае ревизии предупредить вас. Нужно ценные вещи поскорее убрать из дома. Каждую минуту можно ожидать обыска.

Незнакомец уходит. Жена и дочь быстренько пакуют ценности и деньги и через час-другой выходят из квартиры, собираясь укрыть все в надежном месте. В парадном их поджидают двое. Один обращается к другому:

– Товарищ капитан! Разрешите доложить! Это и есть Сидоровы!

– Ах, вот они! Так, так! Что это у вас в сумке? Разрешите посмотреть!

Хватает сумку у перепуганных женщин и вместе с партнером исчезает из подъезда. На улице их ждет заведенная машина. Фармазоны отлично знают, что Сидоровы жаловаться не станут.

По такому сценарию фармазоны ограбили московского священника Мещерского, известного агента ГБ. Они действуют по принципу "грабь награбленное", долго изучая очередную жертву...

В один прекрасный день я увидел на пляже в Армянском ущелье... Кого? Николая Эшлимана в плавках и с огромным наперсным крестом... Он был в сопровождении художника Сережи Есаяна. Мы снова заспорили с Николаем, а 19 августа, на Преображение, на лужайке при лунном свете, взяв с собой вина и закуски, провели чудесный вечер.

СОМНЕНИЯ

*Утром бормотал мантру
Днем вникал в книгу йогов
Ночью слушал вечный шум
Исхудал как сухой лист
Унесло ветром*

Олег Прокофьев

Тем временем стали накапливаться сомнения. Активную неприязнь стало вызывать у меня принятое в современном интеллигентном православии так называемое духовное руководство, являющееся как бы развитием исповеди. В 19 веке, под влиянием монахов Оптиной пустыни в русском образованном обществе стала складываться традиция, согласно которой истинно верующий обязан обзавестись старцем, духовным наставником и согласовывать с ним свои жизненные поступки. В Оптиной пустыни были старцы, обслуживавшие высокопоставленных духовных детей заочно, по переписке

Убедившись на собственном опыте в ошибках наставников, я усомнился во всем этом деле.

Почему человек должен отказываться от свободной воли, провозглашаемой многими богословами одним из основных постулатов? Это же настоящий мазохизм! Что понимает священник, не

говоря уже о монахах, в светской жизни? Что он, обладает сверхъестественным видением? Духовенство не наделяется в христианстве подобным даром.

Со временем я стал думать, что именно этот мазохизм, незаконно перенятый из аскетической жизни древних монастырей, сыграл губительную роль в судьбе императорской России. Как могло произойти, что невежественный мужик Распутин приобрел такое необъятное влияние на целую страну? Царь и царица отказались от собственной воли под влиянием "старчества". Они действовали не иначе, как с одобрения "старца". Их тяготила свободная воля, и за это они были жестоко наказаны.

Несмотря на такой урок, русская религиозная интеллигенция сходит с ума по "старцам". Кандидаты и доктора наук бегают советоваться к священникам и монахам по делам, о которых те имеют весьма смутное представление. Самое страшное происходит, когда "старцам" отдают на суд свои интимные дела. Это приводит к тяжелым трагедиям.

Другим камнем преткновения было для меня почитание икон. Я ничего не мог с собой поделать. Я не мог освоиться с мыслью, что икона есть непосредственное присутствие Бога на земле, а не просто изображение.

Вообще, я стал замечать, что мое христианство не имеет теологического характера. Было лишь чувство принадлежности, наложенное на религиозный поиск. Сложилось так, могло сложиться иначе.

Началось и другое. Православие среди евреев стало входить в моду, я сам способствовал этому в сильнейшей мере. Иногда зрелище было для меня отталкивающим. Я видел в церквях толстых девиц с ярко выраженными восточными чертами посреди старушечьих зипунов, я чувствовал всю неестественность происходящего. Появилась фанатичная, бескультурная еврейская шпана, увлеченная модой, и, как правило, более "католическая", чем сам папа. Религиозная мода – одна из самых омерзительных, и сколько фанатичных новообращенных сновало тогда по церквам, монастырям, крестилось, начиная немедленно наводить порядки в православии, призывать к открытию церквей, вовлекая несчастных и запуганных людей в безнадежную политическую оппозицию.

Особенное раздражение у меня вызывал легкомысленный экуменизм крестившихся. Они обращались в православие, всячески восхваляя и католицизм. У меня не было никакого предубеждения против католицизма, но я имел четкое ощущение "дома" и "традиции", и меня не могла не возмущать подобная безтактность.

Среди всегда настороженных православных тут же пошли слухи, что евреи принимают православие для того, чтобы подорвать его изнутри.

То, к чему я пришел, я выстрадал сам, а тут покатились многочисленные еврейские перекасти-поле, высмеянные еще Чеховым. Я начинал чувствовать беспочвенность еврейского православия, хотя еще не знал, что это – форма саббатизма...

Два имени стали притягивать меня как магнит: Эдит Штейн и

Даниэль Руфейзен. Еврейка Эдит Штейн, философ и ученица Гуссерля, приняла католичество в двадцатых годах и погибла в лагерях смерти во время войны. Даниэль Руфейзен, польский сионист с юности, во время войны в исключительных обстоятельствах принял католичество и, после участия в советском партизанском отряде, стал в Польше священником, а потом уехал в Израиль, где выдержал тяжелую борьбу, которую, правда, сам начал. Мой интерес к этим людям показывает, что в отношении к христианству я не был связан конфессиональными рамками.

"БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ"

Неожиданно я оказался вовлечен в весьма любопытную историю. Леониду Евгеньевичу Файнбергу издательство "Детская литература" предложило иллюстрировать книгу "Вавилонская башня". Это была первая попытка в Советском Союзе издать изложение Библии для детей. Идея исходила, видимо, от Татьяны Максимовны Литвиновой, дочери покойного министра иностранных дел, но, главное, была поддержана авторитетом Чуковского.

Я уже знал, что Леонид Евгеньевич – убежденный антропософ, ученик Волошина. Для него такая работа была исключительно важным духовным делом. Его беспокоило содержание полученной им рукописи (и не даром!) и он искал средства как-то улучшить сомнительное мероприятие. Он попросил меня прочесть рукопись и сделать замечания, которые будто бы исходили от него. Он думал, что его замечания Чуковский учтет. Но главное, Леонид Евгеньевич хотел, чтобы в сборнике принял участие Александр, хотя было ясно, что Александр не мог выступить под своим именем. Поэтому было решено, что Мень напишет дополнительно три истории для сборника, которые будут подписаны моим именем.

Когда мы получили рукопись, то ужаснулись. Да простит меня милейшая Татьяна Максимовна!

Чуковский, которого я высоко ценил как детского (а по существу, взрослого) поэта, давно раздражал меня. Став монополистом в детской советской литературе и главным цензором западных детских книг, он, в сущности, присвоил тексты гениального детского писателя Хью Лофтинга. В двадцатых годах Чуковский перевел "Доктора Дулитла" и выпустил под именем настоящего автора. Потом с "Доктором Дулитлом" стали происходить чудесные превращения. Имя Чуковского стало теснить имя Лофтинга сначала на обложках, потом и на титульных листах. В конце концов, имя Лофтинга исчезло вовсе. Чуковский превратил мудрую книжку в дешевый советский комикс, переименовав Дулитла в Айболита.

Это был открытый литературный грабеж. То, что сам Чуковский в свое время был замечательным поэтом, вовсе не оправдывало такого поступка. Более того, Чуковский заблокировал дальнейшие переводы Лофтинга, жестко повторяя:

– Я взял у Лофтинга все, что необходимо советскому ребенку.

От Чуковского пошло беспардонное мародерство в детской литературе. Волков беспрепятственно переделал в советский комикс "Мудреца из страны Оз" Фрэнка Баума, Заходер делал, что хотел, с Винни Пухом Милна, и даже "Снежная королева" Андерсена подверглась бесцеремонной переработке с выбрасыванием ангелов и тому подобное.

"Вавилонская башня" полностью убедила меня в том, что Чуковский был бездуховным и, по большому счету, некультурным человеком. Он поощрял переделку возвышенных библейских историй в стиле русских народных сказок. Три отрока в печи огненной воспевали хвалу не Богу, а круторогим оленям, и изъяснялись языком сказки об Иванушке-дурачке. Были честные, бесхитростные изложения, например, история Давида в пересказе Снегирева, но они тонули в потоке комиксов.

Ни в одной истории нельзя было понять, где и когда все происходило. Слова "еврей" или "еврейский" вообще не употреблялись. Только в предисловии Чуковский утверждал, что древнееврейский эпос и сказки также имеют право на жизнь.

Мы были в отчаянии. Александр согласился написать три истории, и они, вне всяких сомнений, были бы в сборнике лучшими, но Чуковский немедленно забраковал две из них, и, скрепя сердце, как бы из милости оставил "Виноградник Навуфея" — про пророка Илью и царицу Иезавель.

Редактором издания была еврейка, Анна Викторовна Ясиновская, в то время горячо влюбленная в русскую литературу и поэзию. Для нее "Вавилонская башня" была делом жизни. Но за отсутствием культуры и понимания того, с чем она работает, Ясиновская была довольна всем.

Ей не приходило в голову, что начинать библейские истории словами "В некотором царстве, в некотором государстве..." — уже одно это было чудовищным кощунством.

ПЕРВЫЕ НАДЕЖДЫ

*Женщина утром, с ребенком, в горах, —
Мерцает над ними рассвет, зеленея,
А верба их путь осеняет в веках...
И вспомнилась мне в этот миг Галилея.*

Перец Маркиш
в переводе С. Наровчатова

Вовлеченность моя в сионизм усиливалась, хотя все еще носила платонический характер.

В конце 1966 года первый из моих знакомых подал заявление о выезде. Это был Эрнст Трахтман (ныне Моше Палхан). Родители его были высланы из Палестины за коммунистическую деятельность еще в 30-е годы. Потом родились два сына. После долгих колебаний они решились подать заявление на выезд, имея в Израиле прямых родственников. Толчком к этому была начавшаяся

эмиграция в Израиль из Прибалтики, о чем все говорили в Вильнюсе, когда я там был в начале года, а теперь уже и в Москве. Эрнст служил на Кубе в 61 году вместе с братом Александра, Павлом, и я познакомился с ним через Меней, хотя Эрнст не был замешан ни в каких религиозных уклонах. Он обратился ко мне за советом, и я был постоянно в курсе его дел, как некогда в курсе дел Слепяна.

Эрнст, к тому времени уже женатый, жил Израилем в гораздо большей мере, чем я. Дочь он назвал Геуллой в честь израильской певицы Геулы Гил, посетившей тогда СССР. Я поддерживал его морально. Так как он работал лишь лаборантом и не имел высшего образования, его обращение за документами на выезд прошло без осложнений. Зато его жене, студентке Института стали, устроили дикую вакханалию на специальном собрании, обвиняя в том, что она едет в фашистскую страну (это было еще до 67 года!). В конечном счете, в разрешении им было отказано. Поскольку заявления принимали только от тех, кто имел в Израиле близких родственников, у меня не было и мысли подавать заявление самому. Однако примерно в то же время из Ленинграда уехал в Израиль Тверской, с которым в 60 году меня познакомил А. М. Надежды появились.

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

*Раз трамвай на рельсах встал,
Под трамвай еврей попал.
Евреи, все евреи,
Кругом одни евреи.*

Из песни

Лето 67 и 68 годов я провел под Москвой на весьма благоустроенной даче, а не в крестьянских домах, как бывало прежде.

Не нужно было каждый день ездить в Москву. Я совершенно не занимался своей диссертацией, а обрабатывал собранные мною исторические материалы, написав вчерне две работы: об отношении церкви к погромам 1881 и 1906 годов и работу о евреях-христианах.

Дача была расположена в очень живописном месте. У меня была отдельная терраса со столом, за которым я работал. На столе стоял жизненно важный предмет – приемник.

Моей хозяйкой была весьма пожилая дама Надежда Николаевна Озерова. Ей было уже за 70, но она сохраняла удивительную энергию. В молодости красавица-брюнетка, Надежда Николаевна была дочерью фрейлины императорского двора. Спасаясь от революции, она оказалась на Украине и, чтобы укрыться от властей, вышла замуж за простого человека, Георгия Ивановича, фамилию которого, впрочем, не взяла. Какое-то время она была близка к Чуковскому, но люто ненавидела его семью. Как и тетушка Грэма Грина, она считала, что ее жизнь еще впереди, и

ждала какого-то условного знака, возможно, подозреваю, от Чуковского.

Она была одержима всепоглощающей верой в еврейско-масонский заговор.

Почувствовав во мне знатока, а, может быть, даже думая, что я каким-то образом связан с сионскими мудрецами, она была со мной довольно откровенной. Это могло казаться чудачеством, но подобные воззрения с быстротой степного пожара распространялись тогда в самых широких слоях русского общества, пока не выплеснулись открыто в литературе, в том числе политической.

Может быть, Надежда Николаевна была родственницей знаменитого издателя "Протоколов сионских мудрецов" Сергея Нилуса. Известно, что он был женат на фрейлине Озеровой.

Но возникают законные вопросы. Были ли две фрейлины Озеровы? Или Надежда Николаевна была дочерью Нилуса? В самом деле, она могла взять фамилию матери, а не отца, могла и поменьше отчество. В те времена все это было легко сделать.

Озерова была безраздельно убеждена, что СССР правят евреи, и что в этом отношении ничто не изменилось со времен революции. Такая точка зрения не была для меня нова. Раз в 52 году я ехал в троллейбусе по ул. Герцена, и около Консерватории инвалидов на костылях, выходя из троллейбуса, начал громко кричать:

– Всюду жида! Одни жида! Сталин – жид! Молотов – жид!

Троллейбус хранил гробовое молчание.

Озерова не поверила, когда я попытался ей объяснить, что с 38 года это совсем не так. Как и Нилус, собиравший в сундук материальные знаки приближения Антихриста, включая эмблему резинового завода "Треугольник", Надежда Николаевна видела во всем признаки торжествующего жидо-масонства. Я принес французский католический журнал, где, естественно, упоминались епископы. Надежда Николаевна, предположительно, знала французский. При виде слова *magister* ее лицо вытянулось:

– Какая гадость! Они всюду!

– Кто?

– Смотрите: магистр! Это же масонское звание.

Я старался ее уверить, что это слово значит "епископ".

– Как будто я не понимаю, – самоуверенно возразила Озерова.
– Это специально. Для одних так, для других эдак.

Она часто приходила ко мне слушать приемник. Услышав в русской передаче "Голоса Израиля" раннее стихотворение Маршак-а "Иерусалим", возмущалась:

– Какая гадость! Значит, он тайком писал такие стихи!

– Но это его ранние стихи!

– Рассказывайте!

К Израилю она относилась враждебно. Он был для нее воплощением воинствующего антикультурия, где процветает лишь материализм. В советскую антиизраильскую пропаганду не верила, считая ее трюком. Когда антимасонство стало официальной темой

советской печати, она, вероятно, установила связи с кем надо, как старый и заслуженный воин, и с пеной у рта хвалила книги Яковлева.

Солженицын и Сахаров были для нее масоны.

При всем том, мы поддерживали наилучшие отношения. Ко мне она была исключительно доброжелательна, полагаю, совершенно искренне. Иначе я должен был бы объяснить ее поведение стремлением заручиться на всякий случай через меня протекцией у сионских мудрецов.

На самом деле, бедная Надежда Николаевна была очень одинока. Муж не обращал внимания на ее блажь, и она была мне благодарна за то, что я ее компетентно выслушивал.

Ее сын, Миша Степанов, работал на Радио, в редакции вещания на восточные страны, и был так красив, что сослуживицы составили клуб поклонниц Миши Степанова, куда входила и моя старая знакомая, старшая сестра Наташи, Ирина. Престиж мой в доме Надежды Николаевны был исключительный, граничащий с культом личности, так как я был неплохим политическим комментатором, а Миша, будучи профессионалом в этой области, отзывался обо мне в непомерных выражениях. На что Ирина сказала:

– Это и тогда еще было видно.

Семейство Надежды Николаевны полагало, что меня ждет большое будущее.

По стечению обстоятельств, недалеко от дачи Надежды Николаевны была дача Питирима. Он, великий любитель фотографирования, частенько бродил в светском мешковатом костюме по полям, по лугам, увешанный дорогими камерами, напоминая Карабаса-Барабаса своей огромной бородой.

Как-то, работая на террасе, я поджидал из Москвы приятеля. Часов в 10 вечера я заметил, что мне машут с улицы. Решив, что это мой приятель, я демонстративно поднялся, почесывая голый живот. С улицы раздался смех. Это были Питирим и Анатолий Просвирнин.

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА

*Глаголя хулы, в силе уповает,
На Израиля нова наступает.
Симеон Полоцкий,
"Рифмологион"*

То, что война неминуема, я понимал в конце мая слишком хорошо. Израиль был зажат в угол, и бездействие угрожало самому существованию страны.

Просматривая в ФБОН International Herald Tribune с весело смеющимся Насером на военном аэродроме в Синае, я говорил себе:

– Ну, не долго тебе смеяться.

Я был совершенно уверен в победе Израиля, но антиизраильская истерия советской печати выводила из себя. В этих условиях я сделал шаг, который мог стоить мне очень дорого.

Я решился написать письмо Косыгину. Конечно, я не надеялся убедить его, но отсылка такого письма была для меня актом автономии, по выражению Пинскера. Надоело держать кукиш в кармане. Текст письма сохранился у меня лишь частично:

"Не могу не выразить своего беспокойства по поводу глубоко ошибочной и опасной политики СССР на Ближнем Востоке. Возобладавшая тенденция, начиная с печальной поездки Шепилова в Каир в 1955 году, поддерживать арабские страны в ущерб Израилю приведет рано или поздно к катастрофическим последствиям... СССР для Насера играет роль дойной коровы и орудия достижения своих целей. Еще не остыли раны войны, а новые нацисты хотят устроить гигантский Бабий Яр в Палестине. Я понимаю, что советское правительство не хочет войны на Ближнем Востоке, но оно балансирует на грани войны. К чему это приведет?..

"...Беспорядочные арабские армии, со своими погрязшими в корысти командирами, снова потерпят поражение при столкновении с Израилем, и престиж СССР окажется под угрозой.

Особое возмущение вызывает политика ГДР—Отто Винцера в арабских странах...

Нынешние заявления "Нойес Дойчланд" немногим отличаются от заявлений "Фелькише Беобахтер"...

Я обращаюсь к Вам с призывом прекратить опасный курс советской политики на Ближнем Востоке, прекратить помощь нацистским диктаторам, уничтожить, пока не поздно, очаг реванша в ГДР!

3 июня 1967 г."

После этого я был готов ко всему. Но ровно ничего не последовало! Ничего! Никто меня не вызвал. Может, письмо потерялось? Маловероятно.

Часов в 6 вечера 6 июня я приехал с дачи в Москву и позвонил Вольфу Григорьевичу Меню, зная, что он остро переживает все, связанное с Израилем.

— Заходите, — настойчиво попросил он.

Через полчаса я был у него. Открыв двери, он спросил:

— Ну? Как вы думаете, война будет?

— Я думаю, в среду или четверг.

— Уже началась! — выдохнул Вольф Меню и повалился на диван, схватившись за сердце. — Что будет! Что будет! Все пропало!

— Успокойтесь, — сказал я, — обождите до завтра.

Мы включили радио в 6.45. В резком отличии от обычных передач, русская программа не открылась музыкой.

Так началась для меня Шестидневная война. Я сидел на даче, не отрываясь от радио, ликовал и торжествовал, и не я один. Сотрудники ИАТ в очередном номере стенгазеты демонстративно вывесили вырезки из западной коммунистической печати, противоречащие советской официальной версии. Вся жизнь перемени-

лась. Израиль неожиданно обрел в советской печати статус великой державы. Он стал упоминаться в числе главных врагов СССР наряду с США, Западной Германией и Китаем. Простой народ был в недоумении:

– Израиль? Что это такое? Евреи там? Воюют? Быть не может!

В электричке недовольная женщина ворчала:

– Бомбу атомную на них надо бросить!

Она, конечно, имела в виду советскую, миролюбивую атомную бомбу.

Появились и очевидцы. Мать моего школьного друга Вити, Роза Рувимовна, крупный врач, незадолго до войны получила гостевую визу в Израиль и поехала туда на три месяца к сестрам. Она была на параде в честь Дня Независимости, но вскоре стала ощущать нечто непонятное. Лица сестер стали сосредоточенными. С улиц почти исчезли мужчины. Резко уменьшилось движение. Через несколько дней сестры сказали:

– Уезжай! Будет война!

Роза Рувимовна улетела последним самолетом. Она была в восторге от страны, но говорила, что вряд ли могла бы там жить. Вскоре она умерла от рака.

Питирим тоже был на Святой земле накануне войны. Он рассказывал про нескончаемые вереницы танков на дорогах Израиля.

– Ну и что, – спросил я, – разве не было ясно заранее, что Израиль победит?

– Все ждали удара, – ответил Питирим, – но никто не думал, что он будет такой сильный.

Он говорил об Израиле без осуждения.

В мае уехали, наконец, в Израиль и Лисенковы, мать и Геля. Бои в Иерусалиме они провели в убежище, но Геля побежала смотреть парад Победы.

Я никогда не говорил о политике с Алексеем Остаповым, но не скрывал радости по поводу израильской победы. Он не проявил никаких признаков недовольства, и я решился рассказать ему анекдот, что, мол, египтяне просят Моисея, еще раз вывести евреев из Синая. Остапов очень развеселился, и не сомневаюсь, что тут же передал анекдот Святейшему.

Анекдотов, кстати, появилось множество. Арабы представлялись в них простаками, а евреи, конечно, хитрецами.

"Египетская армия была в ужасе, – гласил один анекдот. – Из израильских окопов то и дело кто-нибудь кричал:

– Эй, Ахмед!

Ахмед тут же высовывался:

– Это я!

Выстрел, и Ахмеда как не бывало. Снова еврей кричит:

– Эй, Махмуд!

– Это я!

И Махмуда нет. Собралось египетское командование и стало думать: чего делать. Решили применить ответную хитрость. В один прекрасный день из египетского окопа закричали:

– Эй, Моше!

А интриган Моше, не высываясь из окопа:

– Это я, а это ты, Хуссейн?

– Да, это я! – высунулся Хуссейн, и его как не бывало".

В противоположность официальной пропаганде, лекторы на закрытых лекциях во всю прыть стали ругать арабов за то, что те не умеют воевать, пользоваться советским оружием, а израильская армия тайком была провозглашена одной из сильнейших в мире.

Арабские студенты в Москве устроили демонстрацию в центре, требуя войны до победного конца.

Шестидневная война убедила меня в том, что мой платонический сионизм превращается в реальный и, что скорее рано, чем поздно, мне суждено будет жить в Израиле. Как, я еще не знал, но был в этом уверен. Война произвела резкий переворот во многих евреях. Израиль вместо маленькой слабой провинциальной страны предстал как сила, с которой можно связать свою судьбу. Это не был лучший способ идентификации, все зависело от оценки силы Израиля. Мое же отношение к Израилю не зависело от его физической силы.

Одним из последствий Шестидневной войны был запрет "Вавилонской башни". Она была уже напечатана вместе с "Навуфеем", подписанным моим именем, и с прекрасными иллюстрациями Леонида Евгеньевича. Ее оставалось только сброшюровать. Все тот же Николай Михайлов, председатель Госкомитета по делам печати, направил письмо в ЦК с требованием запретить сионистскую книгу.

Ее не стали брошюровать, а через некоторое время уничтожили. Гонорар авторы получили без конфликтов. И слава Богу, что эта книга не вышла! При подведении общего баланса жизни и трудов Николая Михайлова его инициатива зачтется ему в добрые дела. Не сомневаюсь. Хотя он, конечно, не знал, что запрещает редкую по кощунству книгу. Невыход в свет "Вавилонской башни" может использоваться как одно из доказательств бытия Божия...

Однажды с радостью увидел я в спецхране в одном из журналов письмо Даниэля Руфейзена, Бруно Гуссара и других с протестом против антиизраильских высказываний униатского патриарха Максима, бывшего архиепископом в Израиле. Я отлично помнил интервью Жоржа Хакима (так он назывался до своего избрания) "Голосу Израиля" в 64-м году. Он вступил тогда в Гистадрут и решил называть себя "хавер архиепископ".

Сама по себе Шестидневная война не вызвала существенных изменений в той временной оттепели в еврейском вопросе, которая была в 64-67 годах...

К моему изумлению, в ИАТе появился Борода! И не просто так, а в качестве заведующего лабораторией! Владзиевский, оказывается, ушел на пенсию, а новый директор ЭНИМСа Васильев постарался избавиться от Бороды при первом же удобном случае. Его и выгнали за аморалку, когда он, напившись, съездил по физиономии маляра. Но у Бороды было много друзей.

В то время в Москве собирали подписи в защиту Алика Есенина-Вольпина, причем за него выступали многие крупные математики. На них тотчас начали давить, и многие забрали подписи обрат-

но. Одним из упрямцев оказался Кронгауз, заведующий математическим отделом крупного физического института АН СССР. Кронгауз собрал у себя большую группу молодых математиков-евреев, занимавшихся в весьма малой степени решением задач, интересовавших тамошних физиков. Те жаловались, и министр среднего машиностроения Славский, которому также подчинялся институт, потребовал увольнения Кронгауза. Это был редкий случай коллективного протеста – отдел Кронгауза покинул институт и стал искать работу как единое целое!

В числе этих ребят был бывший сотрудник Бороды в ЭНИМСе вундеркинд Игорь Фараджев, кавказский еврей, ставший одним из лучших программистов Москвы, хоть он не окончил и десятилетки. Кронгауза никто не хотел брать, но всю остальную группу неожиданно взял Трапезников, вероятно, заручившийся поддержкой сверху. В группе не было администратора, предложили Бороду, и Трапезников согласился. Правда, Борода на этой должности был недолго, но в ИАТе осел.

БЕЛЯЕВО-БОГОРОДСКОЕ

*Телеэкраном светят клетки –
Созвездья окон, сорок в ряд,
Смеются, гаснут и горят.
И в каждом быт
От А до Я –
Большая и полная энциклопедия.*
Александр Лайко

Жизнь на Арбате, показавшаяся мне в свое время раем, стала тяготить меня. Соседей было много, ванны не было. А самое главное, в Москве началась лихорадка покупки кооперативных квартир, что было большим новшеством. Стоили они очень дорого, и в 63-м году, когда я поселился на Арбате, мне это было еще не по карману.

В 66-м году ситуация изменилась. Люди моего возраста и положения покупали квартиры за счет родителей. Я мог рассчитывать лишь на собственные силы. Я вступил в первый попавшийся кооператив. Дом строился в новом районе в Беляево-Богородском. Летом 67-го года он был готов. Перед отъездом 80-летний наш сосед, Абрам Семенович Каган, вручил четырехлетнему Вениамину трогательное стихотворение, которое оканчивалось так:

*Не секрет – известно всем
От Москвы до Вашингтона,
Что в квартире номер семь
Венька – первая персона.
Начинаешь жизни путь
(Я его кончаю),
Дорогуша, счастливи будь,
От души тебе желаю.*

Мы въехали в квартиру после возвращения с дачи в сентябре.

В социальном смысле я резко возвысился в глазах знакомых, пораженных тем, что смог сам заработать на квартиру.

Появилось много новых соседей, но это были соседи по лестничной клетке, а не по кухне и уборной.

Еще до переезда я познакомился с неким пожилым человеком, ходившим с палочкой. Он покупал квартиру для сына и невестки. Мы оказались на одной лестничной площадке. Отец и сын – программист – занялись иррациональной деятельностью. Они ползали на коленях и скоблили пол стеклышками, чтобы покрыть его затем лаком, как мебель. То же проделывали с дверями. После того, как квартира была отскоблена и отполирована, в ней появилась круглолицая невестка, на всех смотревшая исподлобья.

Свекор проворачивал аферу за аферой. В эту квартиру он прописал только невестку с внуком, а сын оставался прописанным в его комнате в центре, ибо ждал квартиры от работы. Одному из первых в нашем доме ему поставили и телефон. Это были, в общем, невинные обычные хитрости, но кончилось все печально. Невестка, хоть и деревенская, не будь дурой, тут же развелась с мужем, а свекор и заикнуться не мог, что сын его имеет право на площадь, которую купил на свои деньги. В этом случае он ответил бы за незаконное получение площади на сына в другом месте.

Вот к чему приводит сверхпредусмотрительность! Все старик предвидел, кроме того, что невестка "сволочь".

Этот случай был исключением в нашем доме. Люди у нас были приличные. К сожалению, не могу рассказать подробнее, чтобы им не повредить. Но особенно симпатичным был Николай Геннадиевич Храмцов, которого Татьяна Васильевна Розанова знала еще мальчишкой, а также сосед по балкону Игорь, преподаватель вечернего института.

Переезд в Беляево сильно изменил мою жизнь. Появились не только соседи по дому, появились и друзья по району. Образовались новые связи, возник даже замкнутый круг, давший ряд известных диссидентов.

ШУЛЬГИН

*Трагичен путь твой, русский человек!
Уверовав, что ты и есть Мессия,
Ты скоро вступишь в двадцать первый век.
А где она, свободная Россия?*

Борис Камянов

Судьба неожиданно столкнула меня со знаменитым до революции лидером правых националистов Виталием Шульгиным, принимавшим отречение у царя в 1917 году, воевавшим против красных и захваченным в 45 году советскими войсками в Югославии. Шульгин сидел во Владимирской тюрьме вместе с Василием Васильевичем Париным и его друзьями. Выйдя из тюрьмы, он по-

селится во Владимире, и в начале 60-х годов вдруг стал фаворитом Хрущева. Статья Шульгина появилась в "Правде", а затем с его участием был снят фильм о нем самом. В эти годы он подписал договор с издательством "Советская Россия" на свои мемуары, отрывки из которых публиковались в "Неделе" и журнале "История СССР".

Ситуация, однако, начала меняться. Украинский босс Петр Шелест инспирировал письмо киевских старых большевиков, протестовавших против популяризации такого черносотенца, как Шульгин. Рукопись, тем не менее, была готова. Шульгину в то время было за 90, и писать самому стало трудновато. Заключая договор, он взял в сотрудники бывшего владимирского зэка Ивана Корнеева. Это был талантливый, но странный, изломанный человек. Он рылся в дореволюционной печати, собирал статьи Шульгина и сплетал их в виде воспоминаний. Шульгин затем просматривал и редактировал.

Когда рукопись уже была сдана, под давлением Шелеста и К° договор расторгли. Издать книгу авторы не имели никакой возможности, и все, что им оставалось, это добиваться полного гонорара, так как рукопись не была отвергнута в течение месяца после ее сдачи.

Корнееву посоветовали обратиться за помощью ко мне. Я уже приобрел репутацию человека практичного, знающего, как обращаться с властями. Не последнюю роль играло и то мистическое уважение к евреям, которое начало усиливаться в этой среде после Шестидневной войны:

"Они" все могут!

Хорошо зная историю русского национализма, я помнил, что в 1913 году именно Шульгин спас Бейлиса. Будучи издателем газеты "Киевлянин", которая сильно влияла на присяжных, Шульгин неожиданно для всех резко осудил процесс Бейлиса, чем вызвал бурю негодования в правых кругах. Он даже отсидел несколько дней в тюрьме за оскорбление властей. Но главное было сделано. Колеблющиеся присяжные изменили точку зрения, и Бейлис был оправдан. Мало кто помнил это, но я знал и решил отплатить Шульгину добром.

Я помог Корнееву составить письма, и, в конце концов, Шульгин получил свои деньги.

90-летний Шульгин был все еще уверен, что именно ему суждено сказать решающее слово в мире. В 20-х годах цыганка предсказала ему, что прежде, чем он умрет в глубокой старости, он прибудет в Берлин и осуществит примирение Европы...

Корнеев же передал свои лагерные воспоминания Солженицыну, и его имя фигурирует в "Архипелаге ГУЛАГ". Он сидел по делу Даниила Андреева как один из его слушателей. Это был незаурядный поэт-гностик, написавший поэму о Благовещении, истолкованном эротически. Меня это оттолкнуло.

ПО СЛЕДАМ ОТЦА

*Те, кто падет, забудут все, что помнят,
Винтовку кинут на снегу седом.*

Ночь в переулке. Свечи низких комнат.

Прощай, наш Минск.

Прощай, наш бедный дом.

Изи Харик

в переводе П. Антокольского

В 67-м году в Минске была научная конференция, и я в ней участвовал. Это было мое первое сознательное посещение Минска. С волнением ехал я туда. Я думал, от города мало что осталось после войны, но, к удивлению своему, увидел, что Дом Правительства с куполом сохранился, как я его помнил в детстве. Сохранилась и протестантская кирха. Наш дом тоже не был разрушен, но перестроен и надстроен, превратившись в гостиницу. Вся же остальная часть центральной улицы была застроена заново.

Я решил навестить Институт истории партии, которым когда-то заведовал отец, позвонил туда и мне назначили время. Придя туда, я тут же пожалел об этом. Директор, некто Игнатенко, принял меня не только холодно, но враждебно. Я еще не знал, что Белоруссия, вплоть до последнего времени, была одним из главных оплотов советского антисемитизма, и задача Игнатенко как раз и состояла в том, чтобы выбросить евреев из истории. Мой визит поэтому был ему неприятен. Разговор наш продолжался несколько минут.

Другая моя инициатива была более успешной. Зайдя в книжный магазин, я увидел объявление о предстоящем издании Белорусской энциклопедии. Я позвонил в редакцию и спросил, включена ли биография отца. Меня принял ответственный секретарь, от которого я узнал, что имя отца включено в словник, но они не знали о нем ничего путного. Ответственный секретарь тут же предложил написать биографию отца мне самому, что я и сделал в короткое время, прислав текст из Москвы. То, что я написал, было слово в слово переведено на белорусский язык и опубликовано.

Вернувшись в Москву, я также послал единственную оставшуюся у меня рукопись отца с воспоминаниями о Ленине на русском языке в журнал "Советиш геймланд".

Меня пригласил Вергелис и сказал, что с радостью ее опубликует, поскольку отец оставался одним из немногих крупных еврейских деятелей, о которых журнал еще ничего не писал. Мы обменялись воспоминаниями и, в частности, поговорили о судьбе Изи Харика.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

*Он к людям направил шаг
Сказать, что они в беде,
Что в злобе горит душа
И нет просвета нигде.*

Александр Зиновьев

Раз, проходя по музею Духовной академии, я столкнулся с Алексеем Остаповым и Александром. К тому времени они уже были друзьями. Оба беседовали с худощавым мужчиной, который с любопытством и испытующе посматривал кругом. Я поздоровался, но знакомить с ним меня не стали, да у меня и не было причин проявлять к нему особый интерес.

Через несколько дней Александр спросил:

– Знаете, кто это был в академии?

– Нет.

– Солженицын!

Привел его туда Александр, познакомить с Остаповым. Это была моя первая встреча с Солженицыным, но он тогда, конечно, меня не заметил и не запомнил.

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

*Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?*

*Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь...
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа.*

А. К. Толстой,

"Послание к М. Лонгинову о дарвинизме"

Во время работы над диссертацией я обратил внимание на сходство технического прогресса и биологической эволюции, и без труда построил соответствующую аналогию, приводившую к антидарвинистской концепции эволюции, что мне, как и Мише Лонгинову, импонировало.

Коля Парин посоветовал обратиться к Константину Беклемишеву, хорошему биологу, сыну Владимира Николаевича Беклемишева, чудом, при его характере и взглядах, пережившего сталинские времена.

В построении своей аналогии я был под сильным впечатлением от теории "ногогенеза" Льва Семеновича Берга, которую прочел лет десять назад по совету того же Коли.

В свою очередь, Беклемишев рекомендовал меня Алексею Яблокову, председателю секции теории эволюции Московского общества испытателей природы (МОИП). Вскоре я с волнением вы-

ступил на заседании МОИП с докладом о сходстве технической и биологической эволюции в присутствии ведущих специалистов по теории эволюции. Советские биологи, травмированные лысенковщиной, болезненно воспринимали любую критику неodarвинизма с любых позиций.

Первый успех привел меня к мысли построить кибернетическую модель эволюции, к чему я был хорошо подготовлен. Это интегрировало мои технические знания, а также давало выход в философию, чем было заниматься куда приятнее, чем станками.

Беклемишев свел меня к заведующим кафедрой энтомологии МГУ Евгением Сергеевичем Смирновым, за что я ему бесконечно благодарен. Евгению Сергеевичу было тогда около 70. Это был сухощавый человек с длинным, умным и лукавым лицом. К сожалению, у него уже развилась болезнь Паркинсона. Евгений Сергеевич был убежденный ламаркист с юности. Его ранние работы упомянуты в одной из статей Осипа Мандельштама. Смирнов подвергся гонениям в 30-х годах со стороны неodarвинистов, жестоких фанатиков, накликавших на себя многие беды в будущем. Они первые пустили в ход обвинение своих врагов в социал-фашизме, как, например, маститый неodarвинист Парамонов – в статье "Номогенез" в Большой Советской энциклопедии. Странно еще, что Берга не посадили после такой статьи. К несчастью, из среды русских ламаркистов вышел и Лысенко, но они ответственны за него так же, как Мартов за Ленина и Ной Жордания за Сталина. В семье не без урода.

Евгений Сергеевич поддержал Лысенко в 48-м году и даже стал тогда деканом биофака МГУ. К сожалению, будучи классическим ученым, он увидел в Лысенко союзника и сохранил к нему пиекет. Независимо от этого, Евгений Сергеевич пользовался всеобщим уважением. Я его сразу полюбил, и он, кажется, меня. Наша дружба продолжалась до самого моего отъезда.

Он пригласил меня на кафедру, показал коллекции насекомых и был так доволен, что собрал сотрудников послушать мой доклад. Случай невиданный, так как я не был биологом. Будучи членом редколлегии "Журнала общей биологии", он рекомендовал опубликовать мою статью о кибернетической модели эволюции, где я предложил не дарвиновскую модель эволюции. Другую статью в том же журнале – о том, что модель мимикрии нельзя объяснить дарвинистски, я опубликовал совместно с одним из лучших советских энтомологов Мазохиним-Поршняковым.

Жена Евгения Сергеевича, Милица Сергеевна, отсидела в конце войны за то, что сказала, что Сталина и Гитлера надо повесить на одной веревке. Мудрый судья не расценил это высказывание как намерение к террору из-за физической невозможности исполнения (одна всего веревка!). Ей дали только три года! Редкий случай!

Евгений Сергеевич, как и многие другие московские интеллигенты, был антропософ. Он старательно переводил сочинения

Доктора* в тетрадошки. Когда я спросил, отчего он не печатает свои переводы на машинке для других, Евгений Сергеевич таинственно и торжественно сказал:

– Доктор этого пока не советует.

Но ведь Доктор-то умер в 25-м году! Стало быть, Евгений Сергеевич советовался с ним сверхъестественным способом...

Я уже упоминал нескольких антропософов. К ним принадлежали также профессор экономики Абрам Китайгородский, сидевший с Солженицыным в шарашке, художник Чарушин и другие. Всех я, конечно, не знал.

Евгений Сергеевич твердо верил в то, что русский народ – бо-гоносец, и что со временем Россия покроется вновь божьими храмами, но сам в церковь не ходил, как и другие антропософы.

Антидарвинизм создал мне не только друзей, но и врагов. Он воспринимался неодарвинистскими экстремистами как диверсия сторонников Лысенко. Особенно враждебно отнеслись ко мне братья Расницыны, убежденные, что микроэволюция – единственная форма эволюционного процесса. Надо сказать, что отрицание дарвиновской модели эволюции вовсе не означает отрицания эволюции вообще и вовсе не приводит, по необходимости, к идее сотворения мира ex nihilo. Это просто другая теория.

Даже Яблоков выставил упрек, что я заодно с Фейгельсоном и другими мракобесами. Известный математик Ляпунов из Новосибирска говорил обо мне, как об опасном лысенковце. До чего был узок мир этих травмированных людей! Они все воспринимали через дихотомию: мы или Лысенко.

Было столкновение и с Раисой Берг, дочерью столь почитаемого мною автора теории номогенеза. Она делала доклад о генетике человека по материалам Ленинграда. Я заметил, что аномалии, которые она обнаружила в 37-38-м годах при рождении детей, могли объясняться и политическими событиями того времени.

Раисе Берг не приходило в голову, что женщины, пораженные ужасами террора, могли родить кого угодно. Удивительно, как еще появлялись нормальные дети! Мое замечание показалось ей лысенковщиной.

Я был на подъеме. Наконец удалось превратить работу по специальности из тяготившей меня барщины в деятельность, глубоко мне интересную. Конечно, я предпочел бы уже тогда уйти в гуманитарные науки, и это было не за горами.

Весной 68-го года я закончил диссертацию и предъявил ее к защите. Одновременно вместе с Вороновым представили в издательство "Экономика" заявку на издание книги, в которую собиравшись вложить содержание моей диссертации. С нами заключили престижный договор.

Легко договорился я и о том, чтобы остаться в институте. Мне предложили выйти на работу сразу, но жаль было прерывать сладкую жизнь, я пообещал выйти с нового, 69-го года. И был за это наказан.

* Имеется в виду д-р Рудольф Штейнер (1881–1925), основатель антропософии.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

*Да, людоед я, хуже людоеда!
Вот бык лежит – остаток моего обеда.
Но над его вареной головой
Клянусь: окончится разбой,
И правнук мой среди домов и грядок
Воздвигнет миру новый свой порядок.*

Николай Заболоцкий,
"Деревья"

"Пражская весна" вновь принесла эсхатологические ожидания "хорошего коммунизма", которые, впрочем, полностью никогда меня не покидали.

Когда в апреле стало ясно, что развитие чехословацких событий приобрело драматический характер, я решил выписать "Руде право". Чешского я не знал, но быстро убедился, что понимаю политическую часть газеты. Приносили "Руде право" прямо на дачу Надежды Николаевны с опозданием всего в два-три дня, и я был в курсе всех дел. Я еще разделял надежды, что спасение придет извне: из Польши, Венгрии, от итальянской компартии, а теперь, наконец, из Чехословакии.

Каждое событие в Праге приобретало ключевое значение, а вместе с тем теплились надежды на такое развитие событий, которое привело бы к моему Исходу.

Я снова полюблил Тито, поддержавшего Чехословакию.

Поползли шепотки, доходившие и ко мне на дачу. Бывший секретарь комитета комсомола одного учебного института сказал, хитровато поглядывая, во время прогулки в лесу:

– Обрати внимание на Биляка!

– А что Биляк?

– Наш человек.

Некий же лектор внушал, что Дубчек вообще-то все говорит верно, да вот верить ему ни в чем нельзя.

Пустили слухи, что Западная Германия вот-вот захватит Чехословакию. Когда Брежнев посетил Братиславу, мне казалось, что Дубчек победил. И это не было иллюзией. Просто произошел дворцовый переворот, едва не кончившийся снятием Брежнева. Объявление об оккупации было для меня шоком.

В это утро я поехал в Академию. Меня отвел в сторону аскет Марк (Лозинский), правая рука Алексея. Мы никогда не говорили с ним о политике:

– Что там наверху происходит? Уж не переворот ли?

Он лучше советологов понял ситуацию.

БЕГСТВО В ГОРЫ

*Идет! Уж близко, близко время;
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? О горе, горе!*
Пушкин, "Странник"

Незаметно образовался кружок, дошедший до крайнего мистицизма. Заводилой был все тот же Феликс Карелин, начавший и впрямь играть роль ересиарха. Входили в кружок Глеб Якунин, Лева Регельсон, Николай Эшлиман и другие. Одно время к ним примыкал и Василий Фонченков, но быстро отошел.

Феликс стал проповедовать грядущее Пришествие или же всемирную катастрофу, надлежащую свершиться в 68-м году. Феликс имел Глас с неба, видения и увлек остальных, которые стали испытывать аналогичные мистические переживания. Все "верные", согласно Гласу (в Талмуде это называется "бат-коль"), должны были бежать в горы, дабы спастись. Горы – это был Кавказ, а точнее, Новый Афон. "Верные", однако, работали в различных советских учреждениях. Феликс, например, был лаборантом в институте генетики. По маловерию, бежать в горы просто так они не решились и взяли отпуск. А зачем, спрашивается, страховать себя отпуском перед Вторым пришествием? Беги в горы без оглядки. Спаситель-то не станет проверять отпускные. Тут заколебался Николай Эшлиман. Но Феликс не упускал инициативы. Как-то "верные" оказались в буфете и закурили. Достали коробку спичек и, о ужас! Там было ровно столько спичек, сколько "верных", но одна надломлена. Столь важное знамение не прошло мимо бдительного ока Феликса.

– Один из нас предаст! – мрачно возвестил он, имитируя Тайную Вечерю. И правда, Николай вышел из игры. Говорят, кто-то из "верных" умолял жену отправиться с ним в горы, но она отказалась, и с сокрушенным сердцем тот отправился спасаться один.

Ничего, однако, не случилось, пришлось не солоно хлебавши возвращаться в Москву. Тут-то и пригодились отпуска!

ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ

*Да тем решилося царство татарское,
Покорилась земля Карельская
Да стольнему князю Владимиру,
Да стали татарове
С той поры дань платить
И тем это дело прикончилось.*

Из былины

Вторжение заставило меня вновь сесть за приемник. "Руде Право" стало приходить с большим опозданием. Иностранное радио на русском стали глушить. Однажды я поймал чешский обкомовский передатчик.

Я понял, что чехи сопротивляются, и снова пришел в себя, решив, что методом Швейка чехи добьются своего.

Вернулся из Брно знакомый. Он был в гостях у чешских родственников. Утром в день вторжения он проснулся, разбуженный резким криком:

– Русские танки!

Было стыдно смотреть людям в глаза, и он поскорее вернулся в Россию. Лишь апрель 69-го года вызвал окончательное разочарование, и я стал думать, что будь Дубчек и другие более умеренными, не дразня быка красной тряпкой, преуспели бы гораздо больше и не подвели страну под оккупацию. Последствия оккупации были неисчислимы, причем, как прямые, так и косвенные.

ГЛАГОЛЕВ

По всем континентам

Христосы скитались,

Впоследствии тихо

распятые где-то.

Олжас Сулейменов

В это время мне пришлось снова отправиться в Киев. Главный оппонент моей диссертации Глеб Спыну работал в киевском институте автоматики, и я должен был выступить перед его сотрудниками. На этот раз я ехал, снабженный адресом священника Алексея Глаголева. Его отец, Александр Глаголев, которого я уже упоминал, был хорошо знаком мне по дореволюционной богословской литературе. Профессор Киевской Духовной Академии, он был приглашен защитой на процессе Бейлиса как эксперт-гебраист, отрицал как вину Бейлиса, так и кровавый навет в целом. После революции Глаголев остался в Киеве. Под своим именем он выведен Михаилом Булгаковым в "Белой гвардии". В 37-м году оставался последним не арестованным киевским священником. Но и его арестовали, и он вскоре умер в тюрьме. Это был настоящий праведник.

Я побывал у его сына на Подоле. Алексей много рассказывал об отце, а также и о том, как сам во время войны спасал евреев. Он с гордостью показал книгу еврейского писателя Ихеля Фаликмана "Черный ветер" с автографом автора, где был выведен под именем Глаголевского. Особенно много рассказывал он о православном еврее Гермайзе, убитом немцами в Бабьем Яру. По-видимому, это тот самый Гермайзе, которого судили в 30 году вместе с Ефремовым по вымышленному обвинению в украинском национализме.

ПРОВАЛ ВНИЗ

*То ввысь, как в сказке,
Ведет стезя,
То мчишься книзу
Во весь опор...*

Ицик Фефер

в переводе В. Потапова

Не Шестидневная война положила начало новой волны анти-семитизма в СССР, а события в Чехословакии, истолкованные Су-словыми, Пономаревыми и Епишевыми как результат сионистской диверсии. Вскоре после вторжения поползли слухи, что евреев перестали принимать в Академию Наук. Я забеспокоился и решил навести справки в отделе аспирантуры, который и устраивал меня на работу. Начальник отдела Уткин, потупив глаза, сказал, что места в институте нет. Зная, что после очной аспирантуры производится обязательное распределение, я спросил, куда же меня распределяют, на что Уткин сказал, что я могу устраиваться, куда хочу...

Все возможности работать в области приложения кибернетики к биологии были сосредоточены в Академии Наук или же в учебных институтах, но об этом нельзя было и мечтать.

У меня оставалось три месяца до окончания аспирантуры, а по тогдашнему своему положению я боялся даже думать, лишиться хоть на месяц работы. За оставшееся время еврею устроиться на научную работу было почти безнадежно. Не ожидал я, что конец столь удачной аспирантуры принесет мне новые испытания. Пророчествовал же Зусман в 65-м году:

– Я нисколько не сомневаюсь, после аспирантуры вы вернетесь в ЭНИМС.

Вернуться в ЭНИМС было бы для меня чудовищным жизненным поражением. Я ощутил свободу, нашел новое направление, и опять к станкам? В ЭНИМС – ни в коем случае!

Продолжение следует.

ПАМЯТИ ИЛЬИ БОКШТЕЙНА

ЧИСТ, КАК НЕПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ...

18 октября 1999 года умер поэт Илья Бокштейн.

За несколько дней до смерти совершил он привычный путь из Яффо в Тель-Авив. В Союзе писателей в понедельник приёмный день. Он шёл посмотреть на людей, послушать, почитать стихи. Сказал, что врачи требуют, чтоб лёг в больницу. А он не хочет. Зачем? Смерти не боится, разве что за рукописи беспокойно. Впрочем, кому они там, в хостеле, нужны. А вообще – он счастливый, жил, как хотел, писал, что хотел, даже Иосифа Бродского пережил.

Попросил, чтоб я принёс свой экземпляр “Бликов волны”. Книга оказалась при мне. Он написал на обложке:

*Вдохновенье –
Веточкина шалость
Веткою поветрена строка
Вспышка озаренья и усталость
душная рутина и тоска...*

Часто он говорил о “тоске, которая его непременно задушит”.

Я сказал, что вот-вот выйдет второй номер “Иерусалимского журнала” и там моё эссе о нём.

– Неужели? – по-детски обрадовался он, но вдруг стал серьёзным.

Снова попросил книгу. На другой обложке написал: “Илья Бокштейн. Воспитательная соната. Дилляр-2”.

Ещё с кем-то поговорил. Выбирал между больницей и Музеем Израиля в Иерусалиме, где выставка Василия Кандинского. Когда-то так же выбирал в Москве между Библиотекой Иностранной литературы и Израилем. Тогда, колебавшись, выбрал Израиль.

Теперь – Кандинского...

Вёл какой-то запутанный рассказ... Словно дорога или нить.

Всё навевало мысль о договоре, заключенном со смертью.

Осталось впечатление чего-то трогательного и безысходного.

Как сон изнутри.

Пришли посетители. И я пустился в мелочные разговоры.

После выставки Илья всё же побрёл в больницу...

Обычно на рукописях, которые он дарил, тщательно проставлена дата. Иногда даже часы и минуты. На этот раз дату не указал.

Кончалось его пространство. Кончилось и время.

Увидел его уже в морге. Кто хочет знать, как он выглядел, – смотрите рисунок Митурича “Хлебников на смертном одре”.

Один к одному.

А мы ещё гадали...

Теперь надо разобрать его рукописи. Тысячи страниц исписанных вкривь и вкось. То, что сейчас станут печатать, – стихи двадцатилетней, а то и большей давности. Впрочем, интересно начать именно с них. Будет виднее, к чему пришёл светлой памяти поэт Илья Бокштейн.

Все, кто знал его, – подтвердят: действительно, светлой...
Он был чист, как непрожитый день.

Леонид Финкель

НАБРОСОК ПУНКТИРОМ

– Посмотри, злые дети играют.

– Это птицы кричат на песке.

Из стихотворения 85-го года,
посвященного Илье

Представить, что Илюша Бокштейн не придет на вечер, невозможно. Он не пропускает вечеров. Он и вообще чрезвычайно доброжелателен, но отстранен. Слушает стихи легко, легко включается в них, бормочет, щелкает, прищелкивает.

Я не знаю, как писать о Бокштейне. Это, может быть, для орнитолога. Живет он по-птичьи, говорит и пишет так же. Но вдруг начинает говорить трудно. Мы и встречались за двадцать лет каких-то раз десять-двенадцать. Начинали говорить совсем трудно. Бокштейна нельзя спросить: как живешь, как себя чувствуешь. Он не живет по-нашему, не чувствует по-людски – наверное, по-птичьи. Он хочет странного и живет странно.

Однако вдруг поразительно адекватен, но не тебе, а стихам, словам, интонации. Нужно только сделать усилие, вслушаться в его голос, скорее, в клетот. Так и происходило в нечастые случайные встречи в прежней жизни, то есть до человеческой волны, нахлынувшей в конце восьмидесятых. Тогда было всего три-четыре русских книжных магазина в Тель-Авиве. Илья стоит у прилавка и читает, а чтоб купить – денег нету. С пособия по старости-инвалидности где возьмешь... – Привет! – Здравствуй, – и тотчас же: покажи стихи. – Слушает, нет же, слышит всегда в упор, что ли, но, так сказать, необязательно, еще не обещая тебе ничего. Вдруг настораживается, делает стойку, маленький, – с пятки на носок, – и начинается щебет. Слова перекладывает с зуба на зуб, из щеки в щеку. С понравившимся текстом может отойти и показать через полчаса серию, как в марках, стихов, строчек – по мотивам. Говорит: а разве тебе достаточно одного текста? Нет, так не может быть, не должно, остаются же неиспользованные слова и оттенки – полу-, четверть-... И сразу сухо: вот и пиши подряд несколько. – И это – уже уходя, теряя интерес, отходя снова к книгам. Но может начать петь – мелодию, музыку, звуки. Мудрый, невнятный – старый ребенок, птица...

Бокштейн замечательный поводыр по своим стихам. Охотно читая тебе вслух, он показывает их. И темный смысл исчезает. Расплывчатый рисунок негатива превращается в жесткую продуманную конструкцию. Значки-ноты становятся необходимыми для понимания ключами. Стихи оживают.

Мне рассказывал мой товарищ, что лет двенадцать назад (он тогда был редактором журнала) пришел к нему Бокштейн и принес подборку. Редактор, видимо, не прочел, как должно, не сумел слышать. А Илья, почувствовав неладное, мол, не возьмут, взволнованно сказал: «Что, вам не понравилось? Это ничего, не страшно, подождите, я сейчас в прихожей посижу и напишу другие».

Это и был для него единственно возможный способ находиться в жизни.

У него в доме, в комнатке, скорее, чулане, в паршивенькой гостиничке для одиночек, я был однажды, минут, наверное, десять. Только пыль и книги, и пластинки. Проигрывателя, кажется, не было вовсе.

Когда-то мы оказались вместе на каком-то семинаре с кормежкой. Илья почти ничего не ест. Так, клюет, вилкой постукивает. Я спрашиваю – почему. – Избыточно, отвык – отвечает он коротко.

При Бокштейне чувствуешь себя неловко. Может быть, за несовпадение, за свое как бы благополучие, семью, квартиру. Словом, за то, что кроме стихов, есть еще и другая жизнь. За то, что не в состоянии расплатиться жизнью за стихи.

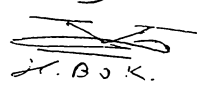
Наверное, у меня и прав особенных нет писать о Бокштейне. Знал я его не коротко, не близко. Только кто ж – коротко? Дольше – да. А близко – вряд ли. И не воспоминания это никакие.

Просто в последние дни думаю о нем.

Александр Верник

На следующих страницах мы воспроизводим стихи Ильи Бокштейна, которые он записал в августе 99-го в блокнот художника Давида Ханана, и портрет поэта, выполненный Давидом. В планах журнала – большая подборка стихов Ильи Бокштейна.

Редколлегия

ИЛБЯ БОКШЕТИ.
 ОБОТРУ ТВОИ НОГИ
 А В ЛИЦО НЕ ВЗГЛЯНУ
 СВЕТИТЕБЕСНЫМ
 ГОРОГИ 

ПРИСМОТРЕЛСЯ К ОКНУ
 ПРЕДУСМОТРЕНА ЮНОСТЬ
 ПЕРЕСМОТРЕННЫХ КНИГ.
 ПОД СКЛОНЁННОЕ ГЛАВОУ
 ТИХ СИЯЮЩИЙ ЛИК

С-1. ^{XXX}
 СКРИПНУЛА ЗВЕРЬ
 НА ПОРОГЕ
 ОДНА Я МЕНЯ

КОЖНОЙ ВЕТЕР...
 ЗЕРКАЯ ГАЛБ.
 ЗУТЬ СВЕТИТСЯ
 НЕЖНОСТЬЮ
 НЕГОТРО-О-ГИ

С-2. ^{XXX} А-2.

ПРО-О-ГИ

СКРИПНУЛА ЗВЕРЬ <
 НА ПОРОГЕ
 ОДНА Я МЕНЯ
 КОЖНОЙ ВЕТЕР...
 ЗЕРКАЯ ГАЛБ
 ЗУТЬ СВЕТИТСЯ
 ВЕЕРОМ НЕГОТРОГИ
 ОЗЕРОМ У ГОРРО-О-ГИ
 ПРО-О-ГИ

ПРО-О-ГИ Л. Вокштейн



НА МГЛИСТЫХ ОСТРОВАХ
В ГУНДЕ КОЛДУЮТ ГУКАРЫ
ГУКАРИКИ-ЖУЖКИ

ЖИВЛИКИ
УЛИННЫ-КАСАЮТСЯ
РЕСНИЦЫ



ЗРАЧКИ ЗАТУЖЕИ УСМОТРИ!
ЛЕЖУ НА ЛИЖИКО
ЗАРИ. ИЛБ БОКШТЕИ

ДАЛЬТЕМР ДАР-ТЕМА 2.08.
"КРАСОТА"

КРАСОТА-РАБНОВЕИЕ
ПОВЕИЯ И ПЕСНИ
КРАСОТА-РАБНОВЕИЕ
УНЫНЬЯ И ВЕСТИ
КРАСОТА-ПОВСЕИЕСТЬЕ
ВЕСТИ РАБНОВЕИЕ.

ДАЛЬТЕМР ДАР-ТЕМА
ИСКУССТВО
ИСКУССТВО-ЗБЕРИ ПОТОЛКА
СЛЕЗА НА СКАТЕРТИ
ЦВЕТКО

ИСКУССТВО ИСКРЫ ПОТОЛКА
ЗБЕЗРА НА ЖНОКЕБЕ
ЦВЕТКА

ИСКУССТВО-УТРО ПОТОЛКА
ИИСУС СЛЕЗОЮ ТРОСТНИКА

— ЗНАК РАЗНОТЕНИЯ
НА ЖНОКЕБЕ 2.08
ИЛБ БОКШТЕИ. 11. У.

У

Владимир Фромер *СОЛДАТ В МОСАДЕ*

Впервые я услышал о деле Бен-Барки от журналиста газеты "Маарив" — назову его вымышленным именем Дан, ибо далеко уйдя от своей репортерской голодной юности, достиг он житейского благополучия и негоже подставлять его. Поведав мне об этом странном деле, круто замешанном на взрывчатом переплетении политических интересов в верхних эшелонах власти, Дан разгласил государственную тайну. За такую болтливость в те времена сажали на основании 23-й статьи свода израильских законов о безопасности.

Впрочем, не столь уж многое мог рассказать мне Дан об этой истории осенью 1974 года на сборах нашего полка в Иудее, когда мы вместе коротали ночные часы, охраняя уснувший военный лагерь. Прошло немало времени, прежде чем удалось сложить из накопившейся информационной мозаики целостную картину.

Речь идет об участии Мосада и его руководителя Меира Амита в похищении Мехди Бен-Барки — лидера марокканской оппозиции, видной фигуры среди духовных вождей "третьего мира". Бен-Барка был схвачен в Париже 29 октября 1965 года и передан в руки его врагов. Через сутки он был убит и, как это часто бывает, стал после смерти личностью гораздо более значительной, чем при жизни.

Его мученическая смерть вызвала не только завихрения, потрясшие наш политический олимп, но и обвал в отношениях с Францией, последствия которого Израиль ощущал долгие годы.

И Меир Амит, и ближайшее окружение тогдашнего премьер-министра Леви Эшколя сделали все для того чтобы замять скандал и не допустить повторения "Дела Лавона", — вошедшего в анналы под выразительным названием "гиблое дело".

О причастности Мосада к похищению Бен-Барки почти никто не знал и не должен был знать. Пришлось принять самые энергичные меры, чтобы этого добиться. На публикацию в Израиле любых материалов, касающихся дела Бен-Барки, было наложено строжайшее табу.

* * *

Через год после гибели Бен-Барки израильский журнал "Буль", специализировавшийся на всякой всячине, — сплетнях, скандалах, великосветской хронике, мелких сенсациях, не брезговавший даже порнографией, тиснул взятую из какой-то французской бульварной

газеты статейку с весьма прозрачными намеками на участие Мосада в похищении Бен-Барки.

Этот номер журнала так и не поступил в продажу. Полиция конфисковала весь тираж еще на складе. Редактор журнала и его сотрудник, подготовивший злополучный материал к печати, в декабре 1966 года были арестованы. Полицейские взяли журналистов ночью, прямо из постелей, ошалевших, тщетно пытавшихся выяснить, в чем же их обвиняют. Полицейские этого не знали. Они лишь предъявили ордер на арест, подписанный министром полиции.

Некоторое время вообще никто не понимал, куда подевались журналисты и что случилось с популярным еженедельником. Даже на публикацию сообщения об их аресте был наложен запрет.

Журналисты же, внезапно перенесенные из житейской круговерти в кафкианский мир, неделю промаялись в одиночных камерах, прежде чем их вызвали на допрос. И вот тут-то они узнали, что их обвиняют в действиях, направленных на подрыв безопасности государства по статье 23-й, о существовании которой до обрушившейся на них напасти бедняги даже не подозревали.

Впрочем, следователь по особо важным делам и сам толком не знал, почему за какую-то ничтожную заметку этим людям грозит по секретной статье до пятнадцати лет тюремного заключения. Но у него в письменном столе лежала инструкция министра юстиции Якова Шапиро, предписывавшая позаботиться о полной изоляции журналистов вплоть до суда. Следователю было жаль незадачливых писак, взалхлеб требовавших адвоката, свиданий с близкими, гласности и гражданских прав. Но что он мог поделать?

"Думаю, суд примет во внимание, что вы совершили преступление по неведению, без злого умысла", – обнадежил он павших духом друзей. До суда их уже не тревожили.

В феврале 1967 года закрытый суд приговорил каждого из обвиняемых к году тюремного заключения. Но к тому времени судьба этих бедолаг стала уже достоянием гласности. Перепуганные издатели и журналисты, понявшие что "дамоклов меч" 23-й статьи висит и над ними, обратились к Леви Эшколю с письмом, в котором категорически потребовали освобождения своих коллег.

"Израиль – не банановая республика, – говорилось в письме, – если осужденные не будут освобождены, мы сделаем все, чтобы помочь общественности разобраться в причинах подобного беззакония".

Тут авторы письма блефовали. Они и понятия не имели об этих причинах, но догадывались, что у нас зря не сажают.

Испугавшийся Эшколь позаботился об освобождении журналистов, резонно решив, что преподнесенный урок отучит в дальнейшем пишущую братию совать нос куда не следует.

С тех пор свыше двадцати лет у нас никто даже заикнуться не смел о деле Бен-Барки.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Так уж получилось, что все знают Мосад, хотя у израильских разведслужб сложная структура, выходящая за рамки этого термина. Собственно Мосад – это управление внешнеполитической разведки, израильский эквивалент ЦРУ. Существуют еще военная разведка – Аман и внутренняя служба безопасности – Шабак. Есть и в МИДе научно-исследовательский отдел, занимающийся анализом добываемой информации. В полиции также имеется спецотдел, обрабатывающий агентурные данные. Вот, пожалуй, и все.

Проблема контроля над деятельностью спецслужб всегда была наиболее сложной. Хотя бы потому, что он до сих пор не оформлен юридически и не закреплен соответствующим законом. Но в том то и дело, что контроль – меч обоюдоострый.

Чрезмерный контроль может парализовать творческую инициативу, подавить всплески интуиции, без которых сотрудники разведслужб превратятся в штатных чиновников, а разведывательные структуры станут походить на налоговое управление. Золотая середина тут нужна, но мы-то народ крайностей...

Разумеется, структура контроля давно разработана. Существует координационный комитет во главе с начальником Мосада, следящий, чтобы деятельность спецслужб не дублировалась. Начальники Мосада и Шабак подчинены премьер-министру. Начальник военной разведки отчитывается перед министром обороны.

Но эта система контроля по целому ряду причин оказалась уязвимой и несколько раз давала сбои, потрясавшие государство. Тяжелыми травмами стали "Дело Лавона" и просчеты первого этапа войны Судного дня. В обоих этих случаях все связано с выходом военной разведки из-под контроля. Для "Дела Лавона" – так принято называть провал израильской шпионской сети в Египте в 1954 году – характерна подделка документов, чтобы уйти от ответственности. Для войны Судного дня – утаивание начальником военной разведки данных, противоречащих его концепции.

Наводит на размышления и дело Полларда, омрачившее отношения между Израилем и США. Джонатан Поллард – в прошлом ответственный сотрудник американского военно-морского департамента, был завербован начальником научно-исследовательского отдела военной разведки Рафи Эйтаном и поставлял Израилю секретные сведения. Американцев особенно шокировала израильская неблагодарность. США ведь самый надежный и не раз испытанный союзник Израиля.

Во всех трех случаях голый профессионализм и оперативная рутина настолько ослепляли руководителей разведки, что они переставали видеть лес из-за обилия деревьев.

Джон Ле Карре как-то заметил, что дух каждой нации находит выражение в деятельности ее разведки. Применительно к Израилю это даже не постулат, а аксиома. Тут мы прикасаемся к нерву всего дела. После скандала с Поллардом Аба Эвен, – человек умный и проницательный, – сказал: "Необходимо следить за тем, что

делают и чем занимаются руководители секретных ведомств. В особенности, если они люди инициативные и одаренные, подобно Рафи Эйтану. Ясно ведь, что международные осложнения гораздо скорее могут вызвать люди талантливые, чем бездарные".

В израильской же разведке все чертовски талантливы. Более того, интеллект руководителей спецслужб был иногда настолько высок, что не поддавался никакому контролю. Это уже грозило превращением разведки в "удельное княжество" и вызывало в ее работе опасные перекосы. Вот уж действительно – горе от ума.

Тем не менее, еще в шестидесятые годы шеф ЦРУ Аллен Даллес назвал израильскую разведку одной из лучших в мире. Столь высокая оценка актуальна и сегодня, несмотря на все пережитые страной и народом, – а значит, и спецслужбами, – потрясения.

* * *

День рождения израильской разведки следовало бы отмечать 30 июня. Именно в этот день убойно-жаркого лета 1948 года в ничем не примечательном доме на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве собрались несколько человек. Вопросы, которые они обсуждали, были уже согласованы с главой временного правительства Давидом Бен-Гурионом. Их предстояло лишь оформить в виде конкретных решений. За столом сидели люди, хорошо знавшие друг друга. Старшие командиры Хаганы и руководители отделов ее разведывательного центра ШАЙ.

Из еврейских организаций, действовавших в подмандатной Палестине, лишь Хагана – военное формирование рабочей партии Мапай, самой влиятельной политической силы ишува, обзавелась собственной разведкой. Агенты ШАЙ проникали всюду – в структуры британской военной и гражданской администрации, в арабские националистические формирования и даже в еврейские организации идеологических противников рабочего движения.

Повестку дня изложил Исер Безри – тогдашний начальник ШАЙ, длинный тощий аскет. Его называли "Большим Исером". Этот человек испуленно верил в светлое будущее еврейского государства, которое воображал как общество величайшей нравственности. Всех, кто не соответствовал его пониманию этики и морали, он считал злейшими врагами Израиля и своими лично. Бен-Гурион ценил его преданность национальной идее.

Безри лаконично сообщил, что глава правительства предлагает создать на базе ШАЙ три ведомства. Военную разведку, которую возглавит сам Безри. Политическую разведку во главе с Борисом Гуриэлем – человеком разносторонне одаренным, отличавшимся нетривиальностью мышления. И, наконец, службу внутренней безопасности Шин Бет, руководителем которой назначался один из самых способных командиров Хаганы, начальник тель-авивского отдела ШАЙ Исер Харель. За малый рост – всего 155 сантиметров – друзья прозвали его "Маленьким Исером". Забегая вперед, скажем, что именно ему суждено было поднять из-

раильскую разведслужбу до уровня мировых стандартов.

Но в тот день никто такими категориями не мыслил. Тогда собравшиеся лишь утвердили предложение Бен-Гуриона, с чего и началась история израильских спецслужб.

Не все шло гладко. Вскоре стало ясно, что Большой Исер не просто не соответствует занимаемой должности, но и становится опасным для правопорядка и законности. Этот моральный дальтоник воспринимал лишь два цвета – черный и белый. Все, что было в его представлении черным, он хотел уничтожить, дабы обожаемое государство сияло ослепительной белизной. К счастью, карьера кандидата в израильские Дзержинские продолжалась недолго.

Это Исер Безри в июне 1948 года обвинил в шпионаже капитана Хаганы Меира Тубянского. Это Безри председательствовал в военном трибунале, приговорившем Тубянского к расстрелу. Через год Тубянский был посмертно реабилитирован и перезахоронен с воинскими почестями. Дело Тубянского стало первым громким политическим скандалом в молодом еврейском государстве.

Вспоминает Исер Харель: "Вдруг выяснилось, что стиль работы Безри является аморальным и крайне опасным. Страна воевала, а начальник военной разведки находил время заниматься предателями, шпионами, черным рынком, спекулянтами и вообще черт знает чем, только не своими прямыми обязанностями. Если он решил, что Тубянский виновен, то судебная процедура не играла уже никакой роли..."

Кончилось тем, что в ноябре 1948 года Исер Безри был, по распоряжению Бен-Гуриона, отстранен от должности, разжалован в рядовые и предан суду. И хотя суд приговорил Безри к символическому наказанию, учитывая его былые заслуги и чистоту побуждений, бывший начальник военной разведки до конца жизни считал все произошедшее с ним ужасной несправедливостью. Умер Безри в 1958 году от сердечного приступа.

Военную разведку после него возглавил Хаим Герцог – будущий президент Израиля. Во время Второй мировой войны Герцог был офицером британской разведывательной службы. Приобрел очень пригодившийся впоследствии профессиональный опыт. Этот рафинированный джентльмен и утонченный интеллектual оказался, к тому же, превосходным организатором. Именно Герцог превратил военную разведку в то, чем она является и сегодня. В аналитический центр, позволяющий предугадывать ходы противника. Герцог, получивший в наследство от Безри кустарную организацию, костяк которой составляли бывшие подпольщики, не прошедшие профессиональной подготовки, создал разведшколу, где будущих разведчиков обучали профессиональным навыкам. Он четко определил структуру и функции военной разведки, ввел в нее научно-исследовательский отдел. Сделав в сжатые сроки военную разведку неузнаваемой, Хаим Герцог в апреле 1950 года передал дела своему заместителю Беньямину Джибли, а сам отправился военным атташе в Вашингтон. Его изначально влекла дипломатическая карьера. Никто не знал тогда, что через восемь лет военной разведке вновь понадобятся ум, прозорливость и способности этого человека.

* * *

К 1950 году работа израильских спецслужб была уже отрегулирована. Но появился человек, заявивший, что всего сделанного – недостаточно. Это был Реувен Шилоах – фигура колоритная и загадочная. Решавший любые ребусы Шилоах буквально генерировал идеи и сам же брался их осуществлять. Рутину, тусклость, поденщину он не выносил. Жизнь его была пестрой, фантастичной. Этот "конкистадор", родившийся в Иерусалиме в семье раввина, получил разностороннее образование. Знал основные европейские языки. Прекрасно владея арабским, стал разведчиком сионистского движения еще до создания разведки. В тридцатые годы несколько лет провел в Ираке, выполняя специальные задания. Помог англичанам создать агентурную сеть в оккупированной нацистами Европе. После войны специально для него была создана должность личного советника Бен-Гуриона по особо важным делам. Перед ним открывались любые двери. Черчилль относился к нему с такой же симпатией, как Жаботинский.

Таких людей Жаботинский называл авантюристами и даже написал несколько статей на эту тему. Он считал авантюризм нормальным явлением в экстремальных обстоятельствах. Чрезмерное количество таких людей опасно для общественной стабильности, но определенная доза их необходима для выживания. Авантюристы из века в век были первооткрывателями, первопроходцами и, главное, отчаянными игроками. Только рискуя, можно выиграть. В понимании Жаботинского, авантюристы – это живая душа нации.

Реувен Шилоах предложил Бен-Гуриону полностью реорганизовать разведслужбу. Превратить ее в независимое агентство, подчиненное непосредственно премьер-министру. Идея эта Бен-Гуриону понравилась. В сентябре 1951 года было создано новое разведывательное управление, получившее название "Центральный институт разведки и спецзаданий". Это и был знаменитый Мосад.

Первым руководителем Мосада был назначен сам Шилоах. Теория и практика совсем разные вещи. Вскоре выяснилось, что Шилоах совершенно не способен к кропотливой повседневной работе. Он носился по своим отделам, предлагая идеи, всегда блестящие. Но дальше этого дело не шло. В делах же у него царил дикий хаос. Впрочем, Шилоах и сам понял, что он не на своем месте, и 19 сентября 1952 года подал в отставку. В тот же день Бен-Гурион позвонил Исеру Харелю и сказал: "Я хочу назначить вас руководителем Мосада".

МАЛЕНЬКИЙ ИСЕР

В Мосаде Исер Харель застал нечто невероятное. Вся организация – человек двенадцать – размещалась в трех комнатах, которые никто не убирал. Разрозненные бумаги, сваленные в кучу, назывались архивом. В одной из комнат рыдала не получившая жа-

лованья секретарша. Касса была пуста. Шилоах был известен еще и тем, что ни у кого не просил денег. А раз не просил, то их и не давали... Пока Харель озирал открывшуюся перед ним картину, перед ним возник Акива, финансовый директор Мосада.

– Исер, – жизнерадостно сказал он новому боссу. – Я только что вернулся из Парижа, где выбил для минфина заем на таких выгодных условиях, что...

– Это, конечно, хорошо, – холодно прервал его Харель. – Но мне нужны такие финансовые гении, которые в состоянии оплачивать труд моей секретарши.

В тот же вечер Хареля принял Давид Бен-Гурион. Исер Харель восхищался этим человеком, не боявшимся ни арабов, ни евреев, без колебаний бравшим на себя ответственность за самые тяжелые решения. Как бы не менялся ветер и куда бы не относили подводные течения, этот кормчий не позволял сбить с правильного курса свой корабль.

Бен-Гурион же ценил прямоту и целеустремленность Хареля.

– Исер, – сказал Бен-Гурион, подписывая распоряжение об увеличении бюджета Мосада в десять раз, – помни об одном: у Мосада не может быть своих интересов. Есть только интересы государства.

* * *

Исер Харель родился на родине Шагала, в Витебске, в 1912 году. По отцовской линии в его роду подряд шли сплошные раввины. Стал бы раввином и он, да грянула революция. Потерявшая состояние семья с трудом перебралась в Ригу. В независимой Латвии еврейская жизнь тоже была не сахар. Семья перебивалась кое-как, и Исер бросил школу ради заработка. Потом увлекся сионизмом, и в 1929 году вместе с несколькими единомышленниками оказался в Палестине.

Цельная его натура не ведала сомнений. Он приехал, чтобы превратить землю обетованную в цветущий сад. Этим и занялся. Вступил в киббуц, честно трудился на апельсиновых плантациях. Политикой не интересовался.

Всерьез его тогда не принимали. Парень как парень. Низкорослый, с неказистой внешностью, склонный к полноте, неразговорчивый. Да мало ли таких. Впервые Исер удивил всех, когда женился на Ривке – самой веселой и красивой в киббуце девушке. "Угораздило же ее, – поговаривали за их спинами, – от тоски ведь можно помереть с этим бирюком". Но они были очень счастливы.

В 1935 году Исери осточертело упаковывать апельсины, и молодая пара ушла из киббуца. Исер занялся бизнесом и преуспевал, но тут началась мировая война. Корпус Роммеля рвался в Палестину, и нехотя, повинаясь лишь чувству долга, Харель вступил в Хагану.

В организациях такого рода умеют распознавать талантливых людей, и к началу Войны за независимость Исер Харель был уже руководителем отдела разведки. Потом возглавил службу внут-

ренной безопасности Шин Бет и сохранил контроль над этой организацией, став начальником Мосада.

Таким образом, из трех спецслужб Харелю непосредственно подчинялись две. Третья – военная разведка во главе с Беньямином Джибли – должна была информировать начальника Мосада обо всех своих начинаниях. Джибли – тоже авантюрист по натуре – считал такую зависимость унижительной и старался от нее избавиться. Он добился своего после ухода Бен-Гуриона, но ни к чему хорошему это не привело.

Получив новую должность, Харель сразу же приступил к полной реорганизации Мосада. Создал спецшколу по подготовке агентов и установил для своих сотрудников высокие профессиональные стандарты. Те, кто им не соответствовали, должны были искать другую работу. Кроме профессиональных, Харель внедрил в израильскую разведку моральные стандарты, существующие и поныне. Люди свирепые, жестокие, кайфующие от запаха крови палачи и садисты ему были не нужны. Харель был гением разведки, и принцип отбора людей у него тоже был гениальным.

– Мне нужны люди, – говорил он, – испытывающие отвращение к убийству, но которых, тем не менее, можно научить убивать.

Один из сотрудников Хареля охарактеризовал это так: Исер хочет, чтобы работу негодяев выполняли честные люди. И это он хорошо придумал. Упаси Боже, если работу негодяев станут выполнять негодяи.

Харелю не хватало лоска. Его внешний облик вводил в заблуждение. В его образовании зияли пробелы, граничившие с невежеством. Но все это компенсировалось редкой интуицией и целеустремленностью. Хорошо разбираясь в человеческой природе, он собрал в Мосаде целое созвездие талантов. Ицхака Шамира, например, – опального командира подпольной террористической организации Лехи, – он назначил резидентом Мосада в Европе, и ни разу не пожалел об этом. "Мои сотрудники всегда знают, чем они занимаются", – говорил шеф Мосада. Это правда, но знали его сотрудники и другое. К Харелю нельзя было придти, не выполнив порученного дела. Он ужасно расстраивался, и для прощтрафившихся это было самым тяжким наказанием.

В личной жизни Харель был пуританином. Однажды ему сообщили, что его агент в Европе во всю крутит роман.

– Дело плохо, – сказал заместитель Хареля. – Парня надо отозвать.

– Почему, – удивился Харель. – Он же взрослый человек. Что ж ему, и влюбиться нельзя?

– Разумеется, можно, – ответил заместитель. – Проблема в том, что если об этих шашнях узнает его жена, то будет скандал. А нам это ни к чему.

– Как?! – искренне изумился Харель, – он женат? Зачем же ему понадобилась другая женщина?

Сотрудницы Мосада у Хареля не получали опасных заданий. Он понимал, что рано или поздно им придется добиваться своего известным во все времена способом. Сама мысль об этом ему претила.

Имя Хареля узнали во всем мире благодаря поимке Адольфа Эйхмана. Рикардо Клемент, он же Адольф Эйхман, тот самый, кому Гиммлер поручил "окончательное решение" еврейского вопроса, был захвачен людьми Хареля 11 мая 1960 года в Буэнос-Айресе. История выявления и похищения Эйхмана неоднократно описывалась. Отмечу лишь один эпизод, проливающий свет на моральные качества начальника Мосада.

Харель прибыл в Буэнос-Айрес вместе со своими людьми и лично руководил операцией по захвату Эйхмана. Он приказал своим агентам в случае провала назвать аргентинским властям его имя, должность и адрес отеля, в котором остановился. Видя изумление сотрудников, Харель пояснил:

– Я сам разъясню аргентинцам побудительные мотивы наших действий. Скажу, что беру на себя ответственность за эти действия, полностью соответствующие принципам справедливости и законам моего государства.

* * *

Огромны заслуги Хареля в деле превращения Мосада в прекрасно функционирующий разведывательный аппарат. В 60-е годы Харель и его люди пресекли попытки КГБ внедрить своих агентов в израильские эшелоны власти. В 1962 году был арестован Израиль Бер, официальный историограф армии Обороны Израиля и военный советник Бен-Гуриона, оказавшийся советским шпионом. Не удалось и арабам наладить сбор шпионской информации непосредственно на израильской территории. Все попытки подобного рода пресекались сотрудниками Мосада.

На международной арене достижения Хареля были еще более внушительны. Именно при нем Мосад был признан одной из самых эффективных разведок мира. Никто не спорит с тем, что Харель был мастером своего дела.

С годами, однако, стали все более ощущаться негативные стороны его профессионального стиля. Как это часто бывает, сила Хареля являлась одновременно и его слабостью.

Из-за специфики своей профессии секретный агент вынужден вести замкнутый образ жизни. Ни с членами семьи, ни с друзьями не вправе он поделиться тем, что на душе. А ведь потребность излить душу сильна у каждого. Харель это прекрасно понимал. И старался быть всем для своих сотрудников: отцом, другом, наставником и высшим авторитетом. Он знал о них все. Каждый мог прийти к нему в любое время дня и ночи со своими проблемами. Сотрудники платили ему слепой преданностью. Когда он принимал кого-то в своем спартанском кабинете и проникновенно говорил: "Слушай, старина, возникла проблема, и только ты можешь нам помочь...", – то сотрудник готов был немедленно отправиться хоть к черту в зубы, даже не простившись с женой и детьми.

Такая работа на основе личной преданности приносила превосходные результаты, но имела свои минусы. Сотрудники Мосада постепенно теряли творческий импульс. Обо всем думал и все ре-

шал Харель, работавший по 18 часов в сутки. При таком положении дел Мосад стал отставать от требований времени. Харель, например, не признавал компьютерной революции. Когда с огромным трудом его убедили все же установить у себя компьютер, — он им ни разу не воспользовался. Аналитического центра у Хареля не было. Он в нем не нуждался. Да, люди Хареля блестяще проводили спецоперации, однако ни планов, ни четко разработанных задач на будущее у них не имелось. Сегодня они не знали, что будут делать завтра. Жили от операции до операции.

Эпоха Исера Хареля в израильской разведслужбе постепенно подходила к концу, но выяснилось это далеко не сразу.

АМИТ ПРОТИВ ХАРЕЛЯ

7 декабря 1953 года страну потрясло сообщение об отставке Давида Бен-Гуриона. Старый вождь, неожиданно для всех сложив с себя полномочия премьер-министра и министра обороны, удалился в свой кибуц Сде-Бокер.

Как Черчилль и Де Голль, Бен-Гурион был личностью олицетворявшей целую эпоху. Его уход пробил в политическом руководстве брешь, которую нелегко было заполнить. Кресло премьер-министра занял Моше Шарет — человек блестящей эрудиции, тонкий дипломат, но отличавшийся созерцательным характером и деликатностью, весьма походившей на слабоволие. Портфель же министра обороны получил Пинхас Лавон, мощный интеллект которого часто работал вхолостую из-за неумения ладить с людьми и прислушиваться к чужому мнению. Отношения между Лавоном и Шаретом были из рук вон плохи. Этим и воспользовался начальник военной разведки Бенъямин Джибли для того, чтобы вывести свое ведомство из-под контроля премьер-министра и Мосада.

Джибли работал в тесном сотрудничестве с Лавоном, и этот альянс привел в 1954 году к задействию израильской шпионско-диверсионной сети в Египте. Операция, получившая кодовое название "Сюзанна", завершилась провалом. Двое участников сети были приговорены в Каире к смертной казни, остальные к различным срокам тюремного заключения. В Израиле начался скандал, вошедший в историю как "Дело Лавона".

Вернувшийся из кратковременного затворничества, Бен-Гурион опять стал к штурвалу. Лавон и Джибли вынуждены были уйти. Военную разведку возглавил сначала Иехошофат Гаркави, а в 1958 году уже известный нам Хаим Герцог. С его возвращением пришедшая при Джибли в упадок военная разведка вновь обрела эффективность.

Но главное, Герцог подготовил почву для появления Меира Амата, ставшего вторым после Хареля выдающимся реформатором израильской разведывательной службы.

* * *

Меир Амит, в прошлом — кибуцник, командир батальона Хаганы, командир бригады Голани, командующий округом, начальник оперативного отдела генштаба, начальник военной разведки, начальник Мосада, генеральный директор концерна Кур, один из основателей движения Даш, депутат Кнессета, министр транспорта, инициатор проекта создания первого израильского спутника связи "Амос", и прочее, — всего не перечислишь, — родился в Тверии, в семье выходцев из России. Его мать Хая преподавала в гимназии иврит. Отец — Шимон Слуцкий, человек уравновешенный, даже флегматичный, далекий от политики, служил бухгалтером в крупной фирме. Когда Меир был еще совсем маленьким, семья переехала в Тель-Авив. Отец очень гордился, что ему удалось устроить сына в самую престижную по тем временам гимназию "Бальфур". Меир учился хорошо, но став активистом Хаганы, запустил школу. Чтобы не огорчать отца, поднапрягся и выдержал выпускные экзамены. Потом вступил в кибуц Алоним, женился на Йоне, родились обожаемые дочери.

Пасторальная идиллия закончилась, когда в кибуцном движении произошел раскол. Алоним стал совсем "красным". "Реакционеры" из кибуца просто выживали. Меиру с семьей пришлось переселиться в просторный родительский дом в Рамат-Гане.

Войну за независимость Амит начал командиром роты, а закончил командиром батальона. В генштабе быстро обратили внимание на молодого офицера. Высокий, ширококостный, с крупными, словно резцом высеченными чертами лица, — он производил внушительное впечатление одной своей внешностью. Уже потом по достоинству оценивались и мужество его, и интеллект.

В мае 1951 года подполковник Меир Амит командовал операцией против сирийских позиций в районе Кинерета. Фактор внезапности не сработал. Сирийцы встретили бойцов Амита плотным огнем. Атака захлебнулась. Но Амит изменил направление удара, ввел в бой резервы и выбил все же сирийцев из их укрепленных пунктов. Цена победы оказалась высокой. 27 убитых. Амита обвинили в том, что он перешел грань допустимого риска. Но тогдашний командующий Южным военным округом Моше Даян взял его под свою защиту, напомнив о свято чтимом во всех армиях принципе: победителей не судят.

Став главнокомандующим, Даян назначил Амита начальником оперативного отдела генштаба. Он знал, что делает. Даян был человеком лукавым и расчетливым. В штабе он появлялся редко, занимаясь делами, не всегда связанными с его непосредственными обязанностями, и лишь одобрительно усмехался, когда Амит докладывал ему о проделанной работе. Иногда Даян подбрасывал какую-нибудь идею и говорил: "Уж ты-то сумеешь использовать эту золотую жилу". Всю Синайскую кампанию 1956 года до мельчайших деталей разработал и провел Меир Амит. Даян же, написавший об этой кампании целую книгу, даже в сноске не упомянул его имени.

* * *

В начале 1958 года Меир Амит стал командующим центральным военным округом. Все знали, что его уже ждет высший командный пост в армии. Но, как говаривал Наполеон, в поводырях у слепой судьбы ходит Его величество случай.

Амит считал, что солдат должен оставаться солдатом, даже если он носит генеральские погоны. Поэтому командующий участвовал иногда в военных учениях наряду со своими бойцами, доказывая, что он все может делать не хуже, чем они. Летом 1958-го Амит решил совершить тренировочный прыжок с парашютом.

Вспоминает Менахем Авирам, командовавший тогда полком в "хозяйстве" Амита: "Было так жарко, что дрожащий от зноя воздух обжигал легкие. Я должен был прыгать первым, но Меир вдруг попросил уступить очередь ему и, прежде чем я успел среагировать, шагнул в открытый проем. Я – вслед за ним. Приземлился нормально. И сразу увидел Меира шагах в десяти от меня. Он не стонал, но глаза были закрыты, а на губах выступила кровавая пена. Нога его, простреленная под Дженином в Войну за независимость, попала в щель между скалистыми пластами, поросшими редким кустарником. Кость была сломана. Сухожилие – порвано. Но это – мелочь. Как потом выяснилось, парашют Меира раскрылся не полностью, и он не приземлился, а рухнул на землю. Да так, что почти все кости были переломаны".

Приземлившиеся парашютисты должны были идти к месту сбора километров пять, что тоже входило в программу учений. Все это расстояние протаскил Меира на своей спине Менахем Авирам. Зато потом Меир много лет таскал Менахема за собой повсюду куда забрасывала его судьба.

18 месяцев провел Меир в больнице – весь в гипсе, как рыцарь в латах, подключенный ко всевозможным аппаратам. Некоторые из них были заказаны в Соединенных Штатах специально для него. Особенно трудно было первое время, когда боль, растекшаяся по всему телу, вызывала из самых тайных закоулков души безумие, превращавшееся в долгий неотвязный кошмар галлюцинаций.

Через три месяца врачи изрекли свой вердикт: Меиру никогда не передвигаться без костылей. А он отбросил костыли в первый же день, когда выписался из больницы. Лучше уж боль, чем бессилие. Это был День его независимости, но прошло много времени, прежде чем жесткая система физических упражнений, разработанная им самим, принесла ожидаемые результаты и он, вопреки всем прогнозам, вновь стал здоровым человеком.

Выйдя из больницы, Меир посетил Бен-Гуриона. Старик очень обрадовался, увидев его без костылей. Поля принесла чай, а Меир засмотрелся на руки Бен-Гуриона – маленькие, крепкие, загорелые, без бугров и вздувшихся жил, совсем не старческие. Он-то давно знал, что не глаза, а руки выражают индивидуальность человека.

– А ну пройдишь, – вдруг сказала хозяйка. Меир прошелся, волоча ноги, стараясь равномерно распределить тяжесть большого тела.

– Чтобы Насер так ходил! – сердито пожелала Поля.

* * *

Амит и сам понимал, что с военной службой покончено. В сорок лет – в полдень жизни – все надо было начинать сначала. Он выбрал академическую карьеру. Блестяще закончил Колумбийский университет, работал над докторской диссертацией. Но летом 1961 года Моше Даян, который иногда, по какой-то прихоти, оплачивал свои старые счета, предложил ему сменить Хаима Герцога на посту начальника военной разведки. Амит без колебаний согласился. Против этого назначения был лишь один человек – Исер Харель, заявивший, что слишком опасно оставлять военную разведку в руках военных. Они, мол, наломают дров.

Но Бен-Гурион сказал: "Пусть армия сама решает, что ей нужно". Меир Амит был утвержден в новой должности. На совещании у Бен-Гуриона он впервые встретился с Харелем.

Бесчисленны причины, по которым один человек может любить или ненавидеть другого. Амит – высокий, ладный, с солдатской выправкой, прямым взглядом, громким уверенным голосом. И Харель – казавшийся в присутствии Амита еще меньше, смотревший исподлобья. Грубая прямолинейность солдата не понравилась разведчику. Вкрадчивая осторожность разведчика не понравилась солдату. В самой природе каждого из них было что-то, чего другой по натуре своей не мог выносить. К тому же, Меир Амит уже тогда считал стиль работы Хареля устаревшим, и открыто говорил об этом. Исер Харель напоминал ему кривоногую таксу, охотившуюся на крыс и других мелких зверюшек, но неспособную взять более крупную дичь.

"Погоня по всему миру за стареющими нацистскими преступниками это, конечно, прекрасно, – говорил Амит, – но все же не следует забывать, что основной целью разведслужб является сбор информации о ресурсах, военном потенциале и планах врагов Израиля".

Харель, в представлении Амита, – сыщик, превративший Мосад в лавочку, торгующую чем попало.

Не оставался в долгу и Харель, написавший с десяток книг, в которых отказывал Амиту в элементарных человеческих и профессиональных достоинствах.

Подобный антагонизм не мог не втянуть этих людей в жестокую борьбу, хоть цели и задачи у них были общие и желали они одного и того же.

СОЛДАТ В МОСАДЕ

21 июня 1962 года Израиль был потрясен сообщением об успешном испытании в Египте ракет класса "земля– земля". Ракеты эти – "Аль-Зефир" ("Победа") – дальность полета 280 км, и "Аль-Кахио" ("Завоеватель") – дальность полета 560 км, – могли представлять угрозу для безопасности Израиля. Даже их названия недвусмысленно свидетельствовали о намерениях египетского лидера. Да Насер и сам открыто заявил о своих планах в отношении еврейского государства, выступив с обращением к нации по поводу столь выдающегося события.

Хуже всего было то, что в Мосаде ничего об этих ракетах не знали. Разгневанный Бен-Гурион вызвал Хареля и ядовито попросил объяснить, зачем Израиль тратит огромные средства на свою разведку, если достаточно купить простой приемник, чтобы получать ценную информацию из выступлений египетского президента.

Честолюбие начальника Мосада было задето, гордость унижена. Потрясенный, давно не испытывавший таких ударов судьбы, Харель заверил премьер-министра, что через три месяца вся информация о ракетной программе Египта ляжет к нему на стол.

Информацию эту Харель получил гораздо раньше, уже через месяц, от своего суперагента в Каире Вольфганга Лотца.

* * *

Самыми выдающимися разведчиками Мосада за всю его историю считаются Эли Козн, казненный в Дамаске, и Вольфганг Лотц, укоренившийся в Каире. О судьбе Эли Козна мы знаем почти все. Вольфганг Лотц – известен меньше, что отнюдь не умаляет его заслуг.

Лотц родился в 1921 году в Германии. Отец – немец, директор театра в Берлине. Мать – еврейка, актриса в том же театре. После прихода Гитлера к власти отец вступил в нацистскую партию, а мать, плюнув ему в физиономию, забрала сына и уехала в Эрец-Исраэль. Двенадцатилетний мальчик быстро освоился на новой родине. Закончил сельскохозяйственный техникум, где на всю жизнь привязался к лошадям, – даже мечтал уехать в Техас и стать ковбоем. Это не получилось, но жизнь его действительно напоминает сумасшедшую ковбойскую скачку. Служил в британских колониальных войсках переводчиком, вязывался во всевозможные авантюры, выполнял различные поручения Хаганы и, наконец, стал офицером израильской армии. Там и обратили на него внимание сотрудники Мосада. Лотц, казалось, самой природой был создан, чтобы стать асом разведки.

Знание языков: свободно владел немецким, арабским, английским. Внешность ницшеанской "белокурой бестии". Хладнокровие, интеллект, актерский талант, авантюрная жилка. Чего еще можно требовать от секретного агента? К тому же, Лотц был наполовину арийцем. Сохранилась метрика о его рождении в Мангейме. Будучи немецким гражданином в силу своего происхождения, он не нуждался в липовых документах. Нужно было лишь чуть-чуть подретушировать его биографию. Сущие пустяки для специалистов Мосада.

В конце 1960 года в Каире возник скучающий путешественник, состоятельный прожигатель жизни – герр Вольфганг Лотц. Этот бывший офицер Вермахта, воевавший в корпусе Роммеля, после войны поселился в Австралии, где был хозяином конного завода. Но в Австралии такая скука – хоть вешайся. Впавший из-за нее в депрессию Лотц вернулся на родину. Послевоенная Германия, однако, ему не очень понравилась, и вот теперь он ищет под солнцем место для жизни спокойной и красивой. Само собой получи-

лось так, что "симпатичный немец" застрял в Каире, вступил в фешенебельный кавалерийский клуб и, наконец, по совету генерала Али Гораба – начальника египетской полиции, – создал конный завод, чтобы вывести новую породу экспансивных арабских лошадок. Через полгода "симпатичный немец" стал своим человеком в высших каирских сферах. Бывший офицер, он, естественно, тянулся к своим египетским коллегам. Генералы, полковники, сотрудники генштаба обожали этого "славного малого", у которого в любой момент можно было подзаныть деньжат, не очень беспокоясь о возвращении долга.

Стоит ли говорить, какая ценная информация стала поступать в Мосад от сверхсекретного агента в Каире по кличке "Конь"? Правда, Лотц стоил Мосаду очень дорого. Харель никогда не просматривал поступавших от него счетов, чтобы не расстраиваться, а получавший их казначей Мосада лишь хватался за сердце. Однажды по его настоянию Харель отправил Лотцу депешу с распоряжением документально отчитываться о своих расходах. В ответ Лотц попросил прислать ему из Мосада бланки, которые он мог бы давать на подпись египетским генералам, одалживающим у него деньги.

Харель утешался мыслью, что хорошая косметика стоит дорого, а дешевая – никому не нужна.

Лотц "сгорел" одновременно с Эли Козном и по той же причине. Радиопеленгаторы, доставленные в Дамаск и в Каир из Советского Союза вместе с лучшими радистами ГРУ, засекли минипередатчики обоих агентов. Но, в отличие от Козна, Лотц "в рубашке родился". Он не был разоблачен до конца и предстал перед египетским судом как продавшийся евреям немец.

26 июля 1965 года суд брезгливо приговорил этого опозорившего свое "арийское" происхождение шпиона к пожизненному заключению. Сидел он недолго. После Шестидневной войны египтяне обменяли его на девятых своих генералов, получив еще пятьсот военнопленных в качестве довеска.

* * *

Поступившая от Лотца информация поразила Хареля. Оправдались его самые худшие опасения. Ракетная промышленность Египта уже стартовала. В районе Гелиополиса уже действовал сверхсекретный объект под кодовым номером 333, представлявший собой не что иное, как завод по производству баллистических ракет, на котором трудились около ста немецких инженеров и ученых. В основном, бывших нацистов, работавших в свое время на авиационных заводах Вилли Мессершмитта и в тайных лабораториях Эриха фон Брауна. Но это еще не все. И от Лотца, и по другим каналам стало известно, что по личному приказу Насера египтяне приступили к разработке совершенно секретных программ "Клеопатра" и "Ибис", предусматривающих создание ядерного и химического оружия.

Только этого не хватало! В распаленном воображении Хареля

уже рисовалась апокалипсическая картина гибели Тель-Авива под грибовидным облаком. Ему казалось, что он видит, как обрушиваются на Израиль смертоносные египетские стрелы, начиненные всякой пакостью. А все эта проклятая Германия, уже уничтожившая треть древнего народа и стремящаяся довершить начатое.

Ощущая себя триумфатором, спешит Харель к Бен-Гуриону, излагает ему свои выводы, представляет документы, требует давления на Германию по дипломатическим каналам. Предлагает будоражить совесть мира. Необходимо заставить Аденауэра отозвать из Египта немецких ученых, — заканчивает Харель свой доклад.

Но возбуждение начальника Мосада наталкивается на ледяной холод. Впервые Бен-Гурион ему не верит. Он верит в новую Германию, желающую искупить грехи прошлого. С этой новой Германией у Израиля складываются особые отношения. Многомиллионные немецкие репарации оздоровили израильскую экономику. К тому же, Германия тайно поставляет Израилю новейшие виды вооружения по баснословно дешевым ценам. Но дело не только в этом.

— Все, что вы мне сказали, я уже знаю, — говорит Бен-Гурион ошарашенному Харелю, и кладет руку на объемистую папку. — Здесь материалы военной разведки, гораздо более аргументированные, чем ваш эмоциональный доклад. Меир Амит полагает, что Египет и через тридцать лет не будет иметь ни ядерного оружия, ни заслуживающих внимания баллистических ракет собственного производства. Согласно оценке его аналитиков, большинство немецких ученых, нанятых Египтом, не являются крупными специалистами, а те, которые ими когда-то были, давно дисквалифицировались и не соответствуют современному уровню развития ракетных технологий.

— Это неправда, — почти кричит Харель. — Немецкие власти сами отбирали по просьбе Насера этих ученых.

— Если вы действительно так считаете, то я вынужден вам сказать, что не доверяю источнику вашей информации и считаю ее неверной, — говорит Бен-Гурион и поднимается, показывая, что разговор окончен.

* * *

Амит был прав. Харель не учел один важный фактор. Вольфганг Лотц, при всех его достоинствах, не был аналитиком. Он просто передавал своему шефу сведения, добываемые из хвастливой трепотни египетских генералов и подвыпивших немецких инженеров. Аналитического же центра по обработке информации подобного рода у Хареля не было. А у Амита был, и еще какой!

Став начальником военной разведки, Амит взял к себе в заместители бригадного генерала Аарона Ярива — лучшего военного аналитика того времени.

Ярив родился в 1921 году в Москве. В возрасте 14 лет прибыл с семьей в Эрец-Исраэль. Закончил сельскохозяйственную школу, поступил в английскую армию, дослужился до офицерского звания. Войну за независимость провел в штабе Хаганы, где Игаэль Ядин

не мог обходиться без него при планировании операций. В 1950 году – в возрасте 29 лет – он был уже полковником.

Начальник самого престижного французского военного колледжа, куда Ярив был направлен на учебу, попросил израильского офицера не являться на занятия в военной форме. "Вы слишком молодо выглядите для своего звания, и у ваших коллег может развиться чувство неполноценности", – сказал он курсанту, казавшемуся даже моложе своих лет.

Несмотря на молодой вид Ярива, каждый, кто к нему приближался, сразу ощущал воздействие его личности. Спокойный, как астронавт, вежливый и внимательный в отношениях с людьми, он выделялся сосредоточенностью умственной воли. Его гибкий интеллект, нацеленный на максимальное использование внутренней энергии, наиболее полно реализовывался в творческом действии.

Ярив и Амит привлекли блестящих аналитиков, позаботились о создании компьютерного центра, где сортировалась и обрабатывалась вся поступавшая информация. Каждый отдел имел свои четко определенные функции. Все это привело к тому, что военная разведка стала отличаться от Мосада, как супермаркет от бакалейной лавки.

Но Харелю было неважно, прав Амит или нет. Важно было другое. Мосад – лучшая в мире разведка, а это значит, что его концепции не могут вызывать подозрений.

Харель пошел напролом. Ученые ведь не груши, на деревьях не растут. Если припугнуть немецких ученых, то они перестанут работать на Насера, а новых ему так быстро не раздобыть, – рассудил Харель, и дал зеленый свет уже разработанной операции "Дамоклов меч". Началась форменная охота. Некоторые из работавших на египтян специалистов получили по почте конверты, взорвавшиеся в их руках, другие бесследно исчезли...

И вдруг – прокол. В Швейцарии взяли с поличным сотрудника Мосада Йосефа Бен-Галья, пытавшегося шантажировать дочь директора уже известного нам египетского объекта номер 333 Поля Герке. Начался международный скандал. Бен-Гурион направил Исеру Харелю резкое письмо, а оскорбленный начальник Мосада подал в отставку.

Произошло это 23 марта 1963 года. В пятьдесят лет – в расцвете сил – ушел человек, поднявший Мосад из праха до уровня мировых стандартов, считавшийся незаменимым.

* * *

Харель был убежден, что Бен-Гурион не примет его отставки. Разве можно оторвать Мосад от Хареля? Ведь Мосад это Харель. Но Бен-Гурион, почувствовавший, что в истории с египетскими ракетами для Хареля важнее всего оказались его личные амбиции, решил не препятствовать уходу начальника Мосада. Тем более, что он знал, кем его заменить. Выяснив, что Амит находится где-то на северной границе, Бен-Гурион послал за ним военный вертолет. Он не стал тратить времени на уговоры.

"Меир, – сказал Бен-Гурион начальнику военной разведки, – Харель ушел, и я хочу, чтобы ты занял его место. Сдай дела Яриву и отправляйся в Мосад. Вот приказ о твоём новом назначении". Амит не стал спорить. Он знал, конечно, об особых отношениях между Исером Харелем и его людьми, понимал, что в Мосаде его никто с цветами не встретит. Но солдату, привыкшему к дисциплине, и в голову не могла придти мысль, что ему придется столкнуться с настоящим бунтом.

Пять минут понадобилось Харелю, чтоб передать дела этому ненавистному человеку. Хареля трясло от злости. "Папки с шифрами и кодами здесь, – указал он на ящик письменного стола. – Остальную информацию вы получите от моих сотрудников". И Харель не вышел, а вынесся из комнаты. Амит, проводив его презрительным взглядом, пробормотал: "Этот Исер еще меньше, чем он выглядит". Потом выдвинул ящик. Папка, о которой говорил Харель, была на месте. И все. Никаких других документов. Даже списка сотрудников Мосада – и того не было.

В дверь постучали. Вошла Ора Авни – одна из четырех секретарш Хареля. Меир ей улыбнулся. Она ответила ледяным взглядом. Потом Ора станет личной секретаршей Амита, другом его семьи, проработает с ним много лет. Но все это будет потом. А сейчас она положила перед Амитом зашифрованную телеграмму и надменно удалилась. С трудом, пользуясь инструкцией из той самой папки, Меир расшифровал текст. Пятеро видных сотрудников Мосада в Европе, в том числе их резидент Ицхак Шамир, сообщали новому начальнику, что отказываются с ним работать. "Мы будем вам благодарны, если вы доведете текст этого нашего заявления до сведения премьер-министра", – писали агенты.

Амит вызвал секретаршу и продиктовал свой первый приказ. Пятеро "мятежников" отзывались на родину. В дальнейшем всем им пришлось уйти из Мосада. Меир заменил их своими людьми из военной разведки. Собрав подчиненных, он сказал: "Я никого не держу. Да, я намерен подтянуть дисциплину, хоть и не буду требовать, чтобы вы строем, с песнями выходили каждый день на работу. Те из вас, кто решит продолжить службу в этом учреждении, должны будут выполнять все мои распоряжения – вне зависимости от того, нравится им это, или нет".

Вспоминает Ора: "У многих в глазах были слезы. Массивная фигура этого солдата в гимнастике и тяжелых ботинках так резко отличалась от всего, к чему они привыкли, так не походила на облик их бывшего шефа, с которым их связывали прочнейшие эмоциональные узы, что они поняли: вдребезги разбит их прежний мир, с которым они так свыклись..."

Многие ушли, а те, кто остались, вскоре с удивлением почувствовали, что им нравится новый начальник, оказавшийся во многом шире и глубже своего предшественника. Всюду теперь мелькали симпатичные молодые люди с военной выправкой. Всюду появились компьютеры. Работы прибавилось, но при этом и жить стало гораздо интересней.

* * *

Трудно сказать, как бы развивались события, если бы 16 июня 1963 года Бен-Гурион вновь не ушел, — на сей раз, как оказалось, навсегда. Он, сам создавший израильскую политическую структуру, сам же одним из первых увидел ее изъяны. Его партия стремительно превращалась в гипертрофированный бюрократический аппарат с коррупцией и мышинной возней партийных функционеров. Старый вождь понимал, что страна нуждается в реформах, и начинать их нужно с правящей партии. Пример Де Голля был у него перед глазами. Но у Де Голля ведь был контракт непосредственно с Францией, а Бен-Гуриона обложили со всех сторон партийные бонзы. Крикливые, самоуверенные, они сплотились для борьбы со своим старым лидером, чтобы вытеснить его из политической жизни.

Бен-Гурион еще попытается бороться, создаст движение Рафи, к нему присоединятся Даян с Пересом, — ничего не выйдет. Бюрократическая цитадель вырождающейся Рабочей партии окажется несокрушимой...

Одолев Бен-Гуриона, партийные функционеры избрали премьер-министром 67-летнего Леви Эшколя. Это был, пожалуй, один из самых "тусклых" израильских лидеров. Ум — трезвый, основательный, но без взлетов. Характер — нерешительный, слабый, склонный к компромиссам. Будучи по натуре своей соглашателем, Эшколь избегал крайних решений и конфликтных ситуаций.

Став премьер-министром, он должен был решить, что делать с Амитом. С одной стороны, Голда Меир и Яков Шапиро требовали немедленно убрать этого ставленника Бен-Гуриона. Ну а с другой — за Амита горой встали Аба Эвен и Моше Даян. Эшколю совсем не хотелось схлестнуться с Даяном, и он принял, как ему казалось, "соломоново решение". Утвердил Меира Амита в его новой должности. Аарон Ярив стал начальником военной разведки. Не был забыт и Исер Харель. Эшколь назначил его своим специальным советником по вопросам разведслужб. Харель получил право курировать и Мосад, и военную разведку. Стоит ли говорить, что это было худшее из возможных решений.

Трудно работать под ненавидящим взглядом. Харель вцепился в Амита, как гончая в кабана. Разумеется, ни о каком сотрудничестве между этими двумя людьми не могло быть и речи. Харель все уши Эшколю прожужжал о том, какой Амит жуткий тип и какую угрозу представляет он для безопасности государства. Но у Эшколя хватило ума понять, что во главе Мосада стоит профессионал высшего класса, и в его работу он не вмешивался. Тем временем преображенный Мосад не только добывал ценнейшую информацию, но и осуществлял операции, о которых во времена Хареля можно было только мечтать.

И вдруг Харель узнал по своим каналам о деле Бен-Барки. Чувство удовлетворения, смешанного с горечью, овладело им. Ведь он же предупреждал, говорил...

ЛОВУШКА ДЛЯ БЕН-БАРКИ

После Войны за независимость Израиль, прижатый к морю, окруженный со всех сторон врагами, оказался герметически замкнутым в своих границах. Чтобы прорвать эту изоляцию, Мосад еще в начале шестидесятых годов установил секретные связи с Марокко, Ираном, Эфиопией и Турцией, охватив таким образом своих арабских соседей в кольцо из стран "третьего мира". Особое же значение и Харель, и Амит придавали развитию тайного сотрудничества с Марокко. К моменту образования государства Израиль в Марокко — тогда французской колонии, — проживало около полумиллиона евреев. Это была самая значительная еврейская община в арабском мире.

Французская колониальная империя уже трещала по всем швам. Марокканский султан Мухаммед Пятый отказался стать марионеткой колониального режима и был выслан из страны. Неожиданно для всех султан, род которого восходил к пророку Мухаммеду, присоединился к радикальному движению "Демократический фронт национального освобождения" и, фактически, его возглавил. В 1956 году Марокко добилось государственной независимости. Мухаммед, ставший правителем страны, терпел существование левых партий — вчерашних союзников, и даже позволил провести парламентские выборы.

Мухаммед был прост в обращении, неприхотлив, одевался скромно, не предавался излишествам. К своим еврейским подданным относился хорошо. Уравнял их в правах с мусульманами, даровал право голоса. "И мусульмане, и евреи — мои дети, — говорил он, — и я в равной степени обязан заботиться о тех и о других". Но дети ведь не всегда знают, что для них хорошо, а что плохо. Об их благе должен печься отец. Руководствуясь этим соображением, султан запретил репатриацию "своих" евреев в Израиль. При нем марокканские евреи переправлялись на землю обетованную нелегально.

В 1961 году, после смерти Мухаммеда Пятого, на престол вступил его сын Хасан Второй, принявший королевский титул. Хасан, в юности сопровождавший отца во всех походах, получил хорошее европейское образование, отличался решительностью, хладнокровием, прагматичностью. Его правление, изнулившее страну, продолжалось почти четыре десятилетия. Вот только незаурядный ум его был пустым, мертвым. Ибо живой ум черпает силу из сердца, а у Хасана этот орган исполнял чисто физиологические функции.

Став монархом, Хасан быстро понял, какую опасность представляют для его власти республиканские арабские режимы в Ираке и в Сирии, в Алжире и в Египте. Ему нужен был союзник, и никто не подходил для этой роли лучше Израиля. Хасан начал с того, что разрешил свободную репатриацию марокканских евреев. Не бесплатно, конечно. Уезжали ведь ремесленники, торговцы и вообще самые предприимчивые из его подданных. Израиль охотно

согласился компенсировать ущерб. За каждую еврейскую голову король получал 250 долларов. За годы правления Хасана в Израиль из Марокко переселилось в общей сложности свыше четверти миллиона евреев. Король заработал весьма неплохо.

Для Израиля же плацдарм в арабском мире был даром небес. Мосад помог марокканцам создать разведку, отвечающую современным требованиям. По личной просьбе короля Хасана, его охрану взяли на себя бывшие марокканские евреи, прошедшие спецобучение в Израиле.

Но и Меиру Амиту грех было жаловаться. Мосад построил в Рабате станцию подслушивания, добывавшую ценные сведения. Агенты Амита переправлялись из Марокко в другие арабские страны. Сам начальник Мосада несколько раз тайно приезжал в Марокко, встречался с Хасаном и с его доверенным лицом министром внутренних дел Мухаммедом Офкиром. Сотрудничество между обеими странами, хоть и тайное, было взаимовыгодным и открывало возможности, которыми Амит дорожил чрезвычайно. Секретные встречи между израильскими и арабскими лидерами неоднократно проводились в королевских дворцах Марокко под эгидой монарха-либерала. Особенно умиляло отношение короля к его еврейским подданным. Королевская опека надежно ограждала их от скверны окружающего мира. Еще в 1958 году, будучи наследником престола, Хасан первым в арабском мире заявил, что существование Израиля – это свершившийся факт, с которым арабы должны смириться. Он даже предложил принять Израиль в Лигу арабских государств.

* * *

В жизнеописании Калигулы Светонию вдруг изменяет беспристрастность историка и он пишет: "До сих пор речь шла о правителе, далее придется говорить о чудовище".

Король Хасан считался "другом Запада". Его похороны с парадом королей, президентов, премьер-министров, съехавшихся со всего мира, походили на грандиозное шоу. В его стране есть оппозиционные партии, парламент и даже конституция. Король элегантно, со вкусом одевался, часто принимал иностранных гостей и вообще любил порассуждать о преимуществах просвещенно-либеральной монархии над другими формами государственного устройства.

Но все это лишь фасад, лицевая сторона. За либеральной маской, носимой с такой ловкостью, что она как бы приросла к лицу, скрывался коварный восточный деспот, каким-то чудом перенесенный прямо из средневековья в наши дни. Король считал себя мыслителем. Любил изрекать афоризмы. Вот некоторые из них: "Истина это только то, что навязано силой. Ореол – привилегия победителя. Лишь власть дает подлинное могущество. Слово короля значит больше, чем жизнь любого его подданного. Опирайтесь на тех, кто верит, а не на тех, кто умничает".

Недруги короля говорили, что его мать, негритянская рабыня,

подаренная султану Мухаммеду одним из шейхов, возшла на ложе своего нового повелителя уже беременной. Поэтому враги называли Хасана ублюдком и утверждали, что в его жилах нет ни капли королевской крови.

Страной правила насквозь коррумпированная клика королевских родственников и прихлебателей. Уровень жизни подавляющего большинства населения оставался в правление Хасана слишком низким даже для Африки. Треть жителей Марокко – семь миллионов человек – страдала от хронического недоедания, в то время как король и его приближенные буквально купались в роскоши.

Всюду – в Рабате, в Танжере, в Маракеше, в Фесе, в Касабланке, на юге Франции и в Соединенных Штатах – возвышаются королевские дворцы, радуя глаз изяществом линий, зелеными беседками, миртовыми оградами, изобилием плодов и цветов. Краны, ванны и даже писсуары в этих жемчужинах зодческого искусства сделаны из чистого золота. Вряд ли Хасан подозревал, что именно ему довелось осуществить мечту Ленина...

Особенно хорош королевский дворец в Рабате – с высокими башнями и легкими аркадами, с хрупкими настенными узорами и пышными террасами, утопающий в свежем великолепии громадного сада. А рядом с дворцом находится старинное мрачное строение, надежно укрытое обступившими его со всех сторон деревьями. Это Дар Аль Мукри – королевская тюрьма. Толстые стены поглощают вопли несчастных – ни один стон не прорвется наружу. Здесь пытаются врагов короля, а также их женщин и детей. Король, не чуждаясь ничего человеческого, иногда посещал подземелья, где во всю кипела работа. Заранее предупрежденные палачи готовили для своего повелителя что-нибудь особенно пикантное. Тела замученных закапывали прямо в аллеях сада, и, прогуливаясь, Хасан испытывал приятное чувство от сознания, что он попирает ногами могилы своих врагов...

Марокканский оппозиционер Муман Диори, герой борьбы с французскими колонизаторами, просидевший в каменном мешке размером 4 на 2 метра много лет и лишь чудом вырвавшийся на свободу, вспоминает:

"Мне казалось, что я нахожусь на дне колодца. Сначала я слышал детские рыдания – тихие, полные такого безысходного горя, что сразу заledenело сердце. Когда глаза немного привыкли к полумраку, я стал различать фигуры женщин и мужчин, подвешенные вниз головой к крюкам на потолке. Вокруг, в крови и блевотине, сидели дети с лицами сопливыми, грязными, опухшими от слез, и смотрели на муки своих родителей. В подземелье устоялся смрадный запах гнили и гноя. Выдержать этого я не мог – меня сразу вывернуло наизнанку..."

Всё Марокко, как сыпью, покрыто такими тюрьмами... Король сам разработал ассортимент из семи разновидностей пыток, символизирующий семь кругов ада. Человек образованный, Хасан хорошо знал творение великого флорентийца...

Несчастных сначала просто били железными прутьями. Потом подвешивали за ноги к потолку. Потом погружали их головы в чан с

мочой, пропускали ток через половые органы, вырезали на теле узоры и посыпали их солью – ну, и так далее. Интересующихся подробностями отсылаю к хорошо аргументированной книге французского журналиста Жилия Перро "Наш друг король", вышедшей в Париже десять лет назад.

Придя к власти, Хасан начал с того, что ввел в стране конституцию. Этого добивались все радикальные партии, сотрудничавшие еще с его отцом. Марокканской интеллигенции казалось вполне возможным создание некоей оптимальной модели государственного устройства путем синтеза ислама, социализма и конституционной монархии. Хасан не возражал. Нанятые французские юристы состряпали именно то, что ему хотелось. Сквозь шелуху красивых слов явственно проступала суть хасановской конституции. В качестве повелителя правоверных и верховного главнокомандующего король получал ничем не ограниченные полномочия. Его власть становилась абсолютной.

Оппозиция, ожидавшая вовсе не этого, летом 1963 года вывела людей на улицы, организовала демонстрации протеста. Король был к этому готов. Демонстрантов расстреливали из пулеметов, давили танками. Лидеры и активисты крупнейшей оппозиционной партии "Национальный союз народного фронта" были арестованы и прошли через все семь кругов уже описанного нами ада.

Но вождь марокканской оппозиции Мехди Бен-Барка – в прошлом советник султана Мухаммеда, учивший маленького Хасана математике, – сумел ускользнуть. Послушный королевской воле суд заочно приговорил Бен-Барку к смертной казни, а тот преспокойно разъезжал по всему миру и призывал к бойкоту антинародного режима в Марокко.

Бен-Барка, ставший со временем видной фигурой в "третьем мире", открыто поддержал Алжир в его пограничном конфликте с Марокко. А когда в марте 1965 года Марокко вновь потрясла волна демонстраций, король счел, что и это дело рук Бен-Барки, хотя демонстранты требовали на сей раз хлеба, а не конституции. Король потерял сон и аппетит. Он даже перестал читать французские газеты, – какую не откроешь, – всюду красуется ненавистное имя. Наконец, Хасан дал понять своему министру внутренних дел и начальнику секретной службы генералу Мухаммеду Офкиру, что не будет сожалеть о смерти бывшего своего учителя.

Мухаммед Офкир был старым солдатом. Воевал в Индокитае, а потом сражался против Франции бок о бок со своим повелителем и другом султаном Мухаммедом. Умирая, Мухаммед попросил Офкира никогда не покидать его сына. Хотя характер Хасана вызывал у него отвращение, Офкир дал слово и долго держал его, несмотря ни на что. Ему было присуще стремление к самоутверждению – этой высшей мере человеческих ценностей. Когда она не сочетается с воображением, человек превращается в орудие чужой воли, не слишком, впрочем, надежное.

Отвечая за внутреннюю безопасность, Офкир выполнял самые жестокие приказы Хасана и был прозван "королевским палачом". Худой, бесстрастный, с узким костлявым лицом и тонкими губами,

он, казалось, был начисто лишен эмоций. Редко кто мог выдержать его тяжелый взгляд.

Королевское поручение Офкира не обрадовало. Он хорошо знал Бен-Барку и относился к нему с уважением. Но приказ есть приказ.

* * *

Мухаммед Офкир встретился с Меиром Амитом в кафе на Монмартре, в отдельном кабинете, где не бывает случайных посетителей, и по-солдатски четко изложил израильтянину суть дела.

– Король, – сказал Офкир, – желает, чтобы он исчез, а добиться этого можно одним-единственным способом. Мы бы не обратились к вам, генерал, если бы наша разведка не была такой слабой. Но мы даже не знаем, где сейчас находится Бен-Барка. А вы знаете.

Амит нахмурился. Он действительно знал. В последний год Бен-Барка стал налаживать тесные связи с палестинскими террористами и привлечь к себе внимание Мосада.

– Мы такими делами не занимаемся, – резко произнес Амит. – Вам придется обойтись без нашего содействия. Обратитесь к СДИСИ – французской военной разведке. Бен-Барка якшается с алжирцами, а это достаточная причина, чтобы французы вам помогли.

– СДИСИ не захочет иметь с нами дела. Нам без вас не справиться – вы это знаете. И вы должны нам помочь.

– Вы просите невозможного, генерал, – уже раздраженно ответил Амит. – Да вы хоть себе представляете, какой скандал разразится, если об этом пронохают? Пострадает репутация моей страны. Полетит моя голова...

– Не пронохают, – упрямо сказал Офкир и, помолчав, добавил, придав своему голосу не свойственную ему мягкость:

– Генерал, как вы думаете, что сделает король, узнав, что вы отказались нам помочь? Он прикажет разорвать с вами все связи, налаженные с таким трудом. Мне бы этого не хотелось. Подумайте, прошу вас...

– Да и я не хочу этого, – пожал плечами Амит.

Вышколенный официант принес турецкий кофе, сваренный по особому рецепту. Офкир с наслаждением закурил тонкую сигару с золотым ободком.

Амит задумался. Отправляясь на эту встречу, он внимательно просмотрел досье на Бен-Барку:

"Моральное влияние, возвышающее его над другими людьми, Бен-Барка ценит выше, чем власть. Блестящий публицист, умный и тонкий собеседник, человек по натуре мягкий и добрый, он часто выступает в роли третейского судьи, улаживая неизбежные в пестром конгломерате "третьего мира" ссоры и конфликты. С его мнением считаются. К его словам прислушиваются. Его бескорыстием восхищаются. Он искренне ненавидит колониализм, империалистических хищников, восточных царьков и деспотов – "угнетателей народов", и очень дорожит своей ролью нравственного арбитра и учителя. Постепенно, помимо его желания, эта роль стала ему

важнее даже, чем освобождение угнетенных, чей дух, как ему кажется, он выражает.

Бен-Барка верит и в социализм, и в Аллаха. Его бескорыстие и аскетическая жизнь давно перестали быть естественной потребностью души, превратившись в источник, питающий честолюбие и гордыню. Но он даже самому себе никогда не признается в этом.

Как политику, ему присущ реализм мышления, контролирующий эмоциональные порывы. В последние годы его солидарность с террористическими левыми группировками всех мастей стала абсолютной. "Террор, направленный против угнетателей, укрепляет веру народа в свои силы", – поучает Бен-Барка, хотя сам лично не выносит вида крови и человеческих страданий. В последнее же время он все чаще выступает в роли палестинского адвоката на международной арене. Бен-Барка играет свою биографию, как актер заученную роль. Для Израиля он сегодня не представляет угрозы, но может стать опасным в будущем..."

Перебрав все это в памяти, Амит принял решение:

– Генерал Офкир, – сказал он официальным тоном, – мы поможем вам, но до известного предела. Бен-Барка проживает в Женеве у своих марокканских друзей. Его надо заманить в Париж, где к операции подключатся сотрудники СДИСИ. Они задержат Бен-Барку и передадут его вашим людям. Об этом мы позаботимся, но что будет с Бен-Баркой потом – нас не касается. Мы не принимаем участия в политических убийствах.

Амит говорил уверенно, но на душе у него было беспокойно. Впервые за всю свою карьеру он не был убежден в правильности принятого решения.

Офкир улыбнулся:

– Благодарю вас, генерал Амит, от имени короля. Я полностью удовлетворен и доложу Его величеству о том, какую услугу вы нам оказываете. А сейчас, если вы не возражаете, перейдем к обсуждению других наших общих дел...

Два респектабельных джентльмена проговорили еще около часа и разошлись, оставив на столике щедрые чаевые.

* * *

Бен-Барка прилетел из Женевы в Париж 28 октября 1965 года рано утром. Выйдя из здания аэропорта Орли, взял такси и отправился в квартал Сен-Жермен де Пре, где бывал и прежде. Ему нравился этот оплот политических бунтарей и художников-авангардистов, окрашивающий в веселые тона самые мрачные события. Каждый раз, посещая Сен-Жермен, Бен-Барка с благодарностью чувствовал, как отступает и растворяется изнуряющая тоска, всюду сопровождавшая его в последние месяцы. Сейчас он приехал сюда, чтобы встретиться с режиссером Жоржем Фаранжю и обсудить с ним проект постановки антиколониального фильма.

А вот и улица Брассери Липп. Вот и особняк Фаранжю, увитый плющом. Мехди Бен-Барка отпустил такси и направился к калитке,

где его уже ждали трое в плащах – блестящих и гладких, как чехлы музыкальных инструментов.

– Месье Бен-Барка? – спросил один из них показывая удостоверение сотрудника СДИСИ.

– Он самый. А в чем дело, господа? – Переполнявшая Бен-Барку радость жизни сразу потускнела.

– Вам придется проехать с нами. Наш начальник желает задать вам пару вопросов. Да не беспокойтесь, – это не надолго, – сказал самый тощий в этой тройке, по-видимому, главный.

– А я и не беспокоюсь.

Бен-Барка еще ничего не понимал, а рядом уже застыл черный "Ситроен". Его вежливо, но твердо взяли за руки. И вот он уже в машине. Зажат между двумя в плащах. Один из них впился пальцами в его колено. Второй вдавил дуло пистолета прямо в ребра.

Бен-Барка закричал, рванулся – и обмяк от сильного удара по голове. А машина свернула в предместье Фонтан-ле-Виконт, въехала в распахнутые ворота виллы, принадлежавшей Жоржу Бушесейше – владельцу знатных заведений в Париже и в Рабате. Жорж, которому хорошо заплатили, играл в это время в казино в Монако.

На вилле Бен-Барку ожидали десять молчаливых, решительных парней из отборной "гвардии" Жоржа Бушесейше. Храбрость, злость и преданность сочетаются у таких людей с полным отсутствием каких-либо представлений о чести и собственном достоинстве.

Очнулся Бен-Барка в подвале на полу. Голова раскалывалась – пульсирующая в висках кровь причиняла нестерпимую боль. Было темно, но постепенно мрак стал рассеиваться. Из маленького решетчатого окошка у самого потолка струился слабый свет. Бен-Барка вглядывался в него до рези в глазах, до тех пор, пока из полумрака не послышался смехок. Перед ним замаячило скуластое лицо – добродушное, внушающее доверие. Но что-то хитрое было в прищуре глаз, а губы скривила лицемерная усмешка.

Хасан... Мальчик, которого он учил когда-то математике. Могушественный враг, выбрасывающий его из мироздания, как мертвеца или безумца...

А света становилось все меньше. Мрак густел, надвигался со всех сторон. Бен-Барка понял, что это не свет уходит, а его жизнь. И закричал. Истощенный вопль тянулся долго-долго, пока хватило дыхания. И наступила тишина, которую больше ничто не нарушало...

* * *

Когда прилетевший из Марокко Мухаммед Офкир спустился в подвал с двумя своими людьми, Бен-Барка, уже полностью овладевший собой, встретил своего палача спокойно, с достоинством.

– Вы приехали насладиться моими страданиями? – спросил он у генерала, застывшего часовым у железной двери.

– Нет, – ответил Офкир. – Просто я должен сообщить вам, что

как человек король вас прощает, но как глава государства он обязан проследить, чтобы вынесенный вам смертный приговор был приведен в исполнение.

– Ваш король – это кровавый гнойник, да и вы не лучше, раз служите ему с таким усердием.

В голосе Бен-Барки не было даже гнева. Лишь отрешенность человека, оставшегося наедине со смертью.

Резко повернувшись, Офкир вышел. Минут пять постоял у входа. Закурил тонкую сигару с золотым ободком. Когда сзади возникли два силуэта, не оборачиваясь, бросил: – Заройте его где-нибудь здесь, в саду...

МЕСТЬ ДЕ ГОЛЛЯ

Исчезновение Бен-Барки вызвало во Франции грандиозный скандал. Как это так – человек уважаемый, талантливый, известный, один из лидеров "третьего мира", – приезжает в Париж и бесследно исчезает. Впрочем, не так уж бесследно. Кто-то видел, как Бен-Барку затаскивали в машину, и записал ее номер. Выяснилось, что это машина СДИСИ. Левая пресса неистовствовала, обвиняя правительство в причастности к похищению и убийству влиятельного политика.

Атмосфера в те дни во Франции была тревожная. Левые и правые, прекратив на время грызню между собой, обрушились на правительство. Скандал достиг апогея, когда в него вмешался сам президент Де Голль. Узнав, что СДИСИ принимала участие в никем не санкционированном деле, он впал в ярость и открыто обвинил своих противников в армии и в военной разведке в том, что они все еще пытаются подорвать его авторитет и дестабилизировать всю систему управления страной.

"Есть еще ничтожные людишки, считающие меня глупцом, – заявил Де Голль на заседании своего кабинета, – я с ними сквитуюсь".

По распоряжению президента была создана специальная следственная группа, быстро высветлившая многие обстоятельства этой скандальной истории. Через полгода французский суд признал Офкира виновным в преднамеренном убийстве и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Дипломатические отношения между Марокко и Францией были разорваны. Де Голль воспользовался представившейся возможностью и провел основательную чистку в СДИСИ и в армии.

К тому же, президенту стало известно, что к похищению Бен-Барки причастен Израиль. Это было хуже всего...

* * *

Между Де Голлем и Францией никогда не было посредников. Социализм, капитализм и прочие "измы" его не интересовали. Для него существовала только Франция. В 1940 году, когда Франция, раздавленная, потерявшая надежду, погрузилась в крошечную

ночь, этот человек сказал удивленному миру: "Франция существует". Тогда в это никто не поверил. Никто, кроме Франции. Эренбург, возненавидевший генерала за отказ с ним встретиться, тем не менее, говорил: " В Москве казалось, что Франция следует за ним на расстоянии трех шагов, подобно мусульманской супруге".

Во Францию он верил беспредельно, и Франция была ему за это благодарна. Она сама верила в себя куда меньше. Интересы нации были для Де Голля высшим законом. В этом смысле генерал больше походил на главу религиозного ордена, чем на политика. Его позиция всегда была символом веры. Те, кто этой позиции не принимали, — отвергали тем самым и его. Он сказал Черчиллю: "Если я не Франция, то что я делаю у вас в кабинете"?

По этой причине с Черчиллем и Рузвельтом у него было меньше взаимопонимания, чем со Сталиным. Черчилль и Рузвельт считали, что Франции больше не существует, а Сталин сразу понял, что этот человек носит Францию внутри себя. Сталину-то было ясно, что Франция перестала что-либо значить только в военном отношении, — совсем как Россия после Брест-Литовского договора. Сила, которую Сталин интуитивно почувствовал в Де Голле, ему импонировала, хоть и была она совсем не от дьявола.

Андре Мальро вспоминает одну поразившую его фразу генерала: "Даже если доводы, которые коммунизм предлагает русским, чтобы они верили в Россию, не стоят выеденного яйца, он необходим, потому что он их предлагает".

Когда Де Голль встретился со Сталиным в 1944 году, тот, по словам генерала, напоминал старого полковника жандармерии, интересующегося в равной степени и окружающим миром, и своими усами. Переговоры зашли в тупик, потому что Де Голль отказался признать созданное в Люблине просоветское польское правительство. "Вы упрямы, — сказал Сталин, — это хорошо". И вышел.

Ночью Де Голля разбудили. "Маршал Сталин будет демонстрировать для вас фильм", — сказал офицер охраны. Генерал спустился в кинозал. Фильм оказался типичной советской агиткой того времени. Крупным планом падали немецкие солдаты под огнем советских батарей. И всякий раз в наиболее патетических местах пальцы Сталина впивались в бедро генерала. "Когда я решил, что с меня хватит синяков, то убрал ногу", — вспоминает Де Голль. Сталинская пятерня надолго отпечаталась на его бедре. Зато на следующий день франко-советский договор был подписан в том виде, в каком хотел генерал Де Голль.

После войны Де Голль вынужден был уйти, потому что предложенная им реформа системы власти не была принята. Народ отказался от нее, как капризный больной ребенок от горького лекарства.

На целых десять лет закрылся генерал в своем поместье, пока, наконец, в 1958 году, изнуренная чехардой сменяющихся правительств, алжирской войной и прочими неурядицами, Франция не призвала его вернуться.

Хорошо изучивший алжирскую проблему, Де Голль закрыл колониальную страницу во французской истории, заявив на заседа-

нии своего кабинета: "Интересы Франции и интересы французских колонистов в Алжире больше не совпадают". Все было кончено.

Но в 1961 году французские генералы создали секретную вооруженную организацию ОАС, чтобы не допустить предоставления Алжиру государственной независимости. Оасовцы начали опасную игру, ставками в которой были их жизни и голова Де Голля.

* * *

В марте 1961 года один израильский политический деятель был приглашен в гости к полковнику ОАС в Париже. Немолодой уже полковник относился к разряду тайно пьющих. Помятое лицо, устоявшаяся тоскливая растерянность в глазах. К вечеру он обычно находился в той стадии, когда на время стимулируется работа сознания, а голос приобретает оттенок энергии и страсти.

С места в карьер он сообщил изумленному израильтянину, что близок час военного путча. Президент Де Голль, предавший французский Алжир, должен погибнуть, и лучше всего, чтобы его убийцей стал какой-нибудь араб из Израиля. Тогда убийство можно будет свалить на Фронт национального освобождения Алжира. Военные же, придя к власти, не забудут Израилю этой услуги. "Вы получите наше оружие, нашу политическую поддержку и нашу вечную дружбу. Нам же нужен только ваш "шакал", — закончил полковник. Израильский гость пообещал довести это предложение до сведения своего правительства. И довел.

Бен-Гурион, узнав об этом, приказал израильскому послу в Париже Вальтеру Эйтану немедленно проинформировать Де Голля о готовящемся военном заговоре. Де Голль, своевременно принявший меры, поблагодарил Бен-Гуриона личным письмом. В том же году Бен-Гурион прибыл с визитом во Францию, где президент встретил его с искренней сердечностью.

В то время Де Голль прекрасно относился к Израилю. Создание еврейского государства он назвал одним из величайших исторических событий 20-го века. Согласно его желанию, Франция щедро снабжала Израиль оружием и поддерживала с ним тесные контакты во всех сферах.

Поэтому, узнав о роли Мосада в деле Бен-Барки, Де Голль был поражен израильской неблагодарностью. Он решил, что Израиль тайно сотрудничает с ОАС и плетет козни против его режима, действуя на территории Франции нелегальными методами. Все это президент воспринял как личное оскорбление. Помня об израильской услуге, Де Голль не предал гласности участие Мосада в похищении Бен-Барки. Но решив, что он тем самым вернул Израилю свой долг, стал мстить ему с изобретательной изощренностью.

На поставки Израилю французского вооружения было наложено эмбарго. Франция взяла курс на сближение с арабскими странами и стала последовательно проводить антиизраильскую политику. До самого конца пребывания Де Голля у власти ощущал на себе Израиль его мстительный гнев...

ХАРЕЛЬ ПРОТИВ АМИТА

Скандал, разразившийся во Франции в связи с делом Бен-Барки, явился для начальника Мосада полной неожиданностью. Под угрозой оказалась не только репутация израильской разведки, но и всей страны. Меир Амит, понявший свою ошибку, не стал сожалеть о пролитом молоке и сделал все возможное, чтобы не выпустить джинна из бутылки. Агенты Мосада, участвовавшие в операции, поклялись молчать. Были у Амита и средства, чтобы принудить к молчанию не только марокканцев, но и сотрудников французской военной разведки, лихорадочно заматавших следы своей причастности к афере, вызвавшей гнев Де Голля. Все люди СДИСИ, участвовавшие в захвате Бен-Барки, навсегда исчезли таинственным образом.

Хуже обстояли дела в самом Израиле. 2 ноября – всего через три дня после убийства Бен-Барки, – в стране состоялись парламентские выборы. Правящая партия МАПАЙ победила, но созданный Бен-Гурионом список РАФИ получил в Кнессете 10 мест и стал весьма влиятельной оппозицией.

Старик умел "доставать" своих противников, и Эшколь постоянно был во взвинченном состоянии. А тут еще Харель, узнавший от своих людей в Мосаде кое-какие пикантности о деле Бен-Барки, явился к Эшколю со скандальным докладом, завершившимся гневной тирадой: "Мосад пошел на политическое убийство, совершенно ненужное Израилю, выступил, по сути, в роли наемника страны, являющейся неотъемлемой частью враждебного нам мира. Не говоря уже о попранных Амитом этических принципах, его действия могут иметь самые тяжелые последствия для нашего государства. Я считаю, что начальник Мосада, проявивший такую преступную безответственность, должен уйти. У Амита нет и не может быть никаких оправданий, кроме одного. И я спрашиваю вас, г-н премьер-министр: – Вы санкционировали эту операцию?"

Харель ждал ответа. Эшколь смешался. Дела разведки его совершенно не интересовали, но он смутно помнил, как Амит пытался ему сообщить что-то, связанное с Марокко, а он куда-то спешил и уже в дверях сказал начальнику Мосада: "Поступай, как считаешь нужным". Но кто же мог знать, что из всего этого получится?

И под пристальным взглядом Хареля Эшколь твердо сказал: "Мне ничего не было известно о деле Бен-Барки. Я прошу вас тщательно расследовать эту кошмарную историю и доложить мне о результатах".

Харель такое расследование провел и вновь пришел к выводу, что Меир Амит обязан подать в отставку, а вместе с ним и премьер-министр.

На помощь Эшколю поспешили все его партийные коллеги. Было ясно, что если общественность узнает о деле Бен-Барки, то карьера Эшколя закончится, а авторитету партии МАПАЙ будет причинен непоправимый ущерб. Доклад Хареля был положен под сукно, причем от него категорически потребовали обо всем забыть,

и как можно скорее. Конечно, лучше всего было бы отправить начальника Мосада в отставку. Но Бен-Гурион и его партия угрожали скандалом и правительственным кризисом в случае снятия Амита. Эшколю пришлось опять уступить. Тогда в отставку подал измученный, негодующий Харель.

Меир Амит выиграл и эту войну. И слава Богу. При нем Мосад почти не знал неудач, не ведал поражений. Списку его достижений могла позавидовать любая разведка. Это Мосад организовал в 1966 году угон из Ирака советского истребителя МИГ-21, считавшегося тогда лучшим в мире. Два года спустя агенты Мосада сумели заполучить чертежи французского истребителя "Мираж", на основе которых был создан боевой самолет "Кфир" – рабочая лошадка израильских ВВС. Еще через год израильская разведка осуществила операцию "Ноев ковчег", в результате которой из порта Шербур были угнаны французские ракетные катера, построенные специально по заказу Израиля. Катера удерживались Францией из-за наложенного президентом Де Голлем эмбарго. За них было уже заплачено, так что в Мосаде никто не испытывал угрызений совести.

Подобных операций были десятки, но подлинный триумф израильской разведки приходится на Шестидневную войну. Благодаря разведке в израильском штабе знали о противнике абсолютно все: оперативные планы, дислокацию войск, местонахождение аэродромов, баз, складов и даже личные данные и психологические характеристики полевых командиров. К тому же, Амит и Ярив довели до совершенства искусство дезинформации противника.

Король Хусейн, например, вступил в войну лишь потому, что получал депеши о боях в Синае не из Каира, как он думал, а из Тель-Авива. Радиопослания из Каира в Амман перехватывались и заменялись другими. Король, уверенный, что египтяне побеждают, поспешил к дележу добычи. Дальнейшее – известно.

Триумф Меира Амита был абсолютным. Но ему не простили былой близости к Бен-Гуриону и дела Бен-Барки, испортившего многим влиятельным лицам столько крови. Был проведен специальный закон, ограничивающий срок пребывания в должности начальника Мосада пятью годами, и в начале 1969 года Амит вынужден был уйти из разведки навсегда. Дальше начинается совсем другая история...

Нам же осталось, бросив прощальный взгляд на актеров этой драмы, рассказать о завершившем ее трагическом аккорде.

КОРОЛЬ И ЕГО ПАЛАЧ

Докладывая Хасану о ликвидации Бен-Барки, генерал Офкир был мрачен, угрюм. Заметивший это Хасан спросил удивленно:

- Ты разве не рад тому, что оказал мне большую услугу?
- Я солдат, и предпочел бы служить Вашему величеству на поле брани, – ответил генерал.
- Именно это ты и делаешь, уничтожая моих врагов, – усмех-

нулся король. Офкир склонил голову в знак покорности королевской воле.

Он был солдатом старой школы и привык слепо повиноваться приказам. Но что-то надломилось в его душе после убийства Бен-Барки. Он стал рассеянным, странным. Все реже посещал королевские пирушки, ссылаясь на занятость. Но обязанности свои исполнял по-прежнему безупречно. Король назначил его министром безопасности, и, после Хасана, он стал самым влиятельным человеком в государстве. Его ненавидели и боялись. "Королевский палач", – говорили за его спиной со страхом и презрением.

Экономическое положение страны тем временем становилось все хуже. Задавленный тяжелыми поборами народ не раз пытался бунтовать, но толпы, заполнявшие улицы в безмерном возбуждении, рассеивались королевскими войсками. Недовольство зрело и в армии. Наконец, министр обороны генерал Мадбух – старый боевой товарищ Офкира, сражавшийся вместе с ним под Дьенбьенфу, сам возглавил военный заговор.

Участвовавшие в нем генералы и полковники отличались не только мужеством, но и легкомыслием. Им казалось, что достаточно бросить клич, чтобы его магическая сила воспламенила всё Марокко. Заговорщики ничего не сделали, чтобы обеспечить себе поддержку, и даже не подготовили надежного ударного отряда. А зачем? Они ведь не сражаться хотели, а взять власть. Они даже не намеревались казнить короля, считая достаточным отправить его куда-нибудь в ссылку.

Вечером 10 июля 1971 года две группы заговорщиков ворвались во дворец, где король устроил грандиозный банкет по случаю своего дня рождения. Одна группа хладнокровно расстреляла несколько десятков человек под вспышки огненных снопов фейерверка, вспарывавших небо. Вторая группа ворвалась в комнату на втором этаже, где король готовился к торжественному выходу. Хасан, одетый по-европейски, во фраке с белым галстуком и цветком в петлице, встретил заговорщиков с обезоруживающим спокойствием.

– Вы хотите убить повелителя правоверных? – спросил он кротко. Растерявшийся командир отряда – молодой лейтенант – проворчал почти с отчаянием:

– Нам приказано арестовать Вас, Ваше величество, но теперь я понял, что мы не в состоянии этот приказ исполнить.

– Ваше имя и звание? – уже резко произнес король.

– Лейтенант Сидки Азиз.

– Полковник Сидки Азиз, я приказываю вам немедленно арестовать всех заговорщиков – врагов государства.

– Будет исполнено, Ваше величество.

И все закончилось. Мятеж был расколот и подавлен. Всех заговорщиков схватили и казнили после нечеловеческих мучений.

Мухаммед Офкир не принимал участия в заговоре, и звезда его засияла еще ярче. Король назначил его главнокомандующим, осыпал милостями. Офкир же стал еще угрюмей.

* * *

16 августа 1972 года король Хасан возвращался на своем личном "Боинге" домой из отпуска во Франции. Королевский пилот Мухаммед Кабадж очень удивился, когда внезапно прямо перед ним возникли пять истребителей марокканских ВВС. Пилот знал, что не должно быть сейчас никакого эскорта. Прежде, чем он осознал, что происходит, истребители прошли корпус королевского лайнера пулеметными очередями. Трое королевских слуг были убиты, но король не пострадал. Не потерявший присутствия духа пилот сообщил в диспетчерский пункт: – Король убит. Прошу немедленно прекратить огонь. Повторяю, король убит... Через несколько секунд истребители растворились в синеве неба.

Каким-то чудом королевскому пилоту удалось благополучно посадить поврежденный лайнер. Встречавшие, увидев коренастую фигуру своего повелителя, молча опустились на колени.

Офкира среди них не было. Гвардейцев короля, пришедших его арестовать, он встретил с пистолетом в руке и был сражен автоматной очередью.

Узнав об этом, Хасан воскликнул в ярости: "Предатель ускользнул от меня". Немного успокоившись, добавил: "Но его семья, хвала Аллаху, осталась..."

Вдову Офкира Фатиму и шестерых его детей взяли той же ночью. Даже виллу своего бывшего министра король приказал сровнять с землей.

Месть этой семье выделяется в свитке королевских злодеяний жестокостью особого рода, в которой нет уже ничего человеческого.

Старший сын Офкира Рауф был очень похож на отца, и король велел изуродовать его лицо до неузнаваемости.

До 1974 года семья содержалась в изоляции в двух крохотных подвальных комнатах где-то далеко на юге, в пустынной местности, но несчастные хоть были вместе.

Королевский гнев, однако, лишь крепчал с годами.

В 1977 году, – спустя шесть лет после ареста, – членов этой семьи разлучили, – лишь младшему, восьмилетнему Абдалле Латифу разрешено было остаться с матерью. Остальные были заточены в одиночных камерах с земляным полом, без окон, с ямой в углу, служащей парашей. Раз в день узники получали хлеб с водой и сардины. Это меню никогда не менялось. Раз в неделю в камеру врывались тюремщики и делали обыск, сопровождавшийся избиениями. Так продолжалось девять лет. Двое братьев сошли с ума. Мать Фатима перерезала себе жилы ножницами, но ее успели спасти.

Когда влиятельные люди, – не марокканцы, конечно, – пытались добиться у короля смягчения участи страдальцев, Хасан говорил: "Я еще не простил Офкира..."

Лишь в 1984 году, – после тринадцати лет заточения, – король разрешил несколько улучшить условия их содержания.

В 1987 году Мелика Офкир и трое ее братьев сумели обмануть

бдительность тюремщиков и бежали. Мелике было всего 18 лет, когда ее арестовали. Тогда она блистала на королевских балах, и отпрыски самых знатных марокканских семей добивались ее руки. Теперь это был обтянутый кожей скелет в лохмотьях.

Проскитавшись несколько дней без крова и пищи, Мелика и ее братья добрались до Танжера и постучались в дом, где проживали старинные отцовские друзья. Там их приютили, накормили, а потом позвонили в полицию и сказали: "Приезжайте и заберите их. Мы верные слуги Его величества и не укрываем государственных преступников". Несчастные вновь исчезли в той самой клоаке, откуда так ненадолго выбрались на свет божий.

История эта наделала много шума. Международные организации, влиятельные общественные и государственные деятели многих стран стали надоедать королю просьбами об освобождении достаточно уже пострадавших людей. "Я еще не простил Офкира", — неизменно отвечал король.

Хасан очень хотел, чтобы во Франции состоялась Неделя Марокко, с ярмаркой, выставкой, рекламой марокканских товаров и грандиозным благотворительным вечером в Париже с участием самого короля и президента Франции. Французское правительство согласилось, но при условии, что семья Офкира будет освобождена. "Я еще не простил Офкира", — произнес король и отказался от заманчивой идеи.

* * *

Меир Амит по-настоящему чтит только один праздник — День независимости Израиля. Для Амита это не просто праздник, а ритуал. То же самое, что парад на Красной площади для старых большевиков. Каждый год в этот день на феерический пикник в большом саду его дома на улице Арлозоров в Рамат-Гане съезжаются гости со всей страны. Количество приглашенных всегда одно: тысяча человек. В эту когорту, ассоциирующуюся с "тысячей краснорубашечников" Гарибальди, входят только личные друзья хозяина. Большинство из них — люди красивые, хорошо устроенные, влиятельные. Костяк уходящего поколения, отстоявшего и построившего еврейское государство. Они собираются у Амита с чувством, что вот, мы все еще здесь и держим руку на пульсе жизни. Но редуют их ряды. Государство уже не с ними. Совсем скоро уже исчезнет этот элитарный закрытый клуб старой израильской аристократии духа и действия. Ну, а пока... В праздничную ночь не смолкает музыка у Меира Амита, в темноте мерцают красные всплески костров. Пожилые люди жарят на трепещущем пламени мясо и поют песни своей юности. А где-то высоко над их головами равнодушно сияют белые звезды...

Маша Тольцман

ИВАН БУНИН И ДАВИД ШОР В ИЕРУСАЛИМЕ

В мае 1907 года И. А. Бунин и В. Н. Муромцева посетили Палестину. С этого путешествия началась их совместная жизнь (очень, впрочем, непростая).

В "Розе Иерихона" Бунин писал: "Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершил я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством в святую землю Господа нашего Иисуса Христа".

Путешествие подробно описано в мемуарах Веры Муромцевой "Беседы с памятью", а также упоминается в дневнике самого писателя.

В Национальной библиотеке в Иерусалиме в архиве семьи Шор хранятся отрывочные воспоминания еще одного участника этой поездки – музыканта Давида Шора¹. Они записаны в августе 1924 года.

Шор родился в Симферополе в 1867 году – он всего на три года старше Бунина. В 1907 году это уже известный в Москве пианист, один из участников знаменитого трио – Д. Шор, Д. Крейн (скрипка), Р. Эрлих (виолончель), – дававшего концерты не только в России, но и в Европе.

Шор ехал со своим отцом, мечтавшим на закате жизни увидеть еврейские святыни. Встретились Бунины с Шорами на пароходе, шедшем из Александрии в Яффо.

"Пароход был маленький, непонятной национальности, – пишет Вера Николаевна. – Во втором классе нам удалось получить отдельную каюту, довольно нелепой формы, выходящую в столовую. Быстро, как всегда, Ян разместил вещи и мы вышли. В столовой увидели очень знакомое лицо человека, о чем-то хлопотавшего.

– Мне кажется, это русский, – шопотом сказал Ян, – пойдем отсюда.

"В Александрии я предполагал сначала остановиться, – вспоминает Шор, – но, проведя в ней несколько часов, настойчиво решил двинуться дальше. Мы сели на новый пароход. За обедом, у общего стола, мое внимание привлекла русская пара. Она – молоденькая, миловидная женщина, он постарше, несколько желчный и беспокойный человек. Когда старый отец мой за столом выказывал совершенно естественное внимание своей молодой соседке, я чувствовал, что муж ее как будто недоволен. После обеда я сказал отцу, что обыкновенно русские путешественники не лю-

¹ Биографический материал о Шоре и сведения о его дневнике сообщены Еленой Салямон, которой приношу свою глубочайшую благодарность.

бят встречаться с земляками, и нам лучше держаться в стороне...

Каждый раз, что я попадал на новый пароход, я тотчас же разыскивал инструмент, на котором можно было бы поиграть. На этом пароходе пианино стояло в маленькой каюте около капитанской вышки. [...] Я открыл пианино и сел играть. Минут через пять кто-то вошел. Я сидел спиной к двери, не видел вошедшего, но почувствовал, что это наш русский путешественник. Я продолжал играть, как будто никого в каюте не было, и когда минут через 20–30 я встал, чтобы уйти, он меня остановил со словами: "Вы – Шор, я – Бунин". Таким образом состоялось мое знакомство с писателем, которого я сравнительно мало знал по его сочинениям".

Знакомство состоялось и даже сыграло злую шутку с писателем. "Когда мы высадились в Яффе, – пишет в своих воспоминаниях Вера Николаевна, – то наши паспорта были отданы вместе с паспортами Шоров, а взамен их нам были вручены какие-то розовые билеты, которые, как оказалось, выдавались только евреям, не имевшим полной свободы передвижения".

Репатриация евреев в Палестину в начале XX века достигла таких размеров, что турецкое правительство приняло решение: евреи, сходявшие на берег, сдавали паспорт, взамен получали документ, по которому им разрешалось находиться в Палестине не дольше трех месяцев. "Красный билет" обязывал явиться через три месяца к месту прибытия и покинуть страну.

Сохранилось свидетельство одного из репатриантов, именно в это время прибывшего в Палестину: "Яффский порт. Шаткий барак на берегу моря. Возле барака стоял Махмуд Эффенди, который забирал паспорта у евреев и вручал им "красный билет". Дело его процветало. Никто не хотел расставаться со своим паспортом по разным причинам, а оставить его у себя можно было только с помощью взятки". Конечно, такое решение проблемы не пришло в голову ни Шору, ни Бунину.

Переночевав в Яффо в еврейском отеле "Kaminitz", Бунины и Шоры на следующий день после обеда отправились в Иерусалим поездом. 90 лет назад такая поездка продолжалась около 4-х часов, с несколькими остановками, на которых покупали у местных апельсины. Из окон вагона впервые открылись писателю так восхитившие его пейзажи :

*Луна зашла. Поет петух в Рамлэ.
И млечной синью горы Иудеи
Свой зыбкий кряж означили во мгле.*

К вечеру были в Иерусалиме. "Новый, какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед вокзалом галдят оборванные извозчики – евреи и арабы. Дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фэзтон, пара кляч в дышле..." (Бунин).

В Иерусалиме поначалу Бунины вместе с Шорами остановились в частном еврейском пансионе. "Он находится в европейской части города, то есть, вне стен Иерусалима, в так называемом Новом Иерусалиме, расположенном на северо-запад от древнего города. [...] Пансион небольшой. Комната наша во втором этаже выходит на какую-то крытую галерею. На притолоке у двери прибита деревянная коротенькая трубочка". (Вера Муромцева)

В том году в Иерусалиме существовали две еврейские гостиницы, в

которых останавливались приезжавшие из-за границы. Одна из них находилась в Новом городе: она принадлежала все той же семье Каминиц. Небольшое двухэтажное здание сохранилось до нашего времени и находится недалеко от площади Давидка, во дворе дома № 70 по ул. Яффо. И сейчас на втором этаже отчетливо видны следы крытой галереи. Гостиница была известна как место встречи приезжавших из диаспоры со знаменитостями еврейской общины. И действительно, Давид Шор во время своего пребывания в городе познакомился с А. Мазе, врачом и общественным деятелем, Элизером Бен-Иехудой, возрождавшим иврит, и основателем израильской художественной школы "Бецалель" Борисом Шацем, о котором он так много и восхищенно рассказывал Буниным, что Вера Николаевна запомнила это имя и упомянула его в своих воспоминаниях(правда, исказив фамилию – Шах).

10 мая 1907 года городская газета "Хашкафа", которую издавал в эти годы Бен-Иехуда, сообщает, что "уже несколько дней в городе гостит Соломон Шор из Симферополя и его сын музыкант Давид. Господин Соломон Шор принадлежит к просветителям прошлого поколения, знаток иврита и ивритской литературы. Его сын Давид Шор – профессор Московской консерватории".

Приехав в город, Бунин обратился в русское консульство за помощью: просил ходатайствовать перед турецкими властями о возвращении паспорта. Консул отказал, иронически заметив, что никаких доказательств нееврейского происхождения Бунина у него нет.

Так Бунины лишились возможности отправиться из Иерусалима в Галилею сухопутным маршрутом вместе с другими христианскими паломниками. Этот "анекдот" (так назвала его В. Н.) определил в какой-то степени характер их путешествия: в отличие от остальных русских паломников в Палестине, Бунины оказались в еврейском окружении.

Помимо христианских святынь, Бунины посетили иудейские и мусульманские. Этому способствовало общение с Шорами. Особое впечатление произвел на Бунина отец Шора, который "как-то хорошо сливался с этой страной и своей религиозной напряженностью давал нам ощущение древней Иудеи", – вспоминала Вера Николаевна.

Вифлеем и его Храм Рождества Христова входил в "обязательный перечень" посещаемых мест, а вот Хеврон русские паломники навещали редко. Гробница праотцев находилась в руках мусульман, и вход в нее был запрещен всем иноверцам, как евреям, так и христианам. Инициатором этой поездки был, разумеется, старший Шор, пожелавший поклониться могилам Авраама и Сары. Город встретил паломников недоброжелательно, мальчишки традиционно швыряли в них камни.

На обратном пути из Хеврона возле гробницы Рахели с ними произошел эпизод, запомнившийся всем.

Запись в дневнике Бунина: "На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками. Но горит, трещит только одна из них. Старик Шор зашел за большую гробницу, беленную мелом, прислонился к стене и начал, качаясь, молиться. Наш извозчик – еврей из Америки. Когда вышли, услышали крик в темноте возле нашей повозки: он чуть не подрался с каким-то проезжим, дико ругался, не обращая ни малейшего внимания на гробницу своей праматери".

Из воспоминаний Муромцевой: "В полной темноте мы издали увидели маленький огонек.

– Это в гробнице Рахили, – объяснил извозчик.

Гробница ее – небольшая белая ротонда под куполом.

Мы обходим кругом; в крошечные окошечки виден свет, кругом тишина, пустынность, звезды. Шор-отец скорбно прислонился левым плечом к стене гробницы...

Вдруг какой-то крик, шум, точно на базаре. Что такое? Какие-то молодые евреи затеяли скандал не то с нашим извозчиком, не то друг с другом. И все ощущение поэзии этого мирного вечера над могилой пра-матери сразу куда-то исчезло. Я взглянула на Яна, лицо его было гневно".

А вот такая запись сохранилась в дневнике Д. Шора: «Несколько случаев в дороге позволили мне ближе приглядеться к Бунину, и я убедился, что в его странностях не мало жестокости и грубости. Я помню нашу поездку в Хеврон к могиле Авраама, Исаака и Якова. Рано утром выехали мы в экипаже из Ерусалима. Нас было с извозчиком шесть человек. Я по обыкновению сидел рядом с кучером. В трех верстах от Ерусалима мы остановились у могилы Рахили. Гробница, в виде домика невзрачного и внутри мало интересного, не привлекала к себе. Осмотрев ее, мы двинулись дальше. В Хевроне местные магометане нас очень недружелюбно встретили градом камней, когда мы близко подошли к могилам, которые они считают своей святыней. Да и могилы представляют груды наваленных камней. На обратном пути нас настигли ранние сумерки и мы ехали почти в темноте. Приближаясь к могиле Рахили, я еще издали заметил, что она вся светится, и это было необычайно красиво и таинственно. Поровнявшись с могилой, мы услышали крик странного человека, бегущего за экипажем. Мы остановились. Оказалось, что это был синагогальный служка, который, узнав накануне о нашей поездке в Хеврон, хотел выказать нам внимание, рано утром пошел к гробнице, но нас уже не застал. К вечеру он зажег лампы и свечи и ждал нас. Мы снова все осмотрели, он помолился у гробницы и мы приготовились ехать дальше. Но тут произошло следующее: трусливый служка отчаянно боялся пуститься темной ночью в путь, а извозчик-американец совершенно основательно заявил, что семь человек он на утомленных лошадях не повезет. Бунин настаивал на том, чтобы мы двинулись дальше, не обращая внимания на несчастного служку. Я воспротивился такой несправедливости и предложил, чтобы экипаж ехал медленно, а я, служка и еще один из наших спутников пойдем пешком. Однако, и на это Бунин не согласился. Он устал и хотел скорее домой. Я отпустил экипаж и пошел со своим спутником пешком. [...] Бунин впоследствии написал прекрасное стихотворение, "Гробница Рахили"».

*И умерла, и схоронил Иаков
Ее в пути... И на гробнице нет
Ни имени, ни надписей, ни знаков.*

*Ночной порой в ней светит слабый свет,
И купол гроба, выбеленный мелом,
Таинственную бледностью одет.*

*Я приближаюсь в сумраке несмелом
И с трепетом целую прах и пыль
На этом камне женственном и белом...*

Сладчайшее из слов земных! Рахиль!

Это стихотворение в 1920 г. было положено на музыку Михаилом Гнесиным, а в 1923 г. переведено на иврит Шаулем Черниховским.

Об этой же поездке идет речь в стихотворении "На пути под Хевроном". По возвращении в Россию Бунин проникновенно опишет свои впечатления и в прозе – в очерке "Иудея".

На следующий день Бунины и Д. Шор отправились к Иордану и на Мертвое море, особенно интересовавшее Веру Николаевну, химика по образованию. Отец Д. Шора остался в Иерусалиме, а вместо него поехал молодой еврей – местный житель, увлеченный идеей орошения и преобразования пустыни в цветущий край.

Целью поездки было посещение христианских мест, и молодой еврей со своими современными идеями только раздражал Бунина, не вписываясь ни в его настроение, ни в те размышления, которые поглощали писателя в это время. Сделав в пути две остановки: в Вифании и у Источника Апостолов – в сумерках путники подъехали к горе Искушения. И здесь Д. Шор заговорил с Верой Николаевной о каком-то искушении, мучившем его в тот период жизни. По-видимому, речь шла об условии получения звания профессора Московской консерватории – переходе в христианство, – которое Шор после этой поездки решительно отклонил, став профессором только после 1917 года.

Ночь провели в Иерихоне, а ранним утром продолжили путь к Иордану и на Мертвое море. Особенно поразил путешественников восход солнца над безмолвными песками. Образы стихотворений "Иерихон" и "Бедуин", прозаических путевых поэм "Пустыня Дьявола" и "Страна Содомская" (первоначальное название "Мертвое море") восходят к этой поездке.

Писателю очень хотелось пожить в Старом городе, и, вернувшись с Мертвого моря, он с женой переехали в отель у Яффских ворот в начале улицы Давида. "Напротив улица Давида: узкий, темный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастерскими и лавками. [...] Как раз возле него – высокий узкий дом, наш отель. [...] Я иду туда, где провожу все вечера, – на крышу. Иду по внутренним и наружным лестницам, на одном повороте останавливаюсь: за окном подо мной – громадный "водоем пророка Иезекии" (дневник И. Бунина).

"Я жил как раз у Яффских ворот, в узком высоком доме, слитом с другими домами, по левую сторону той небольшой площади, от которой идет ступенчатая "Улица царя Давида" – темный, крытый где холстами, а где древними сводами ход между такими же древними мастерскими лавками" ("Весной в Иудее").

По этому описанию, а также по воспоминаниям Веры Николаевны можно без труда узнать отель "Центральный", принадлежавший И. Амдурскому, отец которого приехал с Украины в 40-х годах прошлого века.

В небольшой брошюре Ш. Захарии "Первые отели и их владельцы в Иерусалиме" читаем: "Отель И. Амдурского "Центральный" находился на площади с левой стороны, в начале улицы Давида. Сегодня в этом здании разместился отель "Петра". [...] Окна отеля, обращенные к востоку, смотрят на пруд Хизкияху".

Параллельно с совместными поездками Буниных и Шоров в Вифлеем и Хеврон, к Иордану и на Мертвое море Д. Шор успевает дать два частных фортепианных концерта в домах доктора Мазе и семьи Рабинович, а также концерт в театре "Олимпия", прошедший с большим успехом, о чем писала газета "Хашкафа" 14 мая 1907 года. Бунины на этом концерте

не присутствовали, и писатель вообще не воспринимал новый Иерусалим. Не то, чтобы его острый взгляд не замечал примет современной жизни, о чем свидетельствуют вскользь брошенные фразы в первой редакции очерка "Иудея": "Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида" или: евреи "бегают по родным и знакомым, с жадностью ловят вести о своих палестинских колониях." Просто они мешали Бунину-художнику: ему хотелось погрузиться в библейские эпизоды, он наслаждался дикой природой окрестностей. С крыши их нового отеля открывался прекрасный вид, воспетый Буниным в стихотворениях "Долина Иосафата" и "Иерусалим":

*В полдень был я на кровле. Кругом, подо мной,
Тоже кровлей, – единой, сплошной,
Желто-розовой, точно песок, – возлежал
Древний город и зноем дышал.*

*Одинокая пальма вставала над ним
На холме опахалом своим,
И мелькали, сверлили стрижи тишину,
И далеко я видел страну.*

Бунины поднялись на Масличную (Елеонскую) гору, посетили церковь и колокольню, откуда открывалась вся Иудейская пустыня вплоть до голубой полосы Мертвого моря.

Еще один очерк, "Камень" (в первой публикации – 4-я и 5-я главы "Иудеи"), написан по впечатлениям от посещения Храма Гроба Господня, в котором Бунины побывали несколько раз, Стены Плача и мечети Омара (Купол над Скалой). Между прочим, плата за вход в мечеть Омара для туристов была очень высокой. "Краткое руководство православным русским паломникам..." за 1907 год сообщает: "За вход в эту мечеть простые поклонники платят в пользу шейхов мечети 2 парички (т.е. 5 к.), а туристы и состоятельные паломники, посещающие отдельно, платят по 2 р. и более". Благодаря Д. Шору Бунины избежали высокой входной платы: ему как уважаемому гостю города был обещан пропуск. В целом, отец и сын Шоры, видимо, считая себя невольными виновниками курьезного превращения дворянина И. А. Бунина и племянницы председателя Первой Государственной Думы В. Н. Муромцевой в евреев, пытались компенсировать возникшие неудобства.

Воспоминания о Стене Плача оставила Вера Николаевна: "Пройдя по улице Давида несколько дальше той улочки, которая ведет к Храму Господню, мы свертываем вправо и, спускаясь по уступам, попадаем в узкое замкнутое пространство. Восточная сторона его – высокая каменная стена; эта и есть "Стена Плача", главное святилище евреев; некогда она была частью укреплений, окружавших Храм Соломона, ныне же часть внешней стены, идущей вокруг Мечети Омара.

Еще издали до нас доносился страшный гул, вернее, какой-то стон, а когда мы подошли совсем близко, то этот стон превратился в душу раздирающий вопль, такой страстный, что я никогда ничего подобного не могла даже вообразить. Впечатление необыкновенно сильно, и я кое-что начинаю понимать в этом сложном, не всегда понятном и энергичном народе".

На следующий день после концерта Шоры покинули Иерусалим – у пианиста были еще выступления в Яффо. Оттуда Д. С. Шор, выяснив возможности дальнейшего путешествия морским путем, сообщил теле-

граммой: "Бунину И. Просьба телеграфировать, едете ли со мной в Галилею, если да, то Вы должны выехать завтра в Яффу, отъезд в Галилею в четверг. Д. Шор"¹.

На прощанье Бунин верхом на лошади объезжает стены Старого города, а затем едет в Яффо, где его ждет записка: "Многоуважаемый Иван Алексеевич. Сейчас же по приезде похлопочите о паспорте, т. к. это сопряжено с затруднениями. Пойдите лично к консулу, заявите свое имя, или Веры Николаевны, и действуйте. Я сегодня вечером приеду. Д. Шор".

Морем они отправляются в Бейрут, чтобы продолжить путь поездом в Дамаск и Галилею.

В Бейруте Бунины тепло простились с Соломоном Шором, которого полюбили за время поездки: он возвращался домой в Россию. Переписка с ним, по утверждению В. Н. Муромцевой, продолжалась несколько лет. К сожалению, никаких следов ее в архивах пока обнаружить не удалось, но представляется весьма вероятным, что многочисленные реминисценции из Талмуда и каббалистических книг в очерке "Камень" сделаны не без его помощи. Он же является прототипом спутника рассказчика "Иудеи". В первой редакции очерка этот образ более персонифицирован:

"– Но, Боже, какая дикая земля, сколько на ней маку! – говорит мой спутник, южно-русский еврей, старик с большой серо-сизой бородой в черной шляпе".

"– Нужна великая вера! – грустно улыбаясь, говорит старик своим матовым южно-русским голосом".

"...Старик вдруг останавливается, по-детски, ладонью наружу, закрывает глаза – и тихо плачет, покачивая шляпой".

Спустя двенадцать лет в "Заметках", напечатанных в одесском "Южном слове", Бунин вновь вспомнил о Соломоне Шоре: "Нам ли, например, не близок Иерусалим – нам, из поколения в поколение, с младенчества начинающим познавать его историю и молиться его Богу? И все-таки, помню, как робко, как благоговейно опустил я глаза при входе в Иерусалим вместе со стариком Шором, остановившимся и долго, горячо, закрывшись рукавом, плакавшим у этого входа".

Бунины и Д. Шор продолжили свое совместное путешествие, однако отношения между ними в дружбу не переросли. Так, В. Н. Муромцева вспоминает:

"...Я вижу, что отец Шор нравится ему больше сына. Он ставит сыну в минус его "интеллигентское" отношение к миру".

Д. Шор в своем дневнике записывал: "Дальше мы путешествовали вместе, и я не скажу, чтобы общество его было бы из приятных. Особенно тяжело было мне чувствовать в просвещенном человеке несомненный антисемитизм, и где? в Палестине, на родине народа, давшего так много миру...".

Их реакция на увиденное была очень разной. Не уставая восхищаться деятельностью возвратившихся "прежних хозяев", 40-летний музыкант выходит из того душевного кризиса, в котором находился накануне поездки, начинает ощущать свою кровную связь с ними и этой землей, загорается будущей возможностью участия в создании новой музыкальной культуры своего народа на своей земле.

Возвратившись в Москву, Д. С. Шор организовал Комитет по мате-

¹ Верижникова Т. Телеграмма. – Орловская правда. 24 декабря 1997. С этой публикацией меня любезно ознакомил Р. Д. Тименчик.

риальной поддержке музыкальных школ в Палестине, который просуществовал до начала Первой мировой войны.

В 1925 году он вновь посетил Палестину, а в 1927 году окончательно переселился в Тель-Авив. И сразу же активно включился в музыкальную жизнь страны – ездил с сольными концертами, участвовал в составе камерного трио: Д. Шор (фортепиано), Ш. Гертер (скрипка), Т. Елин (виолончель), выступал с оркестром; был активным пропагандистом детского музыкального образования. Вскоре после приезда он возглавил "Союз Палестинских музыкантов" и оставался его председателем до конца жизни (умер в 1942 году в Тель-Авиве).

В декабре 1933 года (спустя месяц после присуждения И. А. Бунину Нобелевской премии) на страницах ивритской печати широко отмечалось 40-летие профессиональной деятельности Д. С. Шора.

Поездка Бунина в Святую Землю вдохновила его на целый ряд стихотворений и путевых поэм в прозе, которые были высоко оценены не только в России, но и в далекой Палестине. Известный ивритский поэт Черниховский писал в своей статье о Бунине: "Описания Эрец-Исраэль принадлежат к лучшим страницам мировой литературы и очень стоило бы включить их в список литературных произведений для ивритских школ".

В 10-е годы Бунин печатается в литературных сборниках на еврейскую тему: "Щит" (1915), "У рек Вавилонских" (1917), "Сафрут" (1918), участвует в юбилейном номере журнала "Еврейская жизнь" (1916), посвященном 25-летию литературной деятельности Х. Н. Бялика.

Напомню, что Бунин 1907 года – это Бунин до "Деревни" и "Суходола", принесших ему всероссийскую известность. Очерк "Иудея", в первой редакции состоявший из шести частей, – самое значительное произведение, написанное по итогам этой поездки. Писатель работал над ним весной и летом 1908 года, а опубликовал его впервые в 1910 году в сборнике "Друкарь". В письме редактору сборника Николаю Телешову Бунин писал: "Это последний мой рассказ о поездке, и придаю я ему довольно большое значение, пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не печатаю его уже года полтора..."

В 1912 году, подводя итоги своей четвертьвековой литературной работы, писатель заметил: "Из всех написанных мною книг я все-таки считаю наиболее удачными "Деревню", "Суходол" (сборник повестей и рассказов 1911-1912 гг.). Затем некоторые стихотворения последнего периода и прозаические поэмы моих странствований – "Тень птицы", "Иудея", "Пустыня дьявола".

Позже, в эмиграции, очерк подвергнется серьезной переработке и лишится прежде всего бытовых подробностей и иронических описаний русских и еврейских паломников. На первый план выступят раздумья о смене культур и о ходе истории на Святой Земле. В окончательной редакции очерк "Иудея" поделен на три самостоятельных произведения: первые три части собственно "Иудея", четвертая и пятая части получили название "Камень", а шестая – "Шеол".

Последний раз писатель обращается к этой теме в рассказе "Весной, в Иудее". Рассказ был напечатан в апреле 1946 года, спустя почти 40 лет после поездки в Палестину.

Давид Дектор

ЧУДАКИ

Путевые заметки

*Сидел в тюрьме, но там его не встретил.
По лесам он где-то бродит и вдыхает ветер.
Иосиф Бродский*

Первый был Якоб – голландский любитель астрономии, приехавший в Кастамону, чтобы увидеть затмение. Когда я вернулся в отель, он сидел в кресле внизу, в горных ботинках и с пакетиком фиг. За фиги он, по его словам, переплатил. Мы поговорили о затмении и о ценах в отеле, подскочивших по этому поводу. Якоб был не совсем нормальный, но занятный. Дома у него был телескоп собственной сборки – рефлектор с двадцатипятисантиметровым зеркалом, а жил он в городе Утрехте на пособие. Турки ему не понравились – норовили обмануть, и вообще, с ними было сложно общаться.

– А дома тебе легко общаться?

Якоб признался, что там тоже тяжело. Я только что просидел два часа в кафе, играя в шахматы с местными ребятами, покуда мне все нравилось, и наверно, я показался мрачному Якобу слишком ловким и довольным. Чуть позже лобби затопила партия японцев с чемоданами, тоже приехавших увидеть тайну, и мы расстались, пожелав друг другу завтра ясного неба. На следующий день городок переживал свою уникальность – раз в кои-то веки тут можно было увидеть то, чего нет нигде. Я тоже переживал – как правильно вести съемку, чтобы не посрамить событие. Потом я понял, что затмение все равно случится, сниму я его так или иначе, и решил остаться внизу на площади перед мечетью. Там и был Якоб, он сидел около фонтана для омовения и ел арбуз. Скорее, даже выедал, проделав в нем дырку и выгребая ложкой мякоть, покуда какой-то турок не выдержал и не дал ему нож. Турок еще пробормотал что-то укоризненно.

– Что он говорит? – спросил Якоб.

– Говорит: почему товарищу не даешь?

Якоб спохватился и протянул мне изувеченный арбуз, от которого я отказался. На небе почему-то оказались облака, сквозь темное стекло солнечный серп слабел в их вате, дело шло к полному затмению, японцы скорбно окаймляли площадь, я снял их тоже – для документальности. Потом от солнца остался уз-

кий, режущей остроты серп, сверкающий в облаках, и когда они проходили, глядеть на него было больно глазам. Тогда всполошились птицы, явились неведомо откуда и стаями кружились над городом. По сторонам я уже не глядел. Сел с фотоаппаратом так, чтобы минарет с венчающим его полумесяцем и затменное солнце были в кадре, и не отрывался. Свет погас, общий вздох был на площади, и мы увидели черное солнце. Корона сияла вокруг него, и облака ничего не могли с этим поделать. И вдруг, слишком быстро, вспыхнула тончайшая дуга – полное затмение кончилось.

Джиде. После зеленых гор был длинный спуск, а в конце его был городок – два ряда домов вдоль шоссе. Автобус стал, а я пошел дальше к предполагаемому морю. Редкие домики, чаще двухэтажные, были в садах, двадцать лет я не видел Черного моря, вернее, двадцать четыре года, и вот приближался. И оказался на гадкой набережной, направо мотель, налево курортники, еще отель – дурная домина из бетона. Тишайшее море подходило к этой промзоне, и делать мне тут было нечего. Солнце, однако, садилось, и надо было искать ночлег. Попалась вывеска "пансион", бабка ввела меня в душное помещение на втором этаже и сказала – семь миллионов, что было раз в семь дороже, чем я бы дал за такое место. Пошел дальше, набрел на кафе с местными старцами и получил маленький худой в талии стакан чаю, "бардак-чай" по-турецки. Чудная вещь – чтобы сидеть, ничего особо не заказывая. Старики вникли в мои обстоятельства, и пожилой турецкий джентльмен взялся помочь. Он говорил по-немецки, я, оказывается, – тоже. Мы согласились, что "шляфен штрассе" – последнее дело, и он меня повел. К моей неловкости, оказалось, что мы идем обратно к бабке, я пытался сказать, что был там, а то глупо получалось. Но он правильно все понял, раздобыл рядом в ресторане ключи и привел в пустой свежестроенный дом, где объяснил, что ночевать я могу на первом этаже, а денег не надо.

– Бандитен? – поинтересовался я.

Оказалось, что бандитов тут нет.

Я выразил свою глубокую по-немецки благодарность и что я с его разрешения пойду в ресторан – поем чего-нибудь.

– Найн! – сказал джентльмен и принес мне ужин.

Потом я сидел на маленьком балкончике и смотрел на звезды – ужасно какие-то черноморские.

Оттуда я попал в Капи Су, место, которого нет на карте. Увидел сверху с шоссе бухту и домики и слез с автобуса. Там крестьяне расчленили корову и заворачивали, когда я стал их фотографировать. Днем там делали корабли, а ночью пили арак. За два дня мне это надоело, хотя я понимал, что лучше места на побережье уже не будет.

В Амасре я встретил Джорджа, вернее, набрел на его лежку в захламленном садике за местным музеем. Рыхлый и неряшливый, он приятно выделялся на фоне прочих курортников. Джордж сказал:

"Я – пилигрим" и вынул из сандалии свою грязно-коричневую ногу. Под обувью нога оказалась грязно-белой. В Турцию он попал автостопом, двигаясь от родной Чехии, а здесь тусовался с ребятами, приехавшими продавать книжки на бульваре. У них была палаточка, а сам Джордж спал на земле в затертом спальнике и ел какую-то дрянь, завернутую в газету, смиренный пилигрим. Уточнив, что он не чех, а моравец, Джордж заявил, что в Турции нет свободы – потому что в полночь закрыли дискотеку. Эта дискотека рядом с моим отелем изводила меня своей громкостью, музыка в постель – турецкая попса была невыносима, и только надежда, что когда-нибудь это прекратится, придавала сил.

Потом, болтаясь по городу, я купил большой кусок белого сыра – думал поделиться с Джорджем, но увлекся и съел все сам, а Джорджа больше не видел. Мне достался чудесный номер – комната фонарем, с окнами на три стороны, в которые видать было гавань и византийскую крепость. Рядом был балкон, на котором я познакомился с Джоан – семидесятидвухлетней учительницей из Калифорнии. Она – серьезный путешественник, год жила в Каире, а в Турцию приехала по третьему разу.

– У меня был тяжелый период, и я решила поехать туда, где я все знаю, просто отдохнуть.

Нам было приятно обсудить возможности независимого путешествия, старуха была ас и за свой номер платила не больше моего, разве что вид из ее окна был похуже. Я предложил ей пойти пообедать, но узнав, что я хочу в рыбный ресторан, Джоан отказалась – она не ела рыбы. Вернувшись, я нашел под дверью записку: "Отель Мармара в Изнике – сущее говно. За те же деньги вы получите хороший номер с завтраком в пансионе на озере".

В Сафранболу японец путал английские и турецкие слова. Сказал, что изучает османскую архитектуру, а знание турецкого объяснил тем, что турецкий и японский языки структурно очень похожи (что-то такое я уже слышал). Архитектуру он изучал, в основном, сидя в магазине, который бойко обслуживал совсем маленький мальчик (меня вон обсчитал однажды). Хозяин гостиницы к японцу благоволил и временами дружески тискал. Меня японец не боялся, но, завидев своих соотечественников, присмирел и сидел тихо. Похоже, что человек прятался на планете от "хроноса-эросавируса".

Ночью я проснулся от того, что дом елозит. Ощущение как на воде – твердь стала зыбью, и все беззвучно. Хотел включить свет – нет электричества. В окно ночь черная со звездами, тихо. Достал фонарик, штаны надел – если выбегать, только никто не бежит, ну и я уснул. Утром записал, что дом трясло, хотя и сомневался, что мне поверят. Нашел в словаре слово землетрясение – "де-прем" – и пошел гулять. Оказалось, что только об этом и разговору, потрянуло Стамбул и окрестности, пятьсот убитых. Число жертв росло с каждым часом до нескольких тысяч, дозвониться домой мне не удалось, во всех кафе телевизоры показывали страшное, но люди

привыкли и вернулись к лото и картам. Среди прочего показали занятную вещь – запись видеокамеры в каком-то магазине ночью. Черно-белое неподвижное изображение, сначала ничего не происходит, потом бутылки трясутся, потом люди маленькие сзади побежали. События глазами не человека. Вечером пошел мыться в местную баню, купола и полумрак. Лежал лицом вверх на горячем мраморе, смотрел на трещины в склизком куполе и слушал, как что-то течет-капает. Еще глухонемой банщик изображал другому свою ночную тревогу.

Сначала мои планы были ехать в Изник и возвращаться в Стамбул через Ялову и Мраморное море, но после землетрясения я задумался. Вроде тут был редкий шанс для репортажа, с другой стороны, у меня были сомнения. Ложась спать, так и не решил, куда ехать, а утром поехал в Каппадокию. Думал обогнуть Анкару, но прямого автобуса найти не удалось, так я оказался в столице Ататюрка. Мегалополис посреди плато впечатлил своей неуютностью. Говорят, что тель-авивская автобусная станция записана в книге Гиннеса как самая большая в мире, но автовокзал в Анкаре еще больше. Частные компании гоняют автобусы по всем направлениям, весьма удобно, случается, правда, и по два билета на одно место, бывает. В дороге человек разносит попить и прыскает на руки розовой водой из бутылки, отчего руки делаются липкими и сладкими. Есть автобусы и попроще, можно и автостопом, а на поезде не пришлось, хотя и любимый вид транспорта.

Вылез в Ак-Сарае, не доехав до Гореме – главной туристской аттракции в Каппадокии, а то бы приехал в темноте, ни дороги не заметив, ни самого места. От Ак-Сарая было недалеко до ущелья, обещанного путеводителем, постоял на шоссе, думая поймать популярный грузовик, уже в темноте мне на помощь пришел человек, пошли с ним выяснять про такси, вышло, конечно, дорого, тогда он сказал, что сам отвезет меня до Селиме – тридцать километров в один конец, если заплачу за бензин. Я сказал, что не надо, тогда Ведат (так его звали) привел меня домой к жене, детям и старухе-матери. Он работал буфетчиком в местном колледже и еще в каком-то месте. Утром поехали с ним в город, я хотел найти почтамт – позвонить домой, а то я уже сильно извелся сообщить, что со мной все в порядке. Ведат покачал головой – почему от него не позвонил, привез меня на автобусную станцию, узнали про автобус на Селиме, потом довез до почты, и мы распрощались.

Эран нашел меня в Ихларе. Я шел по каньону вдоль речки и все искал правильное место, чтоб сделать чай, наконец, решился и стал распаковывать рюкзак, тут он и появился. Он шел по тропе навстречу, и был первым туристом за сегодняшний день. Привет – привет. Я спросил, далеко ли до деревни, оказалось, что не очень, и тут он меня удивил, спросив: "Ты что, из Израиля?" Это было, пожалуй, впервые, чтоб так угадали, а он продолжил так же сильно – из Иерусалима? Мы перешли на иврит, секрет его проницательности объяснился пакетом с надписью "Улица Яффо", в котором я

держал чайник. Эран жил на улице Мадрегот, на которой и я пожил когда-то, а в Турции был уже полгода – учил язык на стипендию от фонда Ротшильда, в которой мне было в свое время отказано (я просил на поездку на Ямал), и нам обоим тут нравилось. Он увлекался турецкой музыкой, а я фотографировал. Эран ездил в Хаджибекташ на фестиваль, где играют духовную музыку, но тут случилось землетрясение, и праздник отменили. Его занимал некий трактат о лечении душевнобольных музыкой, я рассказал про Сия-Калям – "Черное Перо", так подписаны чудесные рисунки с чертами и кочевниками в Толкапи-Сарае.

Мы обменялись телефонами, потом я еще услышал о нем в дороге – парень с лютней из Израиля, который играет турецкую музыку.

В Стамбуле гнутый переулок под мечетью Рустем-Паши цвел запахами от склада пряностей, бывшего тут же. Мальчишка с подносом делал рейды вдоль сидящих, я тоже сел и получил стакан чаю. Сосед предложил мне сигарету, напротив шли переговоры, верховодил дядька с усами (там все были с усами, но он выделялся), говорили о серьезном, даже в карты не играли. Опоздавшие, за неимением стульев, садились уже на ящики. Я поднял фотоаппарат, кадра не было, а, может, и был, усач злобно ко мне обратился, мой сосед ответил ему что-то в смысле моей безвредности, я убрал камеру, напротив договорились, все пожали друг другу руки и поднялись. Три дня я ходил и не мог насытиться, вверх-вниз, через мосты и обратно, однажды мне приснилось, что Иерусалим по ночам превращается в Стамбул, теперь я видел его огромность.

Последний подарок случился из окна самолета, когда взлетели. Город лежал внизу, как карта. Темное было вода – Босфор и Золотой Рог, а берега переливались огонечками, и все было – Стамбул.

Осень 99

АНТОЛОГИЯ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (Еврейская литература XIX–XX веков в русских переводах. Составители: Хамуталь Бар-Йосеф и Зоя Копельман. Российский Государственный Гуманитарный университет и Центр библеистики и иудаики. Москва, 1999

Это издание не имеет прецедентов: в увесистом, прекрасно изданном томе представлена наша национальная литература двух последних веков. И литература не религиозная, которая дала евреям основание гордо именовать себя народом книги, но именно светская – неотъемлемый атрибут сегодняшнего национального бытия.

Какие авторы и какие произведения должны представлять ее в одном, пусть и большом, томе, в каком объеме и в каких пропорциях – все это вопросы, на которые составители должны были аргументировано ответить, прежде чем приступить к практической работе. Но и на втором этапе следовало принять ряд ответственных решений. Например, какие переводы печатать: ведь и переводческая школа все еще формируется, а многие прежние переводы не выдерживают критики. Так, некоторые рассказы Михи-Йосефа Бердичевского, одного из основоположников современной ивритской прозы, были довольно неумело переведены его женой и не переводились в дальнейшем. Замечательный писатель-модернист в таком переложении выглядел тускло-рационалистически и эпигонски.

Замысел издания возник у Х. Бар-Йосеф – профессора университета им. Бен-Гуриона и известной ивритской поэтессы – в ходе подготовки и чтения лекций студентам в Российском Государственном Гуманитарном университете. Русскоязычный читатель ищет в еврейской литературе ответы на вековые вопросы о сущности еврейства, о еврейском национальном характере, о том, как евреи видят самих себя и свою национальную судьбу, что и как заимствуют у других народов и как к ним относятся «на самом деле». Более полного источника, чем еврейская литература, тут просто не существует. Но есть отличие, и существенное, между заинтересованностью еврея – и нееврея; еврея, живущего в России, – и еврея, эмигрировавшего в Израиль. От решения вопроса об адресате весьма зависел, конечно, выбор авторов и произведений.

Почему предметом избрана только ивритская литература, но не литература на языке идиш, которая ведь переводилась и на иврит, притом зачастую самими авторами? Ведь за пределами книги остался ни больше ни меньше как Шолом-Алейхем, а «дедушка еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорим представлен только одним ивритским рассказом (в переводе И. А. Бунина). Вопрос непростой: на идише говорило подавляющее большинство европейского еврейства, в то время как иврит был языком Писания и молитвы. Впрочем, о языке идиш и литературе на нем в антологии говорится немало. В частности, во вступительной статье, написанной Х. Бар-Йосеф. Мы, выходцы из Европы, испытываем понятные сантименты к языку наших отцов, бабушек и дедушек, его родные звуки слышны в нашем детстве. Но история правит по своему усмотрению, в настоящем и будущем она, похоже, предназначает нам иврит. Есть, впрочем, аргументированное мнение публициста Калмана

Кацнельсона, что «позиции иврита ослабли. Английский язык врывается в науку, в общественную жизнь и экономику. ...В XXII веке многие израильтяне будут предпочитать ивриту английский в качестве разговорного языка из-за усиливающейся левантизации, стертой национальной самоидентификации и деградирующей культуры»*. Возможно. Мы так далеко не загадываем. Но мы и сегодня переживаем чудо возрождения древнего языка, на котором теперь говорят, пишут, творят, и который стремительно развивается.

Нам кажется замечательной особенностью издания то, что в нем представлена не только собственно художественная литература, но также ивритское литературоведение, критика, эстетика. Нет сомнения, что читатель будет захвачен превосходным эссе Хаима-Нахмана Бялика «Под оболочкой языка», статьей Ахад ха-Ама «Национальная этика», живо заинтересуется работами Михаила Лазарева и Бен-Ами Файнгольда о любви и феминизме в ивритской литературе на этапе ее зарождения и формирования. Несомненно, еврейская мысль на вершине эмансипации, то есть в конце XIX – начале XX века, и в преддверии революций, когда решались судьбы европейского еврейства на многие десятилетия вперед, представляет для нас жгучий интерес. В своем большинстве мы, выходцы из Советского Союза, были фатально оторваны от еврейской национальной культуры, почитая своей культурой русскую. Но, как нет худа без добра, так и добра без худа. Коренные ценности еврейства (язык, Писание, образ жизни) стали сначала «непопулярны», а затем были преданы забвению. Не будем здесь говорить о том, *какая* это утрата. Отметим только, что мы оказались трагически беззащитными перед волнами антисемитизма именно вследствие отрыва от национальных корней.

Что же она такое, «древнееврейская литература новейших времен», как на заре века назвал свою статью еврейский литературный критик Иосиф Клаузнер? Это, прежде всего, живая литература своего времени, язык которой – древний иврит. Она начиналась в Германии времен Просвещения: культурные немецкие евреи сочили полезным пропагандировать полузабытый язык нации. То, несомненно, была некая роскошь. На иврите не говорили, редкие умники и талмудисты умели на нем писать, а ивритское чтение составляли почти исключительно богословские и священные тексты. Трибуной этой группки энтузиастов стал первый еврейский журнал «Ха-меасеф». Едва ли даже самые смелые из них могли предположить, что спустя век новая литература на иврите полноправно войдет в число европейских современных литератур, что она последовательно переживет этапы романтизма, реализма, модернизма и даст настоящих прозаиков и поэтов.

Впрочем, на германской земле ивритской литературе и не было суждено большого будущего: ассимиляция немецких евреев шла чересчур успешно. Зато в Восточной Европе, в Европе местечек, черты оседлости и нищих бейт-мидрашей это начинание было жадно подхвачено. Авраам Мапу написал первый роман на иврите – «Любовь в Сионе». Редкая книга в еврейской истории имела столько читателей. Эта сентиментально-романтическая проза из времен Древнего Израиля стала золотой мечтой ошельмованного, презираемого еврейства. Вот уж поистине, справедливо было бы приложить к Аврааму Мапу известные стихи:

* Калман Кацнельсон. Общественный кризис в Израиле и будущее русское гетто. Журнал «22», № 112. Тель-Авив, 1999.

*Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.*

Возвышенные характеры, благородные страсти в духе высокой трагедии, полнозвучный и многоцветный иврит покорили читателей, дали им чаемую духовную опору. Было положено начало ивритской беллетристике.

В те же 30-40-е годы девятнадцатого века началась и новая ивритская поэзия. Она, как и проза, искала мотивов возвышенных, могущих не только реабилитировать евреев в глазах народов Европы, но и формировать еврейское национальное самосознание и национальное достоинство. Иехуда Лейб Гордон пишет романтическую поэму об изгнании испанских евреев – «В пучинах моря». В лермонтовском духе осмысливает еврейскую изгнанническую судьбу Миха Йосеф Лебенсон в стихотворении «Отломанная ветка».

Ивритская национальная литература начиналась и росла как литература европейская – на неевропейском языке. На языке экзотичном, необытовом и изысканном даже для самих евреев. В этом (и, конечно, не только в этом) ее своеобразие и необычность. Иврит как язык новой литературы европейских евреев в XIX веке – какая увлекательная, богатейшая тема для исследования! Иврит как опора и как аргумент в глухом споре с враждебными народами. Язык гордого прошлого и, кто знает, быть может, и будущего возрожденного еврейства? Это будущее уже соиздалось в слове: ведь главное в том, *что* народ сам о себе думает, *что* о себе решит. Так что не будет преувеличением сказать, что еврейские писатели были главными деятелями национального возрождения. По-видимому, идеологическая доминанта не была на пользу молодой ивритской литературе как литературе. Но если так было, то иначе и быть не могло. Не будем предписывать времени, которое нам не принадлежит, своих запросов и представлений. А лучше отметим, что в последней трети XIX века ивритская литература вполне вышла из пелен и была представлена первоклассными писателями, каковы Менделе Мойхер-Сфорим, Миха-Йосеф Бердичевский, Мордехай-Зев Фейерберг. Начинал деятельность в литературе и национальный гений – Хаим-Нахман Бялик. Кстати, хотелось бы, чтобы Бялика в антологии было больше. Тесно, тесно в этой большой книге.

У русского читателя на слуху имя Агнона, но его современники – Йосеф Хаим Бренер и Ури Нисан Гнесин – можно сказать, незнакомцы. Антология инициирует эту знаменательную встречу. Рассказ Гнесина «В садах» – произведение европейского зрелого модернизма начала XX века. Удивительно, что столь новое для еврейской литературы содержание было воплощено средствами древнего иврита, и воплощено пластически, как сумела нам показать автор современного русского перевода Светлана Шенбрунн.

Шмуэль-Йосеф Аггон представлен тремя произведениями, притом два из них – в современных переводах Петра Криксунова и Светланы Шенбрунн. Когда читаешь Агнона, задумываешься, о том, *что* есть красота еврейского национального духа. Как гармонично может вливаться общечеловеческое в мехи национальной жизни и еврейской традиции. В этом смысле Аггон актуален сегодня и, полагаем, будет актуален и завтра. Кстати сказать, его не так уж много переводили на русский, и, как считают специалисты, лучшего все еще не перевели. Важным добавле-

нием служит напечатанный в антологии рассказ «Фернхайм» (перевод Светланы Шенбрунн): глубокая, едкая проза о немецких евреях в период после Первой мировой – таких патриотичных, интеллигентных «немцах», которым, как мы знаем, через 15 лет были уготованы концлагеря.

А вот совсем новое для русского читателя, хотя почтенное в истории ивритской литературы имя: Двора Барон. Она представлена рассказом «Развод» – о горчайшей судьбе разведенных жен в староеврейском местечке. Вообще, читая Фейерберга, Двору Барон, переживаешь те чувства, которые, видимо, владели нашими предками, стремившимися разорвать заколдованный круг еврейского гетто – независимо от того, к каким издержкам и потерям это приводило в дальнейшем.

В 40-50-е годы нынешнего века в ивритской литературе появляются «сабры», и это очень существенно меняет ее облик. Возникает литература израильская, нерасторжимо связанная с бытием еврейского народа на своей земле. Во многом евреи и вправду становятся «народом, как другие народы», сбывается мечта сионизма. Выморочность и убожество, нищета миллионов, жизнь в гетто уходят в прошлое, под ногами появляется почва, оживает еврейская топонимика, являются новые характеры, иные темы. Еврейский патриотизм уже не фантом: еврейское государство – реальность, реальность мирового и исторического значения. Мы здесь не станем перечислять имена – их много, не коснемся и проблематики – она напряженна и сложна. Скажем только, что еврейская литература на новом этапе в еще большей степени стала частью литературы всемирной. Теперь не только нобелевский лауреат Шай Агнон переводится на иностранные языки. Широкую известность в мире приобретают Амос Оз, Аарон Апфельфельд, Иона Волах, Давид Авидан, Далия Равикович. Антология представляет и современную ивритскую драматургию – в лице известных на Западе и в России Йосефа Бар-Йосефа (его «Трудные люди» с успехом идут в нескольких русских театрах) и Ханоха Левина.

Здесь говорилось уже о переводах. Для такой книги их уровень – это вопрос более чем принципиальный. Сведущие читатели, конечно, оценят современные поэтические переводы из Эстер Рааб, Хаима Гури, Авота Йешуруна, Меира Визельтира, Ионы Волах, Дана Пагиса, выполненные Гали-Даной Зингер, Зоей Копельман, Михаилом Генделевым.

Еще одно, чрезвычайно важное качество имеет эта большая книга: она снабжена обширным научным и справочным аппаратом, составленным, главным образом, З. Копельман. Так что антология – это и богатое чтение, и научная книга, и учебник по еврейской литературе.

Теперь, когда эта книга есть, видишь, насколько она была нужна – и живущим в Израиле, и тем, которым издаелека небезразлична еврейская литература.

А. К.

Белла ВЕРНИКОВА. "Звук и слово" – Иерусалим, Филобиблон, 1999

В этой книге есть стихотворение "Бездомные стихи", а я бы назвал его "Бездомные сны", или даже "Рассказ о бездомных снах". Потому что стихи-сны именно рассказаны, нам о них повествуют, а существуют-то они сами по себе; тем не менее, собранные вместе, они и составляют реальную жизнь, такую уж, какая есть. Никто не живет "от и до", по порядку. Прошлое и настоящее совмещаются, сосуществуют.

То, что было, не менее реально, чем то, что есть.

А "рассказ" – потому, что в стихах везде присутствует интонация повествователя. Верникова не боится повествовательного тона. Она сны не воссоздает, а именно рассказывает, например, намеренно подчеркивает в самом стихотворении, что размер его напоминает другой, и так как это не очень хорошо, то:

*Сменив размер, вплетая рифму,
продолжу. Ночи через две
мне снился сон, и в нем реальный,
во сне на редкость материальный,
мне снился дом...*

В одном ряду и тем же повествовательным тоном – и почему надо поменять размер, и описание сна, и описание дома...

Одному из стихотворений ("Венчик йоты") предпослан эпиграф: "Не сравнивай: живущий несравним...". Автор и не сравнивает: ни живущих друзей, ни погибших родных, ни прошлых времен, ни нынешних, ни прошедшую Россию, ни теперешний Израиль. Не сравнивает, не хочет оценивать – что лучше, что хуже, просто рассказывает: вот было так, и так тоже, и ничего не исчезло. Эта ничего не судящая нота – самое привлекательное в стихах Беллы Верниковой.

*...и даже не в жалости дело, а в том,
что счастлив, не надо и спрашивать,
и если помянет, так только добром,
а если забудет, не страшно.*

"Вальс сорок пятого года"

Она часто чуть ли не дразнит читателя, сопоставляя, скажем, очередной возвышенный эпиграф, на этот раз "Не верь, не верь поэту, дева" и нарочито неуклюжее начало стихотворения:

*Одна девушка любила поэта,
она перечитала все пять его книжек
и любила сравнивать его портреты,
вырезанные из суперобложек.*

"Про любовь к поэту"

Из противопоставления поэзии и как бы прозы, из "чуть ли", "едва ли не", "как бы" и рождается поэзия.

Но, к сожалению, не всегда. Не всегда у автора присутствует умение поставить точку. Тогда чудесные прозаизмы грозят перейти в скучное перечисление. А что сказать о таком стихотворении, как "Тесная история"? Только то, что едва ли стоило зарифмовать старый еврейский анекдот ("пустите козла") – разве что для еврейского календаря на русском языке. Но поэзии не получилось: нет тайны.

А тайна может присутствовать везде, например, в стихах, начинающихся с едва ли не мешанской картины:

*Хочется доброй спокойной любви
в пахнущей теплым печеньем квартире...
А дальше?
Что нам мешает, как хочется, жить?
Ведь по отдельности, к счастью, знакомо
и ощущение теплого дома,
и понимание, куда же нам плыть.
И, наконец:*

*Цельности хочется. Флейта, играй!
Разве что музыка ржавчину снимет,
мир не взорвется, милый обнимет,
вольному воля – спасенному рай.*

Так, не утрачивая нечрезмерной интонации повествования, поэтическое слово набирает натяжение, вплоть до конечного выдоха.

А какая энергия сжатой пружины в стихотворении из одной фразы, которую не закончить, не задохнувшись, а только выдохнув на последнем дыхании. ("Алия первая, вторая, третья и т.д.") Кажется, это одно из лучших стихотворений на русском языке о той стране, куда мы все пришли с разными волнами алии.

*Эту безумную жизнь разрешив
не повседневным ее отбываньем
в заданных рамках, а свет потушив
за униженьем, забвеньем, изгнаньем,
стену пробить обескровленным лбом,
сделать себя из наружной лепнины,
в зрелых годах помышляя о том,
как бы не хлебом, а телом единым
выжить на выжженном теле земли,
принадлежа к большинству из евреев,
если такое сумели затеять,
то отступить уже не могли.*

Тут нет дежурных восторгов об обретенной "родине". Нет, страну еще надо найти, выстрадать, каждому по-своему.

Книга оформлена изящно, во вкусе библиофила и художника (макет Леонида Юниверга, иллюстрации Ефима Гаммера). Но хотелось бы несколько слов сказать о Приложении, в которое: включены переводы стихотворений Беллы Верниковой, взятые из двух ее книг, вышедших на английском. Разумеется, я не против того, чтобы стихи переводили на английский и все другие языки... И издавали. Может быть, я просто отстал, но в первый раз вижу, чтобы в своем поэтическом сборнике автор печатал те же стихи и в переводе. Все-таки это книга, а не рекламный буклет. Ах, да и сама Верникова это прекрасно знает:

*Не сообщишь на прочих языках,
того, что и по-русски не сложилось,
тем, чья судьба никак не наложилась
на твой покой, недоуменье, страх.*

Владимир Френкель

Александр ВЕРНИК. "Сад над бездной" – Иерусалим, "VERBA Publishers", 1999

Новую книгу Александра Верника "Сад над бездной" (55 стихотворений на 75 страницах) отделяют от предыдущей 12 лет. Правда, между "Биографией" и "Садом над бездной" были еще "Зимние сборы". Но эта боковая ветвь новой листвы почти не содержала, будучи составлена, отредактирована и издана за рубежами Израиля практически без участия автора. Если за семь лет человеческий организм полностью обновляется, то через двенадцать уж точно не остается ни одной прежней клетки. Единственное напоминание о прежнем теле – посвящение заглавного

стихотворения книжке "Биография", отсылающее в то немислимо далекое для репатриантов последней волны израильское прошлое.

В отношении к литературе как к сборнику кроссвордов есть известный перебор. Но у поэта и вправду все знаково, с этим не поспоришь. Да, все знаково, вплоть до числа строк и чередования размеров – и высказывание, и умолчание, и фраза, и пауза, и обозначение дат и снятие оных. "Сад над бездной" – зовется книга. Глухо звякнув тремя опорными "д", фраза разместилась в пространстве почти как голограмма. Между призрачным "садом на горе", то и дело всплывающим на страницах, и гораздо менее призрачной "бездной" имеет место жизнь автора – основной предмет его сугубо реалистического стихосложения. "Реалистический" – еще не значит "предметный", поскольку, хоть жизнь и материальна, но судьба-то, в конечном счете, бесплотна, при всей своей грозной ощутимости. "В конечном счете", вырвалось у меня безотносительно к общеизвестному исходу всякой судьбы, но удел поэта, как ни верти, есть слово, да и не был бы он поэтом, если бы не верил, что, сказавши слово, судьбу можно постичь, определить, переменить – словом, заклясть. Поэтому и выстраивает он слова в определенном порядке, выговаривает их, с надеждой поднимая глаза на сад и в ужасе косясь на бездну. Автор "не поклонник своих стихов", он понимает, что "и стихи не спасают", но, будучи поэтом, иного способа сладить с судьбой не знает. Разве что порой отвлечется на описание кошки или муравья, но тут же спохватывается и принимается заклинять снова. Процесс урезонивания судьбы в книге налицо, и внимательному читателю открывается во многих деталях.

Как и всякий шаман, заклинатель судьбы всегда внутри себя знает, что нужно делать в какой момент, и потому чередует приемы. Он то позволяет словам выстроиться в магические ряды ("Не вычеркнуть, не вытравить, не смять..."; "Кончилось все. Ничего не осталось..."), тут же выговаривая нечто как бы противоположное "Не окончится ничего, ничего..."; "Мучительно, прекрасно, бесполезно..."; "Промотать, продуть, профукать...", то, совсем уж сомнамбулически, четырежды кряду повторяет одну и ту же фразу "Мне нечего вспомнить...", то вдруг объявляет "Душа моя сегодня холодна, расчетлива..." и принимает конструировать некий отстраненно-рациональный, чуть ли не протокольно-канцелярский текст о попытке "быть осмотрительным в выборе слов" и "размышлять расчетливо и не торопясь", впадая при этом уже в полный речитатив.

А то вдруг намеренно вульгаризирует словарь, вставляя в стих какую-нибудь "суку бацильную", "пацанку", "долбаного голема", "паскуду" или "мусоров" – все сплошь из бывшего уличного, ныне застольного лексикона. Кошунство? Да, но кошунство это носит характер частный, сугубо домашний. До богорчества дело не доходит, ибо автор тут же, за тем же столом поднимает глаза горе, умоляя научить его словам для сочинения буква-ря.

Плата за подобные духовные упражнения известна – одиночество, вполне, впрочем, осознанное. На него автор и сетует, от него и пытается спастись, то "не думая, по блокноту" приглашая многоликого "собеседника", то в который раз предпринимая "многословную попытку тебя продолжать любить". В лучших, наиболее цельных, на мой взгляд, стихах книги – "Долгие проводы", "Хрестоматийная смерть", "Юбилейная проза", "Дом" – речь идет именно о поиске убежища, каковым может стать даже смерть, но и жизнь: дружеские беседы, любовь, дом – понятия

простые и основные. Эх, если бы все было так хорошо и надежно, но увы – "штукатурка со стен сползает", (фраза рвется, скачет кривыми лесенками, расплзается тело стиха – "единственное, что еще оставляет иллюзии". Вот и хочется то ли "громко крикнуть", то ли "заплакать над судьбой" – ведь расплзается под руками и "усталая страна", с которой эту судьбу связал. Сад повис над бездной и, помимо заклинаний, удержать его – нечем.

Соблазн быть "современным" велик, но Верник поддается ему лишь изредка, предпочитая прямое высказывание. "Поговорим о бесстрашии", – предлагает поэт. Поговорим, отчего же нет. Скажем, что для прямого высказывания требуется известная смелость, и она вызывает уважение.

Геннадий Беззубов

Юлия ВИНЕР. "О деньгах, о старости, о смерти и пр." – Иерусалим, "Альфа-Бет", 1998

Все знают, что о деньгах разговаривать неприлично, но с самыми близкими друзьями – можно, особенно, когда этих денег нет и они, тем самым, из предмета превращаются в символ. Книга Юлии Винер, бывшей москвички, с 1977 г. проживающей в Иерусалиме и занимающейся литературным трудом, написана для самых близких друзей. В ней встречаются посвящения, которые ничего не говорят непосвященному. В сборнике все – очень личное, хотя наряду с разделом "Личное", есть раздел "Общесекулярное". В нем – полновесный груз прошлого: "Чего-то нет, чего-то жаль...", и полномерный образ настоящего: "В этом городе? Стать, как все прочие люди?", и еще чуточку европейских реминисценций: "Нет сказал руди фон лисицки моему дяде Шакне..." – в общем, слишком много для одной целостной личности. Так что остаются всякие обрывки и осколки, кусочки и афоризмы для прочего человечества, которое хоть и не может полностью солидаризироваться с автором, но и "пролезть в здоровое большинство" тоже не может. Приятно вертеть в руках и перелистывать книгу с симметричными рисунками на обложке, напоминающими негатив и позитив. Тоже, кстати, произведение поэта.

Нина ЕЛИНА. "О давнем и недавнем" – Иерусалим, Издание Натана Брусовани, 1997

Нина Генриховна Елина – известный ученый, автор книг и статей об итальянской литературе, а также монографии о В. Гроссмане – выпустила книгу прозы. Она писалась в середине 50-х и в 80-е годы в Москве, а два рассказа – в 90-е гг. уже в Иерусалиме. В предисловии автор представляет свои невыдуманные рассказы как эпизоды "обыденной жизни", которые "имеют социальный или национальный и одновременно общечеловеческий смысл". Рассказы о себе и о своем времени, которые автор настойчиво определяет как "не мемуары", где она позволяет себе домысливать и "присочинять", тем не менее, укоренены в действительных фактах, событиях и проблемах и повествуют о близких "или почти случайных знакомых, нереальных людях".

В книге три цикла, объединенных внутренним содержанием, мыслью, темой. Название первого цикла – "Страх" – является его лейтмотивом. В рассказах Елиной передано ощущение страха, который, кажется, "пра-

вил" всем и всеми в годы террора: страхом режим добивается единомыслия или хотя бы внешнего выражения единомыслия. Режим не только делал людей конформистами. Режим пытался сделать "тварью дрожащей" лучшего: настоящего интеллигента, честного в полном смысле слова – честного с собой. Но у этого слабого, "маленького", боящегося человека (к тому же, молодой женщины) – оказывается сила: невозможно пойти против совести, переступить через себя.

В эти страшные годы продолжалась, тем не менее, и обычная человеческая будничная жизнь. Вот это – "как люди жили" тогда – и есть главное содержание книги. С особенным чувством воссоздает автор атмосферу родительского дома, главная суть которой в устойчивой автономии духовных интересов, она-то и помогала противостоять "общественному воспитанию".

Книга Елиной начиналась с записей, которые рождались, наверное, в немалой степени от желания осмыслить окружающее и, может быть, лучше постичь самое себя. Часть рассказов объединяется темой национального самосознания, возвращения к себе, к своим еврейским корням, к своему народу (цикл "Возвращение"). Давая присягу говорить "только правду", автор стремится рассказывать и судить обо всем по справедливости, называя вещи своими именами.

Внутренняя последовательность того жизненного опыта, о котором идет речь, и определила цельность и достоверность книги Елиной.

Руфь ЗЕРНОВА "На море и обратно" – Иерусалим, "Ura Publishers" 1998

Новая книга известной израильской писательницы включает автобиографическую повесть и рассказы. В повести "На море и обратно" рассказывается об одесском детстве автора в середине 20-х и в 30-е годы. Повестью о детских впечатлениях тех лет, Руфь Зернова воссоздает не только атмосферу жизни своей семьи и ее близкого окружения, – в книге оживают колоритные "одесские" характеры и, пожалуй, сам характер, дух и душа этого неповторимого города, с его независимостью, задиристостью, поэзией и удивительным чувством юмора. Причем, все это складывается из описания простой каждодневной жизни с ее заботами о хлебе насущном (в прямом смысле). Все это детали ушедшего времени, которые необходимо сохранить, передать новым поколениям как память и историю.

Рассказы Зерновой основываются на реальных событиях: два из них посвящены эпизодам гражданской войны в Испании, участницей которой была писательница; "Ах, Самара-городок" – из лагерного опыта автора; два рассказа посвящены писателям – это воспоминания о встречах с Анной Ахматовой ("Иная реальность") и Сергеем Довлатовым ("Дачные соседи").

Дора ШТУРМАН и Сергей ТИКТИН. "Современники" – Иерусалим, "ЛИРА", 1998

Текст без иллюстраций, желтоватая глянцевая обложка с именами авторов и названием. Все стилизовано под эпоху самиздата, которую, собственно, и ворошат авторы в своих воспоминаниях. Книга очень личная и разноплановая. С уверенностью можно сказать только, что это не сведение счетов и не советская (антисоветская) литература. Иосифа

Бродского как-то поправили, когда он упорно величал одного человека "советским": "Не советский, а антисоветский". – "Это, в сущности, одно и то же", – ответил поэт. Так вот, книга Штурман и Тиктина – несоветская. У нее нет определенного жанра и стиля – своя авторская позиция без всякой попытки объективного отношения к предмету. Советские редакторы попытались бы эту позицию искоренить в тех главах, которые можно с натяжкой представить как литературоведческие очерки (о Б. Пастернаке, Ю. Нагибине, А. Галиче), и конкретизировать в мемуарных главах, посвященных Л. Копелеву, Р. Орловой, А. Сахарову, А. Солженицыну. Впрочем, и это литература о литературе, полемика с воспоминаниями. Высокая нравственная позиция авторов, их мужественная искренность задают тон всей книге, которая выглядит итоговой, завершающей значительный период исследовательской и литературной работы.

Наталья Дараган

ЖУРНАЛ "22", №№110-112

"22" – старейший русский журнал в Израиле ("Время и мы", правда, выходил раньше, но впоследствии переместился в США, а потом в Россию) – журнал серьезный, хотя и не охватывающий всей литературной ситуации. Но одному журналу это и не под силу.

№ 110 открывается пьесой Ирины Двосиной "Прам-па-папам", построенной по правилам актерского капустника – мило, смешно, иногда остроумно; по-своему любопытна повесть Петра Межурицкого "Крайняя плоть", рассказ Ицхака Орена "Пуговица" выглядит изящно, не побоюсь сказать – профессионально, хотя там как будто нет ничего особенного: почти мистическая история с обыкновенной пуговицей, и толковать эту историю можно и так, и этак, а можно вообще не толковать, как и советует автор – каждый, кто наслаждается игрой, вправе также наслаждаться чтением рассказа, если он ему по душе. Но наиболее интересный для меня материал в этом номере – статья Дмитрия Хмельницкого "Концептуализм глазами реалиста" – о современной живописи. То, что давно следовало бы сказать, но сказано так ясно, кажется, впервые: современный российский "нонконформизм" есть обратная сторона "соцреализма", то же идеологизированное искусство, и даже еще более, ибо современному концептуалисту для строительства своих инсталляций даже и художником быть необязательно, достаточно выразить "идею" – ну, например, об "абсурдности мира". Из искусства уходит собственно искусство, что же остается? Правильно: идеология. То есть более или менее удачное объяснение изобретенной конструкции. Подобное искусство не может говорить само за себя, без истолкователей, без рекламы и маркетинга. Что и произошло.

"Прелестный вышел парадокс. Героические советские нонконформисты десятилетиями боролись с продажным и лживым советским официальным искусством за искусство бескорыстное, свободное и независимое. Победили. Вышли на рынок. И зависли на нем" (Д. Хмельницкий).

Дело тут не во внешних обстоятельствах, а в принципиальной антихудожественности, крайней идеологизированности создателей "инсталляций" и "концептов", большей, чем даже у соцреалистов – те все же должны были уметь рисовать.

Автор отвергает преемственность современного авангарда от подлинного, 10-х, 20-х годов.

"То искусство было традиционным по мышлению, то есть просто живописью. Оно не замешивалось на социальном протесте, идеологии, требовало вполне традиционной подготовки и серьезной работы..."

А это уже о современных нонконформистах:

"Путь к званию художника-нонконформиста оказывался коротким и быстрым. Он не требовал долгой подготовки, ни даже особых способностей – только смелости". "Фактически, концептуализм возродил традиции передвижников с их убежденностью в примате идейно-социального значения искусства над пластическим".

Любопытная мысль, хотя очень уж для концептуалистов обидная.

Когда я с тоской прохожу по залам современного искусства в Израильском музее в Иерусалиме, меня посещают сходные мысли. Вообще-то эти вещи бывают неплохо, остроумно придуманы, но остроумная выдумка еще не есть искусство. Гораздо ближе этому – китч.

И это относится не только к живописи. Китчем отдает от "иронической" поэзии, от бесконечного постмодернистского ёрничанья и стёба. Уже скучно.

Хмельницкий определяет это очень точно:

"Но душа просит. Подготовленная душа просит хорошего искусства. Неподготовленная – просит красивого. Дезориентированная удовлетворяется китчем".

Опубликованный в № 111 "Полет бабочки" Нины Воронель – продолжение ее романа "Ведьма и парашютист", расшифровка дневника немецкого террориста. Дневник читает герой "Ведьмы" израильтянин Ури Райх. Написано интересно, не оторвешься, а по нынешним временам это немалое достоинство.

Примечательность номера – поэма Михаила Генделева "Палата мер и весов". Поэзия подобного, раскованного, рода мне не слишком близка, хотя вчуже я могу ее оценить. Стихи обладают мощной тягой, буквально тащат читателя за собой.

в палате
мер моих и весов
звон малиновый эталон
солдатам бесплатно так за пятак
а девочкам
за талон
от входа с лопатой наискосок
посетителям от нуля часов
именно этот и есть
песок
и маятника
кусоч.
и я спустился
как за водой
на площадь Не-Помню-Каких-Святых
и
прохожие чередой
коты
огня открывали
рты

Недоброжелатель, конечно, может сказать, что в этих стихах трудно отыскать смысл, но это вовсе не так. Отрывистые, якобы первые попавшиеся, а на самом деле точно бьющие в цель слова и фразы, как бы подхватывающие друг друга, ничего лишнего – отличный стиховой текст, как сжатая пружина. Точность и сила. Все же есть замечание. Поэма кончается лихой непристойностью пополам с кошунством. Сейчас и то, и другое настолько расплодилось в русской печатной продукции, что куда оригинальнее было бы без этого обойтись.

Журнал "22" традиционно предоставляет трибуну для публицистики. В этом сила, но одновременно и слабость. Все-таки литературный журнал способен переварить не все.

Очень интересна статья Дениса Соболева "О поэзии", однако ей, скорее, место в научной филологической периодике. Но прочесть советую. Интересны и многие другие статьи. Но иные скорее наукообразны и мнимо многозначительны. Вот цитата:

"Значит, рационалистическое преобразование субкультуры принятия решений является, в частности, существенным фактором улучшения психологического состояния россиян и важнейшим психологическим аспектом оптимизации интеграции репатриантов в израильское общество". (Уф! Так и хочется сказать: "Ему б чего-нибудь попроще бы...") Это из статьи Олега Савельзона "Шок перемен и культура рационального принятия решений". Статья о проблемах одновременно России и Израиля, с многократным повторением слова "судьбоносно". Опыт, однако, подсказывает, что жреческие интонации и ученый язык не обязательно соответствуют глубоким мыслям.

Хочу отметить интересную гипотезу Розы Ляст в ее статье "Где распинали Иисуса?" Вывод автора – распятие Иисуса из Назарета могло произойти в Кейсарии, но никак не в Иерусалиме. Доказательства не бесспорны, но интересны.

Портит статью другое: соединение чисто исторических доказательств и гипотез и явно идеологической приправы. Никто, конечно, не обязан христианство любить, но сочетание идеологии и науки никогда науке не шло на пользу. Здесь это выразилось в недоказуемой и антиисторической гипотезе автора, что христианские "догматики" (кто это такие?) специально "перенесли" место распятия в Иерусалим, чтобы "обрызгать кровью Иешуа еврейский народ". Этакий мировой антиеврейский заговор. Сама же гипотеза Розы Ляст, повторяю, интересна.

В №12 наиболее значительная публикация – повесть, "Клуб студенческой песни" Сергея Каледина. В ней действуют те же герои, что и в предыдущей повести из цикла "Коридор": Роман Бадрцов, Вовка Синяк (в прошлой повести убитый, в этой – "воскрешенный"). Новые герои вполне современные, хотя и с литературными ассоциациями – блаженная проститутка Таня. Есть и новый главный герой: Иван Серов. О нем речь уже в начале повести:

"Посадили Ваню Серова на пятом курсе иняза за перепечатку "Архипелага". В лагере предложили выйти досрочно, но с условием – постучать.

Стучать не хотелось. Ванька муржзил оперов изо всех сил, и, не добившись от него никакого толку, они сдали его соллагерникам. Ночью его чуть не зарезали. Ванька башкой пробил верхнюю шконку и, чудом живой, убежал на вахту. (...)

Выпустили его все-таки досрочно, по двум третям. Ваня вер-

нулся на родину, но не в свой Новосибирск, а в деревню поодаль. Пристроился в клубе библиотекарем, решил отсидеться в тишке".

Так начинается повесть. Здесь дело происходит в 70-х годах, судя по дальнейшему ходу повести, когда друзья отмечают 20-летие освобождения Ивана.

Так вот. Этот отрывок обидно огорчает тем, что автор пишет здесь о вещах, известных ему более понаслышке.

В 70-х годах за одну перепечатку самиздата (даже и "Архипелага"), без "распространения", вряд ли бы посадили. Может, и могли, но все же вряд ли. Особенно в Москве. Тогда, чтобы сесть, надо было или "распространять", или войти в диссидентскую группу, или за границей напечататься, и то – смотря что. А самиздат и тамиздат просто изымали на обысках. Ну, были бы неприятности, из университета бы точно выгнали.

Сажать кого ни попадая, просто за наличие самиздата, "по результатам обыска", начали позже, при Андропове – Черненко – раннем Горбачеве.

(По непостижимой для меня логике, у наших русско-еврейских либералов Горбачев считается чуть ли не "Царем-освободителем", а 85-й год – зарей свободы. Не знаю, не знаю. В тот год я сидел на зоне – понятно, "за клевету на советский строй", а конкретно за то, за что в 70-х бы никогда не посадили, и никакой зари свободы что-то не заметил.)

Далее. Как легко заметить, сюжет со стукачеством Ивана заимствован у Солженицына: "В круге первом", история Руськи. Но заимствован неудачно: не то время, да и место. В 30-х–40-х сидевших по политстатьям было без счета, в большинстве перепуганные обыватели, из них и набирали стукачей. Не то в 70-х – политзеков мало, они знают, за что сидят, на следствии не сломались (а если бы сломались, то не сидели бы), зачем же их вербовать, когда рядом сколько угодно простых советских патриотов, попавших в тюрьму по пьянке?

Далее. Завербованного стукача, даже за обман (кстати, слова "мурыжить" вовсе не синоним "водить за нос"), никогда бы не "сдали солагерникам". Не по гуманности, а по практическим соображениям: это почти наверняка означало бы убийство, а убийство в зоне – ЧП и неприятность для начальства.

Ну, и еще по мелочам.

В 70-е политических никогда не выпускали досрочно, а в 80-е добавляли еще срок прямо на зоне. Человека, сидевшего "за политику", никогда бы не взяли в клуб библиотекарем, даже в деревне.

Подобная недостоверность в самом начале повести настраивает на скептический лад, но потом, к счастью, скепсис не оправдывается. Перед нами 90-е годы, все живо и узнаваемо, даже для тех, кто, как я, эти годы уже не видел. Это наши современники, наш народ (если не вкладывать в это слово этнический или высший смысл). Это наши люди – инфантильные и циничные одновременно, непрактичные и хваткие, надеющиеся все более на себя, а не на обанкротившееся государство. Это современная Москва, полублатная, полусвободная, и все же! все же уже не та византийско-буддийская Москва, ужаснувшая когда-то Мандельштама.

Отличная проза, без дряблости и модной бесцельной болтовни по бесконечным тупикам. Только вот... когда я дочитал, то вдруг подумал: и это все? Чего-то нет, но чего? Катарсиса? Вроде бы он есть. Нет, не то. Нет какой-то сверхзадачи, не суда над героями – автор никого не судит, и правильно делает, а нет чего-то, что стоит выше прозы, за прозой, что

неназываемо и не входит в текст. А так здесь видишь: автор все сказал, и нам тоже говорить не о чем.

Чего я ждал когда-то от Каледина? Нового Трифонова? Не знаю.

Еще один любопытный публицистический материал: Владимир Ханан, "Записки свежеприбывшего". Со свежеприбывшими теперь не шути, не прежние времена, теперь люди до прибытия сюда могут и полмира объездить, и чего только не узнать.

Я имею в виду вторую статью – "Криминальная Россия", посвященную духовным истокам нынешней криминальной ситуации в России. Хорошо, что автор анализирует ситуацию, ее причины и истоки – как он их понимает, – а не повторяет пошлости типа "демократы развалили" или "Ельцин развалил".

Вывод автора: эти истоки – традиционная русская безответственность, неумение и нежелание отвечать за свою судьбу и вообще за что-либо. Не сказал бы, что этот вывод все объясняет, но он достаточно обоснован. Хотелось бы добавить следующее: в несчастях народа виновен сам народ, да, тот самый народ, которому пора перестать выдавать индульгенции на все случаи исторической жизни. Пророки в ТАНАХе обличали не только правителей, но и народ, сбившийся с пути. Однако, говоря об исторических корнях нынешней российской ситуации, автор игнорирует советский период, как будто он был обычной частью российской истории. Но это неправда. В дореволюционной России, при всем ее тяжелом историческом наследии, была перспектива развития, было, возникало правовое общество, все больше становился слой людей, ответственных за свою судьбу. Большевицкая революция все это уничтожила. Советское общество было царством полной, абсолютной безответственности – и власти, и народа.

В советском периоде и надо искать корни нынешней ситуации, в том числе криминальной. А диво ли, что абсолютно безнравственный криминальный советский режим, рухнув, оставил по себе только то, что и мог оставить: криминал?

Когда-то Сергей Довлатов шутя написал о другом журнале – "Время и мы" – и его редакторе: "Перельман – человек загадочный. И журнал у него загадочный. Сами посудите. Проза ужасная. Стихи чудовищные. Литературная критика отсутствует вообще. А журнал все-таки лучший. Загадка..."

О "22" такого не скажешь, скорее, наоборот: почти все материалы на хорошем уровне, порою – на отличном, а все вместе... бывает скучновато. Или тяжеловато. Словно журнал выходит в каком-то идеальном литературном пространстве. "Господа, разбейте хоть пару стекол!" (И. Бродский). Может, дело в том, что журнал рассчитан уж слишком на "своих"? И делается, так сказать, в расчете на вечность?

Владимир Френкель

КНИГИ 1998 ГОДА

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 1998 году *

Блинкова Мира. Время было такое... [Очерки, портреты, новеллы]. – Тель-Авив: Издание автора. – 224 стр.

Глазерсон Матитьягу. Огненные буквы. – Иерусалим – Москва: Гешарим. – 235 с. Тел. 972-2-9931194.

Городницкий Александр. Атланты держат небо. [Стихи и фотографии]. – Иерусалим: Беседер. – 364 с. Тел. 972-2-5701313.

Давидзон Михаил. Из жизни бентавра. **Климовский Вадим.** Мальчик шел по заснеженной улице... **Шойхет Александр.** Мой золотой Иерусалим. [Коллективный сборник трех израильских прозаиков]. – Тель-Авив: Мориа. – 160 с. 972-3-9615763

Журнал "22". №№ 107–110. – Тель-Авив: Арт-Нево. – 224 с.

Тел. 972-3-647-23-92.

Зернова Руфь. На море и обратно. [Автобиографическая повесть и рассказы]. – Иерусалим: Ura Publishers. – 264 с. Тел. 972-2-5861570.

Казанов Борис. Роман о себе. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 384 с. Тел. 972-4-9589151.

Казарновский Анатолий. Теория мытья полов. Иерусалим: Издание автора при поддержке издательства "Скопус". – 208 с. Тел. 972-3-9320224.

Кобринский Александр. Феномен Сократа. [Стихи, эссе]. – Беэр-Яков: Издание автора. – 304 с. Тел. 972-8-9254802.

Ковельман Аркадий. Толпа и мудрецы Талмуда. – Иерусалим – Москва: Гешарим. – 80 с.

Нахшин Александр. Крах кумиров. [Повести и рассказы]. – Тель-Авив: Мориа. – 336 с. Тел. 972-8-8691743.

Орти Виктория. К тебе обращаюсь. [Стихи]. – Беэр-Шева: Издание автора. – 64 с. Тел. 972-7-6431986.

Рофэ А. Повествование о пророках. Литературные жанры и история. – Иерусалим – Москва: Гешарим. – 240 с.

Тверская Ирина. Преддверие истины. [Стихи]. – Иерусалим: Издание автора. – 240 с.

Ципперштейн С. Евреи Одессы. История культуры. 1794–1881 гг. – Иерусалим – Москва: Гешарим. – 208 с.

Юрис Леон. Исход. [Роман в 5 книгах]. – Иерусалим – Москва: Гешарим – Текст.

**Издатели и авторы, желающие опубликовать
в "Иерусалимском журнале" информацию о вышедших книгах,
могут прислать эти сведения в редакцию.**

* Продолжение списка, опубликованного в первом и втором номерах журнала.
Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

АВРААМ (первоначальное имя – Аврам, в традиционном русском просторечии – Абрам, в арабской транскрипции – Ибрагим), сын Тераха (Фарры), потомок Эвера (Евера), внука Шема (Сима). Родился в Уре Халдейском (Месопотамия). Там он женился на Сарай, которую Бог впоследствии переименовал в Сару (русс. – Сарра). Вместе с отцом, женой и племянником Лотом отправился по велению Бога в Ханаан, где стал родоначальником еврейского и арабского народов. Умер в возрасте 175 лет. Сыновья Авраама Ицхак (Исаак) и Ишмаэль (Исмаил) похоронили его в пещере Махпела (Хеврон), где ранее была похоронена Сара. Послебиблейская традиция приписывает Аврааму открытие существования единого Бога. В Иерусалиме именем Авраама названа одна из улиц.

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске. С самого раннего возраста жила в Москве. Закончила филфак МГПИ.

Автор десяти книг для детей, а также поэтических сборников "Окно на север" (1976), "Лодка на снегу" (1986), "Стихи" (1992), "В другом окне" (1994), "Лирика" (1997) и книги-альбома об отце "Меир Аксельрод". Стихи и переводы (с идиша и других языков) включены в российские и американские антологии русской поэзии XX века.

Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

Репатрировалась в 1991 году. Живет в Араде.

Рита БАЛЬМИНА родилась и жила в Одессе. Автор поэтических сборников "Закрытие Америки" (1994), "Послесловие к оргазму" (1996), "Стань Раком" (1998). Лауреат премии им. Довида Кнута.

Репатрировалась в 1990 году. До конца 1999 года жила в Тель-Авиве. В настоящее время проживает в Сан-Диего (США).

Марьян БЕЛЕНЬКИЙ родился в 1950 году в Киеве. Писал тексты для популярных эстрадных исполнителей. Автор книги "Есть ли жизнь в Израиле?", вышедшей в 1999 году на русском языке и на иврите. Репатрировался в 1991 году. Живет в Иерусалиме.

Полина ВАХТИНА. Работает в архиве Пушкинского дома. Живет в Санкт-Петербурге.

Ася ВЕКСЛЕР родилась в Глазове. С детских лет жила в Ленинграде. Автор поэтических сборников "Чистые краски" (1972),

"Поле зрения" (1980), "Зеркальная галерея" (1989), "Под знаком Стрельца" (1997).

Репатриировалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме.

Александр ВЕРНИК родился в Харькове в 1947 году. Автор поэтических сборников "Биография" (1987), "Зимние сборы" (1991), "Сад над бездной" (1999).

Репатриировался в 1978 году. Живет в Иерусалиме.

ГИЛЕЛЬ. Один из выдающихся законоучителей эпохи Второго Храма, глава Синедрiona. Определил иудаизм как учение, главный принцип которого: "Не делай другому того, чего не желаешь себе".

В Иерусалиме именем Гилеля названа одна из улиц, известная еще и тем, что на ней расположено столичное отделение Министерства абсорбции.

Елена ГИЛЯРОВА. Окончила МГПИ. Публикуется в периодике. Живет в Москве.

Маша ГОЛЬДМАН родилась в Красноярском крае в семье спецпереселенцев из Прибалтики. Закончила филфак Ленинградского университета.

Репатриировалась в 1979 году. Живет в Иерусалиме. Работает в Национальной библиотеке.

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ. Автор нескольких поэтических сборников. Активная участница правозащитного движения. Одна из легендарной семерки, вышедшей в августе 1968 года на Красную площадь с лозунгом "За вашу и нашу свободу!" на демонстрацию протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками. Живет в Париже.

Давид ДЕКТОР родился в Москве в 1961 году. В Израиле – с 1975 года. Закончил отделение востоковедения Иерусалимского университета.

Живет в Иерусалиме.

ИЕГУДА (в традиционной русской транскрипции – Иуда). Четвертый сын праотца Якова (Иакова) от праматери Леи (Лии); родоначальник одноименного, самого многочисленного, колена, к которому, согласно библейской традиции, восходит род израильских царей. Махане-Иегуда ("стан Иегуды", *иврит*) – район в Иерусалиме, где находится одноименный рынок.

Этарп КЕРЕТ родился в 1967 году в Тель-Авиве. Автор семи книг прозы, нескольких сценариев, один из авторов популярной

сатирической телепрограммы "Хамишия а-камерит". Произведения писателя переводились с иврита на английский, русский, французский, датский, немецкий и другие языки. Публикуемые рассказы взяты из книги "Тоска по Киссинджеру".

Живет в Тель-Авиве. Преподает в Киношколе Тель-Авивского университета.

Феликс КРИВИН родился в 1928 году в Мариуполе. Детство провел в Одессе. Окончил пединститут в Киеве. Плавал моряком по Дунаю, преподавал в школе русский язык и литературу, логику и психологию, работал корректором и редактором. С 1955 года жил в Ужгороде. Автор 35-и книг. Лауреат литературной премии имени В. Короленко.

Репатриировался в 1998 году. Живет в Безр-Шеве.

Николай ЛУКЪЯНОВ родился в 1949 году. Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1976 году. Работал на киностудии "Беларусь-фильм". Поставил шесть картин: "Волки" (по рассказу В. Шукшина), "Голубой карбункул" (по мотивам рассказов Конан-Дойля), "Капитан Сорви-Голова", "Юрка – сын командира", "Не забудьте выключить телевизор", "Человек из черной Волги". С 1995 года живет в Иерусалиме. Печатался в журнале "Майдан" и в литературном альманахе "Талитакуми".

Эли ЛЮКСЕМБУРГ родился в 1940 году в Бухаресте. Жил в Молдавии, на Украине и в Средней Азии. Окончил Ташкентский ирригационный техникум, Институт физкультуры; учился на филфаке университета.

Пишет с 1964 года. Автор книг прозы "Третий Храм" (1975), "Прогулка в Раму" (1978), "Десятый голод" (1985), "Созвездие Мордехая" (1988), "Волчонок Итро" (1998).

Лауреат литературных премий Рафаэли, Сапира и Союза русскоязычных писателей Израиля. Его произведения переводились на иврит, английский и французский языки.

Репатриировался в 1972 году. Живет в Иерусалиме.

Петр МЕЖУРИЦКИЙ родился в Одессе в 1953 году. В 1986 году закончил филфак Одесского университета. Автор сборников стихов "Места обитания" (1993), "Пчелы жалят задом наперед" (1997).

Репатриировался в 1990 году. Живет Ор-Акиве.

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, в семье отсидевших в Темлаге "врагов народа", росла в Подмосковье, за сотым километром. Закончила Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, работала в Москве – сначала социологом, потом сторожем. Автор поэтических сборников "Приход

весны" (1980), "Второе детство" (1983), "Деревья не копят обид" (1986), "Утонувшее море" (1996).

Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме.

Дмитрий РАЧКОВ. Выпускник МГПИ. Автор книг мемуарной прозы "Минуя печальное время" и "Записки уволенного".

Живет в Тамбове. Доцент Института культуры.

Дмитрий СУХАРЕВ родился в 1930 году в Ташкенте. Автор нескольких поэтических сборников, один из зачинателей жанра "самодетельной" песни (она же – студенческая, туристская, авторская...) Стихи поэта, озвученные Виктором Берковским и Юрием Никитиным, стали классикой этого жанра.

Живет в Москве.

Давид ХАНАН родился в Грузии в 1966 году. Изучал живопись в Тбилиси в Академии искусств. Персональные выставки в Иерусалиме, Тель-Авиве, Сан-Диего, Майями и других городах США. Работы в галереях и в частных коллекциях в Израиле, США, Грузии, Голландии, Испании, Франции.

Репатриировался в 1991 году. Живет в Тель-Авиве.

ШАУЛЬ (в традиционной русской транскрипции – Саул) – первый царь Израиля (ок. 1029-1005 г. до н. э), сын Киша из колена Биньямина. Помазан на царство пророком Шмуэлем (Самуилом). Согласно одной из версий, вошедших в библейское повествование, трения между Шаулем и Шмуэлем начались после того, как царь, собравший войска для очередного военного похода, не дождавшись пророка, сам совершил обряд жертвоприношения. Усмотрев в этом покушение на священнические прерогативы, Шмуэль объявил Шаулю, что в наказание за этот поступок его царствование не будет долговечным. Окончательный разрыв между ними произошел, когда царь не выполнил указания пророка – полностью уничтожить амалекитян.

В ходе войн, которые на протяжении всех лет своего царствования Шауль вел с соседними государствами, была создана регулярная израильская армия, насчитывавшая около 3000 воинов (помимо племенных ополчений).

В районе Гиват-Шауль (Холм Саула) находится одна из промзон столицы, а также самое большое иерусалимское кладбище.

Подписку на журнал можно оформить, прислав свои почтовые координаты и чек на имя "Jerusalem Anthologia" по адресу:
Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера)
в Израиле – 128 шекелей, включая пересылку.
в странах Западной Европы и Северной Америки – \$64 США,
включая пересылку.

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим.
Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



Первой в "БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА" вышла в свет
книга **Дины РУБИНОЙ "Высокая вода венецианцев"**
Новая повесть писательницы, рассказы и монологи.

ПОДГОТОВЛЕННЫ К ПЕЧАТИ И ВЫЙДУТ В I КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА:

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. "Стена в пустыне"
Новые стихи поэтессы и репродукции картин художника.

Юлий КИМ. "Путешествие к маяку"
Новые стихи, проза и драматические произведения.

Зинаида ПАЛВАНОВА и Вениамин КЛЕЦЕЛЬ.
«Иерусалимские картинки»
Новые стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ: новая книга стихов Владимира ДРУКА.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ - WWW. ANTHO. NET

Смотрите в Виртуальном музее современных израильских художников коллекции полотен **Гарика Зильбермана, Бориса Карафелова, Вениамина Клецеля, Михаила Яхилевича, Леи Заремба, Анатолия Баратынского, Григория Козлета, Лиоры Барштейн, Давида Ханана, Бориса Караванова, Александра Кедрина, Якова Фельдмана, Михаила Моргенштерна, Сусанны Чернобровой, Бориса Лекаря, Николая Беззубова, Зелия Смехова, Ителлы Мастбаум** и других мастеров живописи.

Творческое объединение "Иерусалимская Антология" благодарит
Татьяну ГОЛЬДМАХЕР (Бостон) и Фруму ПИЛИПЧАК (Чикаго)
за пожертвования на издание "Иерусалимского журнала".

СОДЕРЖАНИЕ

СИОНСКИЕ ВОРОТА

- ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. Сон о танцевальном классе. *Стихи* 3
ФЕЛИКС КРИВИН. Сказки из жизни 10

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

- АСЯ ВЕКСЛЕР. Иерусалимская прогулка. *Стихи* 22
ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ. Ворота с калиткой. *Рассказ*. 32
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. А на холмах наш вечер полыхает. *Стихи* 49
НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВ. Блаженные. *Главы из романа*. 57

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

- РИТА БАЛЬМИНА. Ответ короче коромысла. *Стихи* 93
ЭТГАР КЕРЕТ. Убить Свина! *Рассказы. Пер. Марьяна Беленького*. 102
ПЕТР МЕЖУРИЦКИЙ. Эпоха кабаре. *Стихи* 106

САДЫ САХАРОВА

- ЕЛЕНА ГИЛЯРОВА. Поклон из Москвы 114
ПОЛИНА ВАХТИНА О ее жизни 114
НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ. Ира Якир и "Хроника..." 117
ДМИТРИЙ РАЧКОВ. Ирка, Ира, Ирина 120
ИРА ЯКИР. Из последних писем 122
ЮЛИЙ КИМ. Путешествие к маяку. 124

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

- ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Звезда Давида (О художнике Давиде Ханане). . 150

ХОЛМ ПАМЯТИ

- ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Последний день Юрия Визбора 156
МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Эпизоды воспоминаний 161
ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ. Чист, как непрожитый день... 211
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. набросок пунктиром 212

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

- ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Солдат в Мосаде 217

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

- МАША ГОЛЬДМАН. Иван Бунин и Давид Шор в Иерусалиме. 251

УЛИЦА ПОЕЗД

- ДАВИД ДЕКТОР. Чудаки. *Путевые заметки* 259

НОВЫЕ ВОРОТА

- Рецензии и аннотации ГЕННАДИЯ БЕЗЗУБОВА, НАТАЛИИ ДАРАГАН, А. К., ВЛАДИМИРА ФРЕНКЕЛЯ на журнал "22" (№№ 110 – 112), Антологию ивритской литературы, на книги БЕЛЛЫ ВЕРНИКОВОЙ, ЮЛИИ ВИНЕР, АЛЕКСАНДРА ВЕРНИКА, НИНЫ ЕЛИНОЙ, РУФИ ЗЕРНОВОЙ, ДОРЫ ШТУРМАН и СЕРГЕЯ ТИКТИНА 264

- КНИГИ 1998 ГОДА 278

- ИМЕНА 279

JERUSALEM REVIEW, # 3, 2000

Internet virtual version: www.antho.net/L

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief), **Zinaida Palvanova**, **Dinah Rubina**, **Svetlana Shenbrunn**

Editorial Board is grateful to **Semen Grinberg**, **Yuli Kim**, and **Roman Timenchik** for their assistance in the preparation of this issue to the publication.

Executive Secretary - **Leonid Levinson**

Graphic Designer - **Susanna Chernobrova**

Assistant Editor and Corrector - **Margarita Shklovskaya**

Administrative and technical support – **Binah Smekhova**, **Sophia Brenerman**, **Boris Bronshtein**, **Daniel Burshtein**, **Michael Byalsky**, **Nely Glozman**, **Victor Gopman**, **Gregory Gordin**, **Daniel Lemberg**, **Anton Mukhin**

SCOPUS Publishing House

With the support of: Absorption Ministry; Culture Ministry; Repatriate Writers and Artists Integration Center; Absorption Department and Culture Department of Jerusalem City Council; Zionist Forum; World Association for Study of Interaction of Cultures

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2000. All rights reserved

Copyrights for publications belong to the Authors.

ISSN 1565-1347

Address: **Jerusalem Review**, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322 Israel

E-mail: review@antho.net

Phone: Phone/Fax: 972-2-6720025; 972-2-6432962; 972-2-6434005;

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Melamed** (Address: Россия, 119048, Москва, Хамовнический вал, д. 24, кв. 116, Phone: 7-095-242 7042)

Igor Gryzlov (Phone: 7-095-551 5705), E-mail: igorgr@dol.ru

in St.Petersburg: **Olga Krupenye** (Address: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул.Казанская, 5, Phone: 7-812-312 5465)

Sergey Grigoryantz (Address: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул.Басейная, д. 71, кв. 66, Phone: 7-812-294 8143)

in New-York: **Andrey Gritsman** (Address: 1590 Anderson Ave., # 16A, Fort Lee NJ 07024 USA, Phone: 1-201-447 8246, E-mail: agritsman@worldnet.att.net)

in Chicago: **Alexander Blinsein** (Address: 5157 Jarvis Skokie IL 60077 USA, Phone: 1-847-676 1134); **Yefim Kotliyar** (Address: 5251 Carol, Skokie IL 60077 USA, Phone: 1-847-581 9304, E-mail: YefimK@aol.com)

in California: **Rita Balmina** (Address: Cowles HNT.BD #E128 La-Mesa CA 91242, USA, Phone: 1-619-4606179 E-mail: rita_balmin@yahoo.com)

in Israel:

Olga Kravchenko – Arad, Phone: 972-7-9971014;

Samuel Kushnirov - Ariel, Phone: 972-3-9365452;

Leonid Sheinkman - Herzliya, Phone: 972-9-9502681

CONTENTS

ZION GATE

ELENA AKSELROD. A Dream About a Dancing Class. *Verses*

FELIX KRIVIN. Fairy Tales from Life. *Fairy Tales*

LION GATE

ASYA VEKSLER. Jerusalem Stroll. *Verses*

ELI LUKSEMBURG. Gate with a Wicket. *Short Story*

ZINAIDA PALVANOV. And Our Evening Is Blazing Over the Hills.
Verses

NIKOLAY LUKYANOV. The Blessed. *Fragments from the Novel*

JAFFA GATE

RITA BALMINA. An Answer Shorter Than a Yoke. *Verses*

ETGAR KERET. To Batter Svin. *Short Stories. Translated by MARYAN BELENKY*

PETR MEZHURITZKY. The Epoch of Cabaret. *Verses*

SAKHAROV GARDENS

ELENA GILYAROVA. Best Wishes from Moscow

POLINA VAKHTINA. About Her Life

NATALYA GORBANEVSKAYA. Ira Yakir and *The Chronicle of Current Events*

DMITRY RACHKOV. Irka, Ira, Irina

IRA YAKIR. From the Last Letters

YULI KIM. A Travel to the Lighthouse

BETZALEL STREET

IGOR BYALSKY. The Star of David (*About the artist David Chanan*)

MEMORY HILL

DMITRY SUKHAREV. The Last Day of Yuri Vizbor

MICHAEL AGURSKY. Episodes from Memoirs

LEONID FINKEL. Unstained as a Non-Bygone Day

ALEXANDR VERNIK. Dotted Sketch

ZHABOTINSKY STREET

VLADIMIR FROMER. Soldier in the Mossad

RUSSIAN COMPOUND

MASHA GOLDMAN. Ivan Bunin and David Shor in Jerusalem

RAILROAD STREET

DAVID DEKTOR. Queer Birds. Traveler's Notes

NEW GATE

Reviews and annotations by **GENNADY BEZZUBOV**, **NATALIA DARAGAN, A.K.**, **VLADIMIR FRENKEL** of *TWENTY TWO* magazine (nos.110-112), *The Anthology of Hebrew Literature*, books by **BELLA VERNIKOVA**, **YULIA VINER**, **ALEXANDR VERNIK**, **NINA YELINA**, **RUF ZERNOVA**, **DORAH SHTURMAN** AND **SERGEY TIKTIN**

BOOKS OF THE YEAR 1998

NAMES

תוכן העניינים :

שער ציון

ילנה אקסלרוד. עלילת הערב. שירה
פליקס קריבין. סיפורים מהחיים. אגדות

שער האריות

אסיה ווקסלר. טיול ירושלמי. שירה
ניקולאי לוקיינוב. המאושרים. פרקים מרומן
זינאידה פלבנוב. ובגעות הערב נלהב. שירה
אלי לוקסמבורג. שער עם פשפש. סיפור

שער יפה

ריטה בלמין. התשובה הינה יותר קצרה. שירה
אתגר קרט. להרוג את החזיר. סיפורים
פיוטר מז'וריцקי. תקופת הקבר. שירה

גנות סחרוב

ילנה גיליאדוב. קידה ממוסקבה
נטליה גורבניבסקי. אירה יקיר ו"כרוניקת ארועים עכשוויים"
אירה יקיר. ממכתבים אחרונים
יולי קים. טיול למגדלור

רחוב בצלאל

איגור ביאלסקי. כוכב דויד

הר הזיכרון

דמיטרי סוחריב. יומו האחרון של יורי וויזבור
מיכאל אגורסקי. פרקי הזיכרונות
לאוניד פינקל. טהור, כיום שטרם עבר
אלכסנדר ורניק. איור מקווקו

רחוב ז'בוטינסקי

ולדימיר פרומר. חייל ב"המוסד"

מגרש הרוסים

משה גולדמן. איוון בונין ודויד שור בירושלים

רחוב הרכבת

דויד דקטור. המוזרים. רשימות ממסע

השער החדש

ביקורות של : גנאדי בזובוב, נטליה דרגן, א. ק., ולדימיר פרנקל
על אנתולוגיה של הספרות הישראלית, **על** כתב-עת "22"
ועל ספריהם של : בלה ורניקוב, אלכסנדר ורניק, נינה ילין,
יליה וינר, רוף זרנוב, דורה שטורמן וסרגי טיקטין

ספרי שנת 1998

איזכורים

כתב-עת ירושלמי

3. 2000

רבעון אמנותי
ספרות ישראלית בשפה הרוסית

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

עורכים:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
זינאידה פלבנוב, דינה רובין, סבטלנה שנבורן

חבר העורכים מודה ל: סמיון גרינברג, יולי קים
ורומן טימנצ'יק, על העזרה בהכנת הגיליון

מזכיר - לאוניד לוינזון

ציירת - סוסנה צ'רנוברוב

עריכה והגהה - מרגריטה שקלובסקי

תמיכה לוגיסטית וטכנית - בינה סמחוב,

בוריס ברונשטיין, דניאל בורשטיין,

סופיה ברנרמן, מיכאל ביאלסקי, ויקטור גופמן,

גרגורי גורדין, נלי גלזמן, דניאל למברג,

אנטון מוכין, בוריס שטיין.

הוצאה לאור: "סקופוס".

בתמיכת

המרכז לקליטת אמנים עולים

(משרד לקליטת העליה,

משרד החינוך,

התרבות והספורט);



ירושלים



עיריית ירושלים

(הרשות העירונית)

לקליטת עליה

ואגף התרבות);

הפורום הציוני

והכנס העולמי ללימודי אינטראקציה של תרבויות

© 2000 כל הזכויות שמורות ל"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי"

ת. ד. 32297, ירושלים 91322

טל' 02-6720025, 054-745322,

02-6434005, 02-6432962

